

М. ГОРЬКИЙ

1

Морской





# М. ГОРЬКИЙ

## СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ВОСЕМНАДЦАТИ  
ТОМАХ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ

Москва

# М. ГОРЬКИЙ

## СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ

1

ПРОИЗВЕДЕНИЯ

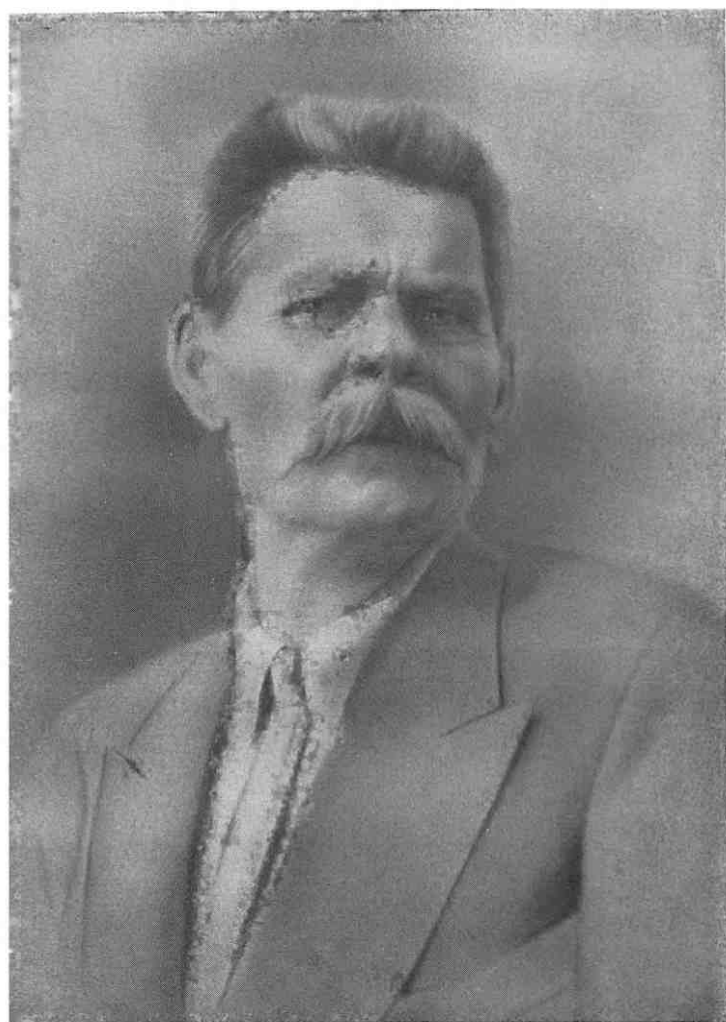
1892—1896



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ

1960

*Оформление художника*  
Н. КРЫЛОВА







## ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

В настоящее Собрание сочинений М. Горького вошли избранные художественные произведения писателя: тома 1—11 содержат повести, рассказы, художественные очерки, 12—15 — «Жизнь Клим Самгина», 16—17 — драматургию, 18 — художественные мемуары.

Тексты печатаются по изданию: М. Горький, Собр. соч. в тридцати томах, М. 1949—1955, с дополнительной сверкой по прижизненным изданиям.

Издание сопровождается историко-литературными статьями о творчестве М. Горького.



## МАКАР ЧУДРА

С моря дул влажный, холодный ветер, разнося по степи задумчивую мелодию плеска набегавшей на берег волны и шелеста прибрежных кустов. Изредка его порывы приносили с собой сморщенные, желтые листья и бросали их в костер, раздувая пламя; окружавшая нас мгла осенней ночи вздрагивала и, пугливо отодвигаясь, открывала на миг слева — безграничную степь, справа — бесконечное море и прямо против меня — фигуру Макара Чудры, старого цыгана, — он сторожил коней своего табора, раскинутого шагах в пятидесяти от нас.

Не обращая внимания на то, что холодные волны ветра, распахнув чекмень, обнажили его волосатую грудь и безжалостно бьют ее, он полулежал в красивой, сильной позе, лицом ко мне, методически потягивал из своей громадной трубки, выпускал изо рта и носа густые клубы дыма и, неподвижно уставив глаза куда-то через мою голову в мертвó молчавшую темноту степи, разговаривал со мной, не умолкая и не делая ни одного движения к защите от резких ударов ветра.

— Так ты ходишь? Это хорошо! Ты славную долю выбрал себе, сокол. Так и надо: ходи и смотри, насмотрелся, ляг и умирай — вот и все!

— Жизнь? Иные люди? — продолжал он, скептически выслушав мое возражение на его «так и надо». — Эге! А тебе что до этого? Разве ты сам — не жизнь? Другие люди живут без тебя и проживут без тебя. Разве ты думаешь, что ты кому-то нужен? Ты не хлеб, не палка, и не нужно тебя никому.

— Учиться и учить, говоришь ты? А ты можешь научиться сделать людей счастливыми? Нет, не можешь. Ты посей сначала, да и говори, что надо учить. Чему учить? Всякий знает, что ему нужно. Которые умнее, те берут что есть, которые поглупее — те ничего не получают, и всякий сам учится...

— Смешные они, те твои люди. Сбились в кучу и давят друг друга, а места на земле вон сколько,— он широко повел рукой на степь.— И всё работают. Зачем? Кому? Никто не знает. Видишь, как человек пашет, и думаешь: вот он по капле с пото́м силы свои источит на землю, а потом ляжет в нее и сгниет в ней. Ничего по нем не останется, ничего он не видит с своего поля и умирает, как родился,— дураком.

— Что ж,— он родился затем, что ли, чтоб поковырять землю, да и умереть, не успев даже могилы самому себе выковырять? Ведомо ему воля? Ширь степная понятна? Говор морской волны веселит ему сердце? Он раб — как только родился, всю жизнь раб, и все тут! Что он с собой может сделать? Только удавиться, коли поумнеет немного.

— А я, вот смотри, в пятьдесят восемь лет столько видел, что коли написать все это на бумаге, так в тысячу таких торб, как у тебя, не положишь. А ну-ка, скажи, в каких краях я не был? И не скажешь. Ты и не знаешь таких краев, где я бывал. Так нужно жить: иди, иди — и все тут. Долго не стой на одном месте — чего в нем? Вон как день и ночь бегают, гоняясь друг за другом, вокруг земли, так и ты бегай от дум про жизнь, чтоб не разлюбить ее. А задумаешься — разлюбишь жизнь, это всегда так бывает. И со мной это было. Эге! Было, сокол.

— В тюрьме я сидел, в Галичине. «Зачем живу на свете?» — помыслил я со скуки,— скучно в тюрьме, сокол, э, как скучно! — и взяла меня тоска за сердце, как посмотрел я из окна на поле, взяла и сжала его клещами. Кто скажет, зачем он живет? Никто не скажет, сокол! И спрашивать себя про это не надо. Живи, и все тут. И похаживай да посматривай кругом себя, вот и тоска не возьмет никогда. Я тогда чуть не удавился поясом, вот как!

— Хе! Говорил я с одним человеком. Строгий человек, из ваших, русских. Нужно, говорит он, жить не так, как ты сам хочешь, а так, как сказано в божьем слове. Богу покоряйся, и он даст тебе все, что попросишь у него. А сам он весь в дырках, рваный. Я и сказал ему, чтобы он себе новую одежду попросил у бога. Рассердился он и прогнал меня, ругаясь. А до того говорил, что надо прощать людей и любить их. Вот бы и простил мне, коли моя речь обидела его милость. Тоже — учитель! Учат они меньше есть, а сами едят по десять раз в сутки.

Он плюнул в костер и замолчал, снова набивая трубку. Ветер выл жалобно и тихо, во тьме ржали кони, из табора плыла нежная и страстная песня-думка. Это пела красавица Нонка, дочь Макара. Я знал ее голос густого, грудного тембра, всегда как-то странно, недовольно и требовательно звучащий — пела ли она песню, говорила ли «здравствуй». На ее смуглом, матовом лице замерла надменность царицы, а в подернутых какой-то тенью темно-карих глазах сверкало сознание неотразимости ее красоты и презрение ко всему, что не она сама.

Макар подал мне трубку.

— Кури! Хорошо поет девка? То-то! Хотел бы, чтоб такая тебя полюбила? Нет? Хорошо! Так и надо — не верь девкам и держись от них дальше. Девке целоваться лучше и приятней, чем мне трубку курить, а поцеловал ее — и умерла воля в твоём сердце. Привяжет она тебя к себе чем-то, чего не видно, а порвать — нельзя, и отдашь ты ей всю душу. Верно! Берегись девок! Лгут всегда! Люблю, говорит, больше всего на свете, а ну-ка, уколи ее булавкой, она разорвет тебе сердце. Знаю я! Эге, сколько я знаю! Ну, сокол, хочешь, скажу одну быль? А ты ее запомни и, как запомнишь, — век свой будешь свободной птицей.

«Был на свете Зобар, молодой цыган, Лойко Зобар. Вся Венгрия, и Чехия, и Славония, и все, что кругом моря, знало его, — удалый был малый! Не было по тем краям деревни, в которой бы пяток-другой жителей не давал богу клятвы убить Лойко, а он себе жил, и уж коли ему понравился конь, так хоть полк солдат поставь сторожить того коня — все равно Зобар на нем гарцевать станет! Эге! разве он кого боялся? Да приди к нему сатана со всей своей свитой, так он бы, коли б не пустил в него ножа, то наверно бы крепко поругался, а что чертям подарил бы по пинку в рыл — это уж как раз!

И все таборы его знали или слыхали о нем. Он любил только коней и ничего больше, и то недолго — поедит, да и продаст, а деньги, кто хочет, тот и возьми. У него не было заветного — нужно тебе его сердце, он сам бы вырвал его из груди, да тебе и отдал, только бы тебе от того хорошо было. Вот он какой был, сокол!

Наш табор кочевал в то время по Буковине, — это годов десять назад тому. Раз — ночью весенней — сидим мы: я, Данило солдат, что с Кошутым воевал вместе, и Нур старый, и все другие, и Радда, Данилова дочка.

Ты Нонку мою знаешь? Царица-девка! Ну, а Радду с ней равнять нельзя — много чести Нонке! О ней, этой Радде, словами и не скажешь ничего. Может быть, ее красоту можно бы на скрипке сыграть, да и то тому, кто эту скрипку, как свою душу, знает.

Много посушила она сердец молодецких, ого, много! На Мораве один магнат, старый, чубатый, увидал ее и остолбенел. Сидит на коне и смотрит, дрожа, как в огневице. Красив он был, как черт в праздник, жупан шит золотом, на боку сабля, как молния сверкает, чуть конь ногой топнет, вся эта сабля в камнях драгоценных, и голубой бархат на шапке, точно неба кусок, — важный был господарь старый! Смотрел, смотрел, да и говорит Радде: «Гей! Поцелуй, кошель денег дам». А та отвернулась в сторону, да и только! «Прости, коли обидел, взгляни хоть поласковой», — сразу сбавил спеси старый магнат и бросил к ее ногам кошель — большой кошель, брат! А она его будто невзначай пнула ногой в грязь, да и все тут.



— Эх, девка! — охнул он, да и плетью по коню — только пыль взвилась тучей.

А на другой день снова явился. «Кто ее отец?» — громом гремит по табору. Данило вышел. «Продай дочь, что хочешь возьми!» А Данило и скажи ему: «Это только паны продают все, от своих свиней до своей совести, а я с Кошутым воевал и ничем не торгую!» Взревел было тот, да и за саблю, но кто-то из нас сунул зажженный трут в ухо коню, он и унес молодца. А мы снялись, да и пошли. День идем и два, смотрим — догнал! «Гей вы, говорит, перед богом и вами совесть моя чиста, отдайте девку в жены мне: все поделю с вами, богат я сильно!» Горит весь и, как ковыль под ветром, качается в седле. Мы задумались.

— А ну-ка, дочь, говори! — сказал себе в усы Данило.

— Кабы орлица к ворону в гнездо по своей воле вошла, чем бы она стала? — спросила нас Радда.

Засмеялся Данило, и все мы с ним.

— Славно, дочка! Слышал, господарь? Не идет дело! Голубок ищи — те податливей. — И пошли мы вперед.

А тот господарь схватил шапку, бросил ее оземь и поскакал так, что земля задрожала. Вот она какова была Радда, сокол!

Да! Так вот раз ночью сидим мы и слышим — музыка плывет по степи. Хорошая музыка! Кровь загоралась в жилах от нее, и звала она куда-то. Всем нам, мы чуяли, от той музыки захотелось чего-то такого, после чего бы и жить уж не нужно было, или, коли жить, так — царями над всей землей, сокол!

Вот из темноты вырезался конь, а на нем человек сидит и играет, подъезжая к нам. Остановился у костра, перестал играть, улыбаясь, смотрит на нас.

— Эге, Зобар, да это ты! — крикнул ему Данило радостно. Так вот он, Лойко Зобар!

Усы легли на плечи и смешались с кудрями, очи, как ясные звезды, горят, а улыбка — целое солнце, ей-богу! Точно его ковали из одного куска железа вместе с конем. Стоит весь, как в крови, в огне костра и сверкает зубами, смеясь! Будь я проклят, коли я его не любил уже, как себя, раньше, чем он мне слово сказал или просто заметил, что и я тоже живу на белом свете!

Вот, сокол, какие люди бывают! Взглянет он тебе в очи и полонит твою душу, и ничуть тебе это не стыдно, а еще и гордо для тебя. С таким человеком ты и сам лучше становишься. Мало, друг, таких людей! Ну, так и ладно, коли мало. Много хорошего было бы на свете, так его и за хорошее не считали бы. Так-то! А слушай-ка дальше.

Радда и говорит: «Хорошо ты, Лойко, играешь! Кто это сделал тебе скрипку такую звонкую и чуткую?» А тот смеется: «Я сам делал! И сделал ее не из дерева, а из груди молодой девушки, которую любил крепко, а струны из ее сердца мною

свиты. Врет еще немного скрипка, ну, да я умею смычок в руках держать!»

Известно, наш брат старается сразу затуманить девке очи, чтоб они не зажгли его сердце, а сами подернулись бы по тебе грустью, вот и Лойко тож. Но — не на ту напал. Радда отвернулась в сторону и, зевнув, сказала: «А еще говорили, что Зобар умен и ловок, — вот лгут люди!» — и пошла прочь.

— Эге, красавица, у тебя острые зубы! — сверкнул глазами Лойко, слезая с коня. — Здравствуйте, братья! Вот и я к вам!

— Просим гостя! — сказал Данило в ответ ему. Поцеловались, поговорили и легли спать... Крепко спали. А наутро, глядим, у Зобара голова повязана тряпкой. Что это? А это конь зашиб его копытом сонного.

Э, э, э! Поняли мы, кто этот конь, и улыбнулись в усы, и Данило улыбнулся. Что ж, разве Лойко не стоил Радды? Ну, уж нет! Девка как ни хороша, да у ней душа узка и мелка, и хоть ты пуд золота повесь ей на шею, все равно, лучше того, какова она есть, не быть ей. А, ну ладно!

Живем мы да живем на том месте, дела у нас о ту пору хорошие были, и Зобар с нами. Это был товарищ! И мудр, как старик, и сведущ во всем, и грамоту русскую и мадьярскую понимал. Бывало, пойдет говорить — век бы не спал, слушал его! А играет — убей меня гром, коли на свете еще кто-нибудь так играл! Проведет, бывало, по струнам смычком — и вздрогнет у тебя сердце, проведет еще раз — и замрет оно, слушая, а он играет и улыбается. И плакать и смеяться хотелось в одно время, слушая его. Вот тебе сейчас кто-то стонет горько, просит помощи и режет тебе грудь, как ножом. А вот степь говорит небу сказки, печальные сказки. Плачет девушка, провожая добра молодца! Добрый молодец кличет девицу в степь. И вдруг — гей! Громом гремит вольная, живая песня, и само солнце, того и гляди, затанцует по небу под ту песню! Вот как, сокол!

Каждая жила в твоём теле понимала ту песню, и весь ты становился рабом ее. И коли бы тогда крикнул Лойко: «В ножи, товарищи!» — то и пошли бы мы все в ножи, с кем указал бы он. Все он мог сделать с человеком, и вселюбили его, крепко любили, только Радда одна не смотрит на парня; и ладно, коли бы только это, а то еще и подсмеивается над ним. Крепко она задела за сердце Зобара, то-то крепко! Зубами скрипит, дергая себя за ус, Лойко, очи темнее бездны смотрят, а порой в них такое сверкает, что за душу страшно становится. Уйдет ночью далеко в степь Лойко, и плачет до утра его скрипка, плачет, хоронит Зобарову волю. А мы лежим да слушаем и думаем: как быть? И знаем, что, коли два камня друг на друга катятся, становиться между ними нельзя — изувечат. Так и шло дело.

Вот сидели мы, все в сборе, и говорили о делах. Скучно стало. Данило и просит Лойко: «Спой, Зобар, песенку, повесели душу!»

Тот повел оком на Радду, что неподалеку от него лежала кверху лицом, глядя в небо, и ударил по струнам. Так и заговорила скрипка, точно это и вправду девичье сердце было! И запел Лойко:

Гей-гей! В груди горит огонь,  
А степь так широка!  
Как ветер, быстр мой борзый конь,  
Тверда моя рука!

Повернула голову Радда и, привстав, усмехнулась в очи пелу. Вспыхнул, как заря, он.

Гей, гоп-гей! Ну, товарищ мой!  
Поскачем, что ль, вперед?  
Одета степь суровой мглой,  
А там рассвет нас ждет!  
Гей-гей! Летим и встретим день.  
Взвивайся в вышину!  
Да только гривой не задень  
Красавицу луну!

Вот пел! Никто уж так не поет теперь! А Радда и говорит, точно воду цедит:

— Ты бы не залетал так высоко, Лойко, неравно упадешь, да— в лужу носом, усы запачкаешь, смотри.— Зверем посмотрел на нее Лойко, а ничего не сказал — стерпел парень и поет себе:

Гей-гоп! Вдруг день придет сюда,  
А мы с тобою спим.  
Эй, гей! Ведь мы с тобой тогда  
В огне стыда сгорим!

— Это песня! — сказал Данило.— Никогда не слышал такой песни; пусть из меня сатана себе трубку сделает, коли вру я!

Старый Нур и усами поводил, и плечами пожимал, и всем нам по душе была удалая Зобарова песня! Только Радде не понравилась.

— Вот так однажды комар гудел, орлиный клекот передразнивая,— сказала она, точно снегом в нас кинула.

— Может быть, ты, Радда, кнута хочешь? — потянулся Данило к ней, а Зобар бросил наземь шапку, да и говорит, весь черный, как земля:

— Стой, Данило! Горячему коню — стальные удила! Отдай мне дочку в жены!

— Вот сказал речь! — усмехнулся Данило.— Да возьми, коли можешь!

— Добро! — молвил Лойка и говорит Радде: — Ну, девушка, послушай меня немного, да не кичись! Много я вашей сестры видел, эге, много! А ни одна не тронула моего сердца так, как ты. Эх, Радда, полонила ты мою душу! Ну что ж? Чему быть, так то и будет, и... нет такого коня, на котором от самого себя ускользнуть можно было!.. Беру тебя в жены перед богом, своей честью,

твоим отцом и всеми этими людьми. Но смотри, воле моей не перечь — я свободный человек и буду жить так, как я хочу! — И подошел к ней, стиснув зубы, сверкая глазами. Смотрим мы, протянул он ей руку, — вот, думаем, и надела узду на степного коня Радда! Вдруг видим, взмахнул он руками и оземь затылком — грох!..

Что за диво? Точно пуля ударила в сердце малого. А это Радда захлестнула ему ременное кнутовище за ноги, да и дернула к себе, — вот отчего упал Лойко.

И снова уж лежит девка не шевелясь, да усмехается молча. Мы смотрим, что будет, а Лойко сидит на земле и сжал руками голову, точно боится, что она у него лопнет. А потом встал тихо, да и пошел в степь, ни на кого не глядя. Нур шепнул мне: «Смотри за ним!» И пополз я за Зобаром по степи в темноте ночной. Так-то, сокол!»

Макар выколотил пепел из трубки и снова стал набивать ее. Я закутался плотнее в шинель и, лежа, смотрел на его старое лицо, черное от загара и ветра. Он, сурово и строго качая головой, что-то шептал про себя; седые усы шевелились, и ветер трепал ему волосы на голове. Он был похож на старый дуб, обожженный молнией, но все еще мощный, крепкий и гордый своей силой. Море шепталось по-прежнему с берегом, и ветер все так же носил его шепот по степи. Нонка уже не пела, а собравшиеся на небе тучи сделали осеннюю ночь еще темней.

«Шел Лойко нога за ногу, повеся голову и опустив руки, как плети, и, придя в балку к ручью, сел на камень и охнул. Так охнул, что у меня сердце кровью облилось от жалости, но все же не подошел к нему. Словом горю не поможешь — верно?! То-то! Час он сидит, другой сидит и третий не шелохнется — сидит.

И я лежу неподалеку. Ночь светлая, месяц серебром всю степь залил, и далеко все видно.

Вдруг вижу: от табора спешно Радда идет.

Весело мне стало! «Эх, важно! — думаю, — удалая девка Радда!» Вот она подошла к нему, он и не слышит. Положила ему руку на плечо; вздрогнул Лойка, разжал руки и поднял голову. И как вскочит, да за нож! Ух, порежет девку, вижу я, и уж хотел, крикнув до табора, побежать к ним, вдруг слышу:

— Брось! Голову разобью! — Смотрю: у Радды в руке пистоль, и она в лоб Зобару целит. Вот сатана девка! А ну, думаю, они теперь равны по силе, что будет дальше!

— Слушай! — Радда заткнула за пояс пистоль и говорит Зобару: — Я не убить тебя пришла, а мириться, бросай нож! — Тот бросил и хмуро смотрит ей в очи. Дивно это было, брат! Стоят два человека и зверями смотрят друг на друга, а оба такие хорошие, удалые люди. Смотрит на них ясный месяц да я — и все тут.

— Ну, слушай меня, Лойко: я тебя люблю! — говорит Радда. Тот только плечами повел, точно связанный по рукам и ногам.

— Видала я молодцов, а ты удалей и краше их душой и лицом. Каждый из них усы себе бы сбрил — моргни я ему глазом, все они пали бы мне в ноги, захоти я того. Но что толку? Они и так не больно-то удалы, а я бы их всех обабила. Мало осталось на свете удалых цыган, мало, Лойко. Никогда я никого не любила, Лойко, а тебя люблю. А еще я люблю волю! Волю-то, Лойко, я люблю больше, чем тебя. А без тебя мне не жить, как не жить и тебе без меня. Так вот я хочу, чтобы ты был моим и душой и телом, слышишь? — Тот усмехнулся.

— Слышу! Весело сердцу слушать твою речь! Ну-ка, скажи еще!

— А еще вот что, Лойко: все равно, как ты ни вертись, я тебя одолею, моим будешь. Так не теряй же даром времени — впереди тебя ждут мои поцелуи да ласки... крепко целовать я тебя буду, Лойко! Под поцелуй мой забудешь ты свою удалую жизнь... и живые песни твои, что так радуют молодцов-цыган, не зазвучат по степям больше — петь ты будешь любовные, нежные песни мне, Радде... Так не теряй даром времени, — сказала я это, значит, ты завтра покоришься мне как старшему товарищу юнаку. Поклонишься мне в ноги перед всем табором и поцелуешь правую руку мою — и тогда я буду твоей женой.

Вот чего захотела чертова девка! Этого и слыхом не слыхано было; только в старину у черногорцев так было, говорили старики, а у цыган — никогда! Ну-ка, сокол, выдумай что ни то посмешнее? Год поломаешь голову, не выдумаешь!

Прянул в сторону Лойко и крикнул на всю степь, как раненый в грудь. Дрогнула Радда, но не выдала себя.

— Ну, так прощай до завтра, а завтра ты сделаешь, что я велела тебе. Слышишь, Лойко!

— Слышу! Сделаю, — застонал Зобар и протянул к ней руки. Она и не оглянувшись на него, а он зашатался, как сломанное ветром дерево, и пал на землю, рыдая и смеясь.

Вот как замаяла молодца проклятая Радда. Насилу я привел его в себя.

Эхе! Какому дьяволу нужно, чтобы люди горе горевали? Кто это любит слушать, как стонет, разрываясь от горя, человеческое сердце? Вот и думай тут!..

Воротился я в табор и рассказал о всем старикам. Подумали и решили подождать да посмотреть — что будет из этого. А было вот что. Когда собрались все мы вечером вокруг костра, пришел и Лойко. Был он смутен и похудел за ночь страшно, глаза ввалились; он опустил их и, не подымая, сказал нам:

— Вот какое дело, товарищи: смотрел в свое сердце этой ночью и не нашел места в нем старой вольной жизни моей. Радда там живет только — и все тут! Вот она, красавица Радда, улыбается, как царица! Она любит свою волю больше меня, а я ее люблю больше своей воли, и решил я Радде поклониться в ноги, так она велела, чтоб все видели, как ее красота покорила удалого



Лойку Зобара, который до нее играл с девушками, как кричит с утками. А потом она станет моей женой и будет ласкать и целовать меня, так что уже мне и песен петь вам не захочется, и воли моей я не пожалею! Так ли, Радда? — Он поднял глаза и сумно посмотрел на нее. Она молча и строго кивнула головой и рукой указала себе на ноги. А мы смотрели и ничего не понимали. Даже уйти куда-то хотелось, лишь бы не видеть, как Лойко Зобар упадет в ноги девке — пусть эта девка и Радда. Стыдно было чего-то, и жалко, и грустно.

— Ну! — крикнула Радда Зобару.

— Эге, не торопись, успеешь, надоест еще... — засмеялся он. Точно сталь зазвенела, — засмеялся.

— Так вот и все дело, товарищи! Что остается? А остается попробовать, такое ли у Радды моей крепкое сердце, каким она мне его показывала. Попробую же, — простите меня, братцы!

Мы и догадаться еще не успели, что хочет делать Зобар, а уж Радда лежала на земле, и в груди у нее по рукоять торчал кривой нож Зобара. Оцепенели мы.

А Радда вырвала нож, бросила его в сторону и, зажав рану прядью своих черных волос, улыбаясь, сказала громко и внятно:

— Прощай, Лойко! я знала, что ты так сделаешь!.. — да и умерла...

Понял ли девку, сокол?! Вот какая, будь я проклят на веки вечные, дьявольская девка была!

— Эх! да и поклонюсь же я тебе в ноги, королева гордая! — на всю степь гаркнул Лойко да, бросившись наземь, прильнул устами к ногам мертвой Радды и замер. Мы сняли шапки и стояли молча.

Что ты скажешь в таком деле, сокол? То-то! Нур сказал было: «Надо связать его!..» Не поднялись бы руки вязать Лойко Зобара, ни у кого не поднялись бы, и Нур знал это. Махнул он рукой, да и отошел в сторону. А Данило поднял нож, брошенный в сторону Раддой, и долго смотрел на него, шевеля седыми усами, на том ноже еще не застыла кровь Радды, и был он такой кривой и острый. А потом подошел Данило к Зобару и сунул ему нож в спину как раз против сердца. Тоже отцом был Радде старый солдат Данило!

— Вот так! — повернувшись к Даниле, ясно сказал Лойко и ушел догонять Радду.

А мы смотрели. Лежала Радда, прижав к груди руку с прядью волос, и открытые глаза ее были в голубом небе, а у ног ее раскинулся удалой Лойко Зобар. На лицо его пали кудри, и не видно было его лица.

Стояли мы и думали. Дрожали усы у старого Данилы, и наспунились густые брови его. Он глядел в небо и молчал, а Нур, седой, как лунь, лег вниз лицом на землю и заплакал так, что ходунном заходили его стариковские плечи.

Было тут над чем плакать, сокол!

...Идешь ты, ну и иди своим путем, не сворачивая в сторону. Прямо и иди. Может, и не загинеешь даром. Вот и все, сокол!»

Макар замолчал и, спрятав в кисет трубку, запахнул на груди чекмень. Накрапывал дождь, ветер стал сильнее, море рокотало глухо и сердито. Один за другим к угасающему костру подходили кони и, осмотрев нас большими, умными глазами, неподвижно останавливались, окружая нас плотным кольцом.

— Гоп, гоп, эгой! — крикнул им ласково Макар и, похлопав ладонью шею своего любимого вороного коня, сказал, обращаясь ко мне: — Спать пора! — Потом завернулся с головой в чекмень и, могуче вытянувшись на земле, умолк.

Мне не хотелось спать. Я смотрел во тьму степи, и в воздухе перед моими глазами плавала царственно красивая и гордая фигура Радды. Она прижала руку с прядью черных волос к ране на груди, и сквозь ее смуглые, тонкие пальцы сочилась капля по капле кровь, падая на землю огненно-красными звездочками.

А за нею по пятам плыл удалой молодец Лойко Зобар; его лицо завесили пряди густых черных кудрей, и из-под них капали частые, холодные и крупные слезы...

Усиливался дождь, и море распевало мрачный и торжественный гимн гордой паре красавцев цыган — Лойке Зобару и Радде, дочери старого солдата Данилы.

А они оба кружились во тьме ночи плавно и безмолвно, и никак не мог красавец Лойко поравняться с гордой Раддой.

## ДЕВУШКА И СМЕРТЬ

*Сказка*

### I

По деревне ехал царь с войны.  
Едет — черной злобой сердце точит.  
Слышит — за кустами бузины  
Девушка хохочет.

Грозно брови рыжие нахмуря,  
Царь ударил шпорами коня,  
Налетел на девушку, как буря,  
И кричит, доспехами звеня:

— Ты чего, — кричит он зло и грубо, —  
Ты чего, девчонка, скалишь зубы?

Одержал враг надо мной победу,

Вся моя дружина перебита,

В плен попала половина свиты,

Я домой, за новой ратью еду,

Я — твой царь, я в горе и обиде, —

Каково мне глупый смех твой видеть? —

Кофточку оправа на груди,

Девушка ответила царю:

— Отойди — я с милым говорю!

Батюшка, ты лучше отойди.

---

Любишь, так уж тут не до царей, —

Некогда беседовать с царями!

Иногда любовь горит скорей

Тонкой свечки в жарком божьем храме.

Царь затрясся весь от дикой злости,  
Приказал своей покорной свите:  
— Ну те-ко, в тюрьму девчонку бросьте,  
Или лучше — сразу удавите!—  
Исказив угодливые рожи,  
Бросились к девице, словно черти,  
Конюхи цареvy и вельможи,—  
Предали девицу в руки Смерти.

## II

Смерть всегда злым демонам покорна,  
Но в тот день она была не в духе,—  
Ведь весной любви и жизни зерна  
Набухают даже в ней, старухе.  
Скучно век возиться с тухлым мясом,  
Истреблять в нем разные болезни;  
Скучно мерять время смертным часом—  
Хочется пожить побесполезней.  
Все пред неизбежной с нею встречей  
Ощущают только страх нелепый,  
Надоел ей ужас человеческий,  
Надоели похороны, склепы.  
Занята неблагодарным делом  
На земле и грязной и недужной,  
Делает она его умело,—  
Люди же считают Смерть ненужной.  
Ну, конечно, ей обидно это,  
Злит ее людское наше стадо,  
И, озлясь, сживает Смерть со света  
Иногда не тех, кого бы надо.  
Полюбить бы Сатану ей, что ли,  
Подышать бы вволю адским зноем,  
Зарыдать бы от любовной боли  
Вместе с огнекудрым Сатаною!

## III

Девушка стоит пред Смертью, смело  
Грозного удара ожидая.  
Смерть бормочет — жертву пожалела:  
— Ишь ты ведь, какая молодая!  
Что ты нагрубилa там царю?  
Я тебя за это уморю!  
— Не сердись,— ответила девица,—  
За что на меня тебе сердиться?

Целовал меня впервые милый  
Под кустом зеленой бузины,—  
До царя ли мне в ту пору было?  
Ну, а царь — на грех — бежит с войны.  
Я и говорю ему, царю,  
Отойди, мол, батюшка, отсюда!  
Хорошо, как будто, говорю,  
А гляди-ко, вышло-то как худо!  
Что ж?! От Смерти некуда деваться,  
Видно, я умру, не долюбя.  
Смертушка! Душой прошу тебя —  
Дай ты мне еще поцеловаться!—  
Странны были Смерти речи эти,—  
Смерть об этом никогда не просят!  
Думает: «Чем буду жить на свете,  
Если люди целоваться бросят?»  
И на вешнем солнце кости грея,  
Смерть сказала, подманив змею:  
— Ну, ступай, целуйся, да — скорее!  
Ночь — твоя, а на заре — убью!—  
И на камень села,— ожидает,  
А змея ей жалом косу лижет.  
Девушка от счастья рыдает,  
Смерть ворчит:— Иди скорей, иди же!

#### IV

Вешним солнцем ласково согрета,  
Смерть разула стоптанные лапти,  
Прилегла на камень и — уснула.  
Нехороший сон приснился Смерти!  
Будто бы ее родитель, Каин,  
С правнуком своим — Искаротом,  
Дряхленькие оба, лезут в гору,—  
Точно две змеи ползут тихонько.  
— Господи! — угрюмо стонет Каин,  
Глядя в небо тусклыми глазами.  
— Господи!— взывает злой Иуда,  
От земли очей не поднимая.  
Над горою, в облаке румяном  
Возлежит господь,— читает книгу;  
Звездами написана та книга,  
Млечный Путь — один ее листочек!  
На верху горы стоит архангел,  
Снопик молний в белой ручке держит.  
Говорит он путникам сурово:  
— Прочь идите! Вас господь не примет!

— Михаиле! — жалуется Каин, —  
 Знаю я — велик мой грех пред миром!  
 Я родил убийцу светлой Жизни,  
 Я отец проклятой, подлой Смерти!  
 — Михаиле! — говорит Иуда, —  
 Знаю, что я Каина грешнее,  
 Потому что предал подлой Смерти  
 Светлое, как солнце, божье сердце! —  
 И зывают оба они в голос:  
 — Михаиле! Пусть господь хоть слово  
 Скажет нам, хоть только пожалеет —  
 Ведь прощенья мы уже не молим! —  
 Тихо отвечает им архангел:  
 — Трижды говорил ему я это,  
 Дважды ничего он не сказал мне,  
 В третий раз, качнув главою, молвил:  
 — Знай, — доколе Смерть живое губит,  
 Каину с Иудой нет прощенья.  
 Пусть их тот простит, чья сила может  
 Побороть навеки силу Смерти. —  
 Тут Братоубийца и Предатель  
 Горестно завывали, зарыдали,  
 И, обнявшись, оба покатались  
 В смрадное болото под горою.  
 А в болоте бесятся, ликуя,  
 Упыри, кикиморы и черти.  
 И плюют на Каина с Иудой  
 Синими болотными огнями.

## V

Смерть проснулась около полудня,  
 Смотрит, — а девица не пришла!  
 Смерть бормочет сонно: — Ишь ты, блудня!  
 Видно, ночь-то коротка была! —  
 Сорвала подсолнух за плетнем,  
 Нюхает; любитесь, как солнце  
 Золотит живым своим огнем  
 Лист осины в желтые червонцы.  
 И, на солнце глядя, вдруг запела  
 Тихо и гнусаво, как умела:  
 — Беспощадною рукой  
 Люди ближнего убьют  
 И хоронят. И поют:  
 «Со святыми упокой!»  
 Не пойму я ничего! —  
 Деспот бьет людей и гонит,



А издохнет — и его  
С той же песенкой хоронят!  
Честный помер или вор —  
С одинаковой тоской  
Распевает грустный хор:  
«Со святыми упокой!»  
Дурака, скота иль хама  
Я убью моей рукой,  
Но для всех поют упрямо:  
«Со святыми упокой!»

## VI

Спела песню — начинает злиться,  
Уж прошло гораздо больше суток,  
А не возвращается девица.  
Это — плохо. Смерти — не до шуток.  
Становясь все злее и жесточе,  
Смерть обула лапти и онучи  
И, едва дождавшись лунной ночи,  
В путь идет, грозней осенней тучи.  
Час прошла и видит: в перелеске,  
Под росистой молодой орешней,  
На траве атласной, в лунном блеске  
Девушка сидит богиней вешней.  
Как земля гола весною ранней,  
Грудь ее обнажена бесстыдно,  
И на коже шелковистой, ланьей,  
Звезды поцелуев ярко видны.  
Два соска, как звезды, красят грудь,  
И — как звезды — кротко смотрят очи  
В небеса, на светлый Млечный Путь,  
На тропу синеволосой ночи.  
Под глазами голубые тени,  
Точно рана — губы влажно алы.  
Положив ей голову в колени,  
Дремлет парень, как олень усталый.  
Смерть глядит, и тихо пламя гнева  
Гаснет в ее черепе пустом.  
— Ты чего же это, словно Ева,  
Спряталась от бога за кустом? —  
Точно небом — лунно-звездным телом  
Милого от Смерти заслоня,  
Отвечает ей девица смело:  
— Погоди-ко, не ругай меня!  
Не шуми, не испугай беднягу,  
Острою косою не звени!

Я сейчас приду, в могилу лягу,  
А его — подольше сохрани!  
Виновата, не пришла я к сроку,  
Думала — до Смерти недалеко.  
Дай еще парнишку обниму:  
Больно хорошо со мной ему!  
Да и он — хорош! Ты погляди,  
Вон какие он оставил знаки  
На щеках моих и на груди,  
Вишь цветут, как огненные маки!—  
Смерть, стыдась, тихонько засмеялась:  
— Да, ты будто с солнцем целовалась,  
Но — ведь у меня ты не одна —  
Тысячи я убивать должна!  
Я ведь честно времени служу,  
Дела — много, а уж я — стара,  
Каждою минутой дорожу,  
Собирайся, девушка, пора!—  
Девушка — свое:  
— Обнимет милый,  
Ни земли, ни неба больше нет.  
И душа полна нездешней силой,  
И горит в душе нездешний свет.  
Нету больше страха пред Судьбой,  
И ни бога, ни людей не надо!  
Как дитя — собою радость рада,  
И любовь любит себя!—  
Смерть молчит задумчиво и строго,  
Видит — не прервать ей этой песни!  
Краше солнца — нету в мире бога,  
Нет огня — огня любви чудесней!

## VII

Смерть молчит, а девушкины речи  
Зависти огнем ей кости плавят,  
В жар и холод властно ее мечут,  
Что же сердце Смерти миру явит?  
Смерть — не мать, но — женщина, и в ней  
Сердце тоже разума сильнее;  
В темном сердце Смерти есть ростки  
Жалости, и гнева, и тоски.  
Тем, кого она полюбит крепче,  
Кто ужален в душу злой тоскою,  
Как она любовно ночью шепчет  
О великой радости покоя!  
— Что ж, — сказала Смерть, — пусть будет чудо!

Разрешаю я тебе — живи!  
Только я с тобою рядом буду,  
Вечно буду около Любви!

---

С той поры Любовь и Смерть, как сестры,  
Ходят неразлучно до сего дня,  
За Любовью Смерть с косою острой  
Тащится повсюду, точно сводня.  
Ходит, околдована сестрою,  
И везде — на свадьбе и на тризне —  
Неустанно, неуклонно строит  
Радости Любви и счастье Жизни.

1892

## О МАЛЕНЬКОЙ ФЕЕ И МОЛОДОМ ЧАБАНЕ

*Валашская сказка*

У людей очень много грустных сказок; промолчим на вопрос, почему это так, и послушаем одну из них, новую сказку на старую тему, сказку, которую рассказывают на Дунае, голубой реке...

Над Дунаем есть лес, старый, мощный лес. Он начинается с берега и уходит далеко в глубь полей; ветви его деревьев нависли над синими звучными волнами реки, и корни их, узловатые и сморщенные, вода целует и моет, набегая на берег с тихим, ласковым звуком.

Жили в том лесу эльфы и феи, и старые, мудрые гномы построили в нем, под корнями деревьев, дворцы свои, сидя в которых они думали думы про жизнь и все другое, про что нужно думать, чтобы быть мудрецом.

Ночами они выходили на тенистый берег реки и, сидя на камнях, поросших мягким темно-зеленым мохом, и на старых, поваленных бурей стволах деревьев, смотрели на волны и слушали то, что они шептали, тихо пробегая до моря из непонятной, туманной мглой занавешенной дали.

В том же лесу жила и старая царица фей и четыре ее дочери; а из них самая меньшая была самой веселой, красивой и смелой. Она была очень маленькая, и ее головка, вся в серебряных волнистых кудрях, походила на пышно расцветшую лилию.

Целые дни она бегала по лесу, а когда уставала, то садилась на ветви старого дуплистого бука; он стоял близко к тому краю леса, что выходил в степь. Это было ее любимое место, и с него, чрез пышный полог душистых зеленых ветвей, волновавшийся, как море, чуть над ним промчится ветер, — она видела бесконечную ширь степи, начинавшейся сейчас же за лесом и уходившей

туда — в розовато-голубую даль, где ее край касался мягкой синевы неба.

Она сидела высоко на ветках, ветер тихо качал их под ней, и она пела, нежась на солнце, о том, как хорошо быть феей и жить в старом, тенистом лесу.

Птицы, бабочки и все, кто жил вместе с нею, очень любили ее, и ей жилось хорошо, очень хорошо.

И вот с нею-то и случилась эта грустная история, о которой рассказывали мне дунайские рыбаки.

Был май, — славный, веселый май; свежая, ярко-зеленая листва, рожденная им, ликовала; шум ее лился широкой и звучной струей в лазурное, яркое небо, — а в нем тихо плавали белые пуховые облака и таяли в ярких лучах веселого солнца весны.

Фея качалась на ветках могучего бука и пела; старые ветви музыкально и тихо скрипели, и зелень их шумно шептала хвалу песне красавицы феи:

Хорошо на ветках бука  
В ясный майский день качаться  
И волной душистой звука  
Песни леса упиваться!

Эта была ее любимая и бесконечно длинная песня.

Хорошо веселой белкой  
Прыгать с той на эту ветку,  
Разрывая белой ножкой  
Паука лесного сетку!..

И вдруг до ее слуха донеслась, как бы в ответ ей, другая звонкая и смелая песня:

Хорошо в степном просторе,  
Напоенном мягким зноем,  
Наблюдать, как в небе-море  
Мчатся тучки легким строем!

Фея удивилась и испугалась немного; эта песня прилетела со степи, и тот, кто ее пел, умел петь; звонко и стройно звучал его голос и, точно поддразнивая ее, вызывал на состязание.

Ветра буйного порывы  
Степью бешено летят,  
Точно в небе крошки-звезды  
Погасить они хотят!

Это пел не один из жаворонков и никто из соловьев; она знала все их песни! Кто же это пел? Ей захотелось узнать.

Как красива сеть ветвей  
Дуба мощного и вяза!

Она замолчала, — и, так как она была женщина, она была тщеславна, а потому тотчас же и подумала, что со дня своего

рождения лес не слышал такой красивой и звучной песни, как вот эта, которую она только что спела. Но не успел еще лес шумом ветвей сказать ей спасибо, как со степи полилось:

Степь родная! От края до края  
Ковылем поросла ты седым;  
Вольный ветер, с ним нежно играя,  
Над тобой мощной птицей летает  
И веселые сны навевает...  
И плывут и клубятся, как дым,  
Стаи туч с высоты голубой  
Далеко, далеко над тобой!..

Маленькая фея белкой взобралась на самую вершину бука и смотрела в степь. В ней догорал день, и ее край, о котором пелось, был окрашен в яркий пурпур, точно там был развешен громадный бархатный занавес и в складках его горело золото. А на пышном фоне этого занавеса рисовалась такая красивая и странная фигура кого-то с длинной палкой в руках и в белой овечьей шкуре на плечах и поясе. Она стояла на одном из тех маленьких холмиков, под которыми живут суслики и кроты, и, простирая руки к лесу, пела. Больше ничего не было видно. А когда песня, звонкая и смелая, была пропета, фее так сильно захотелось посмотреть поближе на того, кто пел ее, что она готова была побежать туда, но, вспомнив рассказы матери о том, что по степи часто ходят люди и что с ними лучше не встречаться, коли не хочешь несчастья,— удержалась и молча, не отрываясь, все смотрела на певца. А он, кончив свою песню, взмахнул над головой палкой, свистнул и, крикнув к лесу: «Эгой! Прощай!»— легкими шагами пошел туда, в степь, откуда выплывали навстречу ему тонкие стаи мутно-голубой мглы,— пошел и снова стал петь.

Есть ли что-нибудь для глаза  
Поля голого мертвей?!

Как серебряные колокольчики, звенел ее голос, когда она пела эту песенку-вызов, и в ответ получила:

Сеть из сучьев черных сплел  
Этот старый, хмурый лес,  
И лазурный свод небес  
Глаз мой в нем бы не нашел.

Это фею рассердило. Разве сквозь ветви деревьев не видно лазурного неба? Тот, кто пел эти песни, никогда не бывал в лесу. А вот что хорошего в бесконечно большом и голом поле,— это трудно сказать и мудрецу! Она громко закричала в степь:

Если по степи проносятся выюги,  
Дико и буйно в ней ветер поет,  
Лес в это время в тоске и испуге  
Страшно шумит и мне спать не дает!

Когда она прислушалась — в степи кто-то весело смеялся.  
— Ах, как это невежливо! — вскричала фея и почувствовала в себе желание победить.

Лесу хвалу я пою!—

запела она звонко. Весь лес до последнего кустика ласково зашумел бархатной листвой, и ее голос жаворонком взвился в небо.

Слушайте, птицы, меня!..

И неугомонно певшие птички замолчали, чтоб послушать и поучиться славить лес.

Песнь моя! громко звеня,  
Лейся ты в небо прекрасное!  
Солнце! ты песнь мою  
Златом лучей облеку  
И преврати в огоньки,  
Чистые, кроткие, ясные!..  
Пусть они песнью без слов  
Ночью по лесу летают  
И светляками сияют  
В зелени мощных дубов!..

И тут она встала на толстый сук бука, вдохновенно закинув голову назад, и, подняв маленькие белые ручки к небу, пела далее:

Мой старый, добрый, чудный лес!  
Ты тайны мир, ты мир чудес!  
Купаясь в запахе густом  
Тобой взлелеянных цветов,  
Веселых пташек дивный хор  
Тебе хвалы поет!..  
Под каждой веткой и листком  
Живут букашки, мотыльки...  
А меж корнями в мраке нор  
Живет суровый крот;  
И робкий кролик, и лиса,  
И желтый уж, и острый еж,  
И резвый эльф, и мудрый гном  
В тебе нашли приют!  
О лес!.. Всех птичек голоса,  
Пускай хоть век они звенят —  
За ночью ночь и день за днем —  
Тебя не воспоют,  
Мой старый, чудный, мощный лес!

Тихо ветер тучки гонит,  
Тени их на степь упали...  
И ковыль головки клонит,—  
Это тени стебли смяли.  
Тихий шорох ковыля  
Плавню льется в небеса,  
Точно чьи-то голоса  
Шепчут сказки, веселя  
Душу юную мою.  
Хищный беркут плавно вьется  
Там высоко точкой черной,

И оттуда клекот льется,  
Клекот мощный и задорный.  
Царство силы и свободы —  
Степь могучая моя...

Потом слова песни сделались неслышными, в лес летели одни только звуки, и фее было сладко слушать их; а когда и они пропали, потерявшись в безграничной степной равнине, она вместе с ними потеряла и силуэт певца, утонувшего в мягком море мглы. Тогда она задумчиво спустилась на землю и тихо пошла в свой дворец; но то, что раньше интересовало ее, — игры эльфов с мотыльками, и сияние светляков, и работа меж ветвями домовитых пауков, шорох листьев под ногою, тени мягкие на всем, и согнувшийся дугою погулять идущий гном, — все это не останавливало на себе ее ясных глаз; она думала о том, кто так много и так славно пел там, в степи, и ей очень хотелось узнать, что это было. Вот она пришла к себе. Ее мать и сестры собирались на свадьбу к одному почтенному кроту и стали звать ее с собой, но ей не захотелось и этого; тогда мать спросила ее:

— Что ты такая грустная, Майя? Ты устала или тебя опять напугали эти старые разбойники — вороны?

— Нет, не это, мама, совсем не это!

И она рассказала все, что с нею было, а потом спросила, что такое было это.

Сестры ее не удивились ее рассказу, они вскричали:

— Просто это чабан! а ты — дурочка! — и убежали куда-то, смеясь, бросая друг в друга цветами и крича: — Мы вас ждем!

— Да, это только чабан, моя дочка! — сказала фея-мать. — Он еще молод, должно быть, вот и распелся так; когда поживет, так разучится петь.

Она опытная была, эта царица фей.

— Что значит чабан, мама? — спросила Майя.

— Чабан — это тоже человек. Он пасет овец и потому называется чабан. Чабаны, впрочем, все-таки лучше других людей, не так злы и лживы, как те; должно быть, это потому, что они все время живут с овцами.

— Он не может ничего дурного мне сделать, мама?

— Он-то? Нет, я думаю, что может, потому что ведь он все-таки человек. Но ведь он к тебе не пойдет, ты к нему — тоже? Не так ли? Тебе нечего бояться, девочка!

И опять скажу: царица фей была редкая женщина; она была умна и хорошо знала людей, но, видно, позабыла кой о чем на этот раз.

Майя замолчала, и они пошли на свадьбу крота. Там было весело, собрался чуть не весь лес: громадная толпа кузнециков и стрекоз составила очень звучный оркестр и славно играла; эльфы, мотыльки и другие обитатели леса танцевали и пели, а царица фей с дочерьми сидела на пышном троне из тюльпанов, и майские жуки служили ей, поднося то росу с соком фиалок,



то молоко из лесных орехов и разные другие кушанья и сласти; мудрые гномы толковали между собой о жизни и других тайнах; мудрейшие еще больше убеждались в том, что действительно все суeta суeta и томление духа. Было очень весело!

Жених был приветлив и очень важен, потом — он был неглуп и очень зажиточен. Гости ни на что не могли пожаловаться и с любезными улыбками выслушивали его рассуждения о том, что главное в жизни общества — семья, он это понимает и вот женился, чем в некотором роде оказал обществу услугу, добавив к общей сумме его звеньев-семей еще одну.

Невеста была, должно быть, очень счастлива, потому что все время молчала, и, когда ее спрашивали о чем-нибудь, она вместо ответа улыбалась такой мягкой и доброй улыбкой.

Майе было скучно. Улучив минутку, она спросила крота, что он думает о чабанах.

— Чабаны?! Скрр!.. брр!.. Я таки близко знаю их! О да, принцесса, я таки имел с ними дело! Они бедны всегда, и поэтому все негодяи и разбойники. О да, это уж верно! Это так! Чабаны?! Огэ! Они не имеют никакой собственности, кроме самих себя; а всякий, не имеющий собственности, — вор, ибо чем бы он жил, раз он не вор?! Но, впрочем, он может быть нищим, это еще хуже, потому что воровать — это все-таки труд. Один из чабанов раз бросил в меня своей длинной палкой и бежал за мной до той поры, покуда я не убрался в нору; да, это было так!

— Зачем он бросил? — спросила Майя.

— Зачем? Я думаю, просто затем, что я имел неосторожность пройти близко от него, вот и все, отнюдь не больше. Ведь чабаны — люди, как хотите, и с них спрашивать много нельзя!

Майе стало еще скучней. Все, что происходило перед ее глазами, было совсем не так интересно, как интересно оно было раньше. Она была очень рада, когда мама объявила, что пора идти домой. И вот они пошли. Светляки бежали перед ними, светя им; лес уже спал, и небо спало, а звезды смотрели с него на землю и улыбались ей задумчиво и тихо.

Потом пришли домой.

Майя легла спать на свою кроватку из ландышей, а когда заснула, то видела бесконечно широкую, сожженную солнцем степь, и там на холмах стояло много чабанов с длинными палками в руках, и ветер играл их черными кудрями; они пели громкую, страшную песнь о свободе и о степи и бегали за кротоми, громко крича: «Эгой! гой!» Они были злы и страшны и очень пугали ее, но это не помешало все-таки ей, как только взошло солнце, побежать на свое любимое место и взобраться на ветви бука.

Он был там и пел:

В лесу над рекой жила фея,  
В реке она ночью купалась  
И раз, позабыв осторожность,  
В рыбацкие сети попалась.

Смотрели рыбаки, дивились...  
 Любимый товарищ их, Марко,  
 Взял на руки нежную фею  
 И стал целовать ее жарко.  
 А фея, как гибкая ветка,  
 В могучих руках извивалась  
 Да в Марковы очи смотрела  
 И тихо над чем-то смеялась.  
 День целый они целовались,  
 А чуть только ночь наступила,—  
 Пропала красавица фея,  
 А с нею и Маркова сила.  
 Дни Марко все рыскал по лесу,  
 А ночи сидел над Дунаем  
 И спрашивал волны: «Где фея?»  
 А волны смеются: «Не знаем!»  
 Повесился Марко на горькой,  
 Трусливо дрожащей осине...  
 И други его схоронили  
 Над синим Дунаем в теснине.  
 Ночами к нему на могилу  
 Та фея сидеть приходила...  
 Сидит и над чем-то смеется...  
 Ведь вот как веселье любила!  
 Купается фея в Дунае,  
 Как раньше, до Марка, купалась...  
 А Марка уж нету! От Марка  
 Лишь песня вот эта осталась!

Это была очень веселая песня, в голосе чабана ясно звучал смех, беззаботный и вольный, как сам чабан.

«Вот странная песня!— думала фея.— У кого он научился петь ее? И фея в этой песне странная, и Марко тоже странный. Почему он повесился, и что это значит — повеситься?» Ей казалось, что это не веселая песня, а очень грустная. Чабан же поет ее так весело... Она смотрела на него через вершины деревьев и хотела, чтоб он подошел ближе.

Но он не шел, а все пел и в такт своей песне помахивал палкой в воздухе; кончая одну песнь, звонко вскрикивал: «Эгой!» — и начинал другую:

А то еще есть песня  
 О старом казаке,  
 Что плыл куда-то ночью  
 На лодке по реке.  
 Будил он рыб и воду  
 Ударами весла...  
 А в сонном небе ночи  
 Над ним луна плыла.  
 И нежно там сияли  
 Красавиц звезд огни,  
 И знали всё, что будет  
 Со стариком, они.

Майя слушала и думала о певце, что, пожалуй, никто другой не знает столько таких песен, сколько он! Какие хорошие грустные песни, и как это верно спето про звезды, которые знают все,

что может быть завтра и дальше вперед! Хорошо слушать такие новые песни... И Майя незаметно для себя по ветвям деревьев добралась до самой опушки леса.

А было вот что: в лодку  
Русалка села вдруг  
И вырвала со смехом  
Весло из старых рук...—

продолжал певец и тут остановился, задумчиво глядя вдаль и тихо насвистывая мелодию своей песни. «Эгой!»

Была она красива,  
Нага и молода,  
С волос ее струилась  
Алмазами вода.  
Смеясь, она играла  
Казачкой бородой  
И говорила: «Хочешь  
Любить меня, седой?  
Но, впрочем, где тебе уж!  
Вот ты и дряхл и стар,  
Ты не погасишь лаской  
Кипучей страсти жар!  
Ты не обнимешь крепко,  
Ты слишком слаб, казак...  
А ну-ка, поцелуй-ка,  
Как я!.. вот так!.. вот так!..»  
Она его схватила  
И стала целовать,  
И стала в уши песни  
Тихонько напевать.

Майя слушала и думала о том, как это красиво было: в лучах луны тело русалки казалось голубым и прозрачным, его осыпали тяжелыми прядями густые волосы, и оно сверкало между них ослепительно ярко. Она извивалась змеей на широкой груди казака, серебряные волосы его бороды мешались с зелеными волосами русалки, а она ласково и нежно пела, и ее песня, наверное, была мягка, как осенний шум волн в камышах, и глаза ее горели так ярко, ярко, как звезды, которые, сияя из густо-синего бархата неба, улыбались и обливали светом своих тонких лучей реку и лодку, и тех, что, сидя в ней, целовали друг друга... Это было красиво!.. И еще была музыка... музыка шепота волн и звука поцелуев, шелеста деревьев на берегах, тонувших в мгле, мягкой и волнистой, и тихих песен русалки... Все это сливалось и звучало тихим и кротким гимном, которому имя — счастье жить!

А певец продолжает:

Остатки силы юной  
Проснулись в казаке...  
«Могу!..» — пронесся шепот  
По дремлющей реке.

Он берегов уснувших  
Во мгле не разбудил...  
Как тучка в небе ясном,  
Он, тихо тая, плыл  
И замер где-то грустно...  
Мир божий сладко спал,  
И больше ничего уж  
В ту ночь он не слышал.  
Как раньше, катит волны  
Красавица река...  
Но среди живых уж нету  
Бедняги казака!  
Теперь русалки око  
Не соблазнит его...  
Зарыт бедняк глубоко  
И... больше ничего!

Вот как кончилась песнь чабана! Майя не ожидала такого конца, и ей стало грустно. Это было так красиво и кончилось так страшно! И зачем это «больше ничего»? Было так много красивого!.. Она смотрела на певца — теперь он был близко от нее — и видела, что и ему грустно. Он низко наклонил голову и тихо покачивал ею, глядя в землю. Ей захотелось поговорить с ним, и, не думая о том, что из этого выйдет, она крикнула:

— Здравствуй! А скажи мне, почему у твоих веселых песен такие грустные концы?

Чабан встал с земли, подошел к самой опушке леса и, найдя ее в ветвях своими карими глазами, улыбнулся, кивнул ей головой и отвечал:

— Почему? Да потому, что все песни имеют концы! А до сей поры, я слышал, ничто не кончено так, как начато. Это ты распевашь в лесу? Вот ты какая! Я так и думал, что ты маленькая, гибкая и тонкая; у тебя и голос такой же, как сама ты.

Они замолчали и стали рассматривать друг друга. Он оперся о палку локтем одной руки и, положив на ее ладонь голову, смотрел вверх на ветви, из которых, улыбаясь, смотрело на него ее маленькое белое личико с ясными карими глазами. И хорошо же оно было в рамке майской зелени!

— Ты славно поешь! — сказала Майя, вдоволь насмотревшись в его черные, как омут, глаза и на смуглые, золотым пухом покрытые щеки.

— Пою, как умею, не лучше и не хуже этого, девушка! Сойди вниз, я посмотрю на тебя поближе. Ты ведь красавица, знаешь ли?

Ну, это-то она знала как нельзя более твердо. Когда по ночам засыпали ручьи, что текли по лесу, она частенько-таки любовалась в них своей рожницей и всем остальным. Все красавицы знают, что они такое, и почти всегда раньше времени знают это; можно думать, что коли бы этого не было, так и еще кое-чего не было бы!

Майя хотела сойти, но вспомнила о том, что говорили ей крот и мать.

— А ты злой? — спросила она.

— Я-то? Не знаю... Я — чабан...

— Это я знаю! — торопливо сказала Майя. — Значит, ты добрый?

— Не знаю! — весело тряхнул кудрями чабан.

— Ну, так я не приду к тебе, потому что ты, наверно, злой! Есть только злые и добрые, а больше никаких нет, и ты меня обманываешь.

— Э, да ты глупенькая какая! — крикнул чабан. — Как хочешь, не придешь — не приходи, а придешь — я тебя поцелую!

— Не хочу я, чтоб ты меня поцеловал!

— Ну, это ты врешь! Каждая девушка хочет, чтоб ее целовали; разве я не знаю, ты думаешь?

— А я не хочу!

— Теперь — может быть; а через час или завтра и ты тоже захочешь. Всю жизнь по деревьям лазить не станешь ведь? Ну, вот то-то же!

Майя задумалась. «Может быть, лучше — поцеловать его сейчас, если это так неизбежно? Это, должно быть, очень хорошо поцеловать его вон в эту ямочку на щеке, что сделалась от улыбки, и в ту — на другой щеке».

— Ну хорошо, я сойду! — засмеялась она и прыгнула с веток прямо ему на руки.

— Какая ты легонькая! — глядя ей в очи, сказал он и поцеловал ее в губы.

Ох, как это хорошо!.. Сладкий, как сок ландыша, и горячий, как летний солнечный луч, поцелуй чудной новой кровью потек по жилам к сердцу, и оно затрепетало до боли сильно и сладко.

Она и сама поцеловала его, а он ей ответил, и еще, и еще, и бесконечно много целовались они.

Уж наступал вечер. Заходило солнце; лес темнел, и из дали по степи поползли тени, посланники ночи. Тогда Майя вспомнила, что нужно идти домой. Ей не хотелось этого — с чабаном было так хорошо!..

— Ты уж уходишь? — спросил ее чабан. — Скоро! Но ты приходи завтра; я тебе что-то скажу, как придешь.

— Я приду; мне с тобой так хорошо; но ты скажи то, что хочешь, сейчас, чтоб мне не думать об этом ночью, — сказала Майя.

— А ты разве не станешь думать, когда узнаешь, что это?

— Что же думать о том, что знаешь?

— Нет уж, иди. До завтра!

— До завтра!

Они поцеловались, и Майя пошла в свой лес, а чабан пел ей вслед одну из своих песен, только на этот раз тихую и нежную, как летний вечер, а не одну из старых — сильных и смелых, как ветер степной.

Майя пришла домой и рассказала все, что случилось с ней в этот день. Эге, за всю свою жизнь до этой поры она не видала

своей матери и сестер такими испуганными и огорченными, как они были испуганы и огорчены, когда выслушали ее. Мать то сердилась, то плакала, и все говорила: «Что ты сделала, глупая! Что?!» Сестры молчали, и лес молчал, молчал задумчиво и неодобрительно. Майя чувствовала это, и ей было страшно чего-то.

— Дочка моя! — плакала мать. — Ты погубила себя!

Сестры убито молчали и тоже плакали.

— Почему же, мама? Ведь в том, что мы целовались, нет ничего страшного, это только приятно. И потом он говорит, что целоваться все равно нужно; не нынче — завтра, это неизбежно!

— Дочка моя! Ведь он человек!

Но Майя не понимала, как глубока та пропасть, которую скрывает это слово, и говорила свое, что целоваться приятно, что чабан так хорош и что то, что вышло, неизбежно должно было выйти. И та и другая были правы и, чем больше спорили, тем правее считали себя, и кончился спор, как всегда, — они почувствовали себя обиженными и рассердились друг на друга.

— Ты не уйдешь больше из дома дальше вот этого дуба! — сказала мать.

Этот дуб был в трех шагах от маленького теремка Майи; это ее еще сильнее обидело. Она пошла к нему и села под густой темно-зеленой навес его ветвей. И осталась одна, потому что мать и сестры ушли во дворец, взволнованно шепча о чем-то между собой. Все это утомило ее, и она уснула крепко, — в сущности, ведь ее совесть была чиста, как только что павшая с неба росинка, — уснула и видела степь, всю залитую горячим солнцем, и чабана; он пел песни, улыбался и целовал ее; у него ярко искрились глаза и зубы блестели, как жемчуг, из-под пушистых и черных усов; ей было так славно! И когда она проснулась, ей — эх ты, как! — захотелось побежать туда, в степь; но она вспомнила, что это запретили маленькой девочке Майе, и ей стало обидно и грустно. Может быть, было бы лучше не говорить о чабане дома!.. Но она не умела не говорить о том, что в ней или с ней было... Вот идет мать. Ее старые, седые волосы чешет ветер, и мотыльки, летая венцом вокруг ее головы, следят, как бы не попала пылинка на доброе старое лицо, которое теперь так убито и строго.

— Я пойду в степь, мама! — не то попросила, не то решила Майя.

— Ты не пойдешь, девочка! Ты погибнешь, если пойдешь! — подойдя к ней, заговорила царица-мать, и долго говорила она о том, что лучше не знать того, что приносит минуты радости и годы страданий, и о том, что только тогда душа свободна, когда она ничего не любит; о том, что человек слишком любит себя, чтоб надолго полюбить другого, и еще о многом, что было и мудро, и может быть, верно, но что совсем не было так приятно, как поцелуи чабана, и что не могло даже быть похоже на них. Майя слушала и очень внимательно, и долго, вплоть до той поры, пока

со степи не принеслось и не прокатилось по лесу звонкое «Эгой!» — и вслед за ним не поплыли славные и стройные звуки песни чабана.

Терять минуты не годится  
Тому, кто хочет много жить,  
Кто хочет жизнью насладиться!  
Тому, кто хочет счастлив быть,  
Терять минуты не годится.  
О, иди! Я тебя страстно жду!  
Поскорей!.. Для тебя я в груди  
Много песен веселых пайду...  
О, иди! Поскорее иди!..

Майя слушала эту песню, и ее сердце повторяло ее. Голос матери звучал, как жужжанье пчелы, звуки песни — как клекот орла.

— Нет, я пойду! — сказала Майя, и лес зашумел в ответ на громкий крик горя царицы-матери:

— Дочка, не ходи!..

— Ведь это жестоко, мама! Я хочу — ты не хочешь; почему же нужно, чтоб было так, как хочешь ты? Пойми, что хочу я! Я хочу!..

— Дочка моя!.. Я знаю, что будет из этого! Не ходи!..

— А я не знаю и пойду!

— Так тогда ты больше не будешь моей дочерью, — вскричала царица, и лес не раз повторил ее крик.

Бедные матери почему-то всегда забывают то время, когда они сами были только дочерьми, и отсюда выходит много лишнего крика; но это ничуть не мешает тому, чтоб все шло своим чередом.

Майя испугалась и, когда увидала, что мать уходит от нее, испугалась еще больше. А со степи неслось:

О, иди!.. Счастьем жизнь так бедна!..  
Торопись же! Она так кратка!  
Нужно пить чашу жизни до дна  
Поскорей — не остыла пока!..

Майя посмотрела кругом... Корявые сучья дубов и белые гибкие ветви берез переплелись между собой, тесно переплелись они, и никогда сквозь густую сеть их не проникало в лес так мало солнца, как сегодня! Воздух был влажен и душен; пахло не столько цветами и свежей майской зеленью, сколько перегнившим листом и еще чем-то, таким же тяжелым... А там, в степи, просторно и ярко! И оттуда неслась песнь:

О, иди!.. Хочешь жить, будь смелей!  
Поскорей!.. Страх и жалость отбрось!  
Только сердце свое ты жалея,  
Только с ним не пытайся жить врозь!

Майе стало казаться, что лес еще гуще переплел свои ветви и хочет помешать ей уйти и вершины деревьев, кланяясь ей, шепчут: «Не уходи отсюда!.. Там ждет тебя горе и еще что-то!» Она

чувствовала, что вот они повалятся ей на дорогу... но все-таки хотела и решила пойти. У нее прямо из сердца полилась песня вызова и желания:

Звук этих чарующих песен  
Отраду мне в грудь тихо льет.  
О лес! Почему ты стал тесен?  
Мне страшно!.. Мне больше дает  
Звук этих чарующих песен!..  
Мой лес! В тебе солнца так мало,  
В тебе не умеют так петь!..  
Мне скучно! Я жить здесь устала!  
Угрюма ветвей твоих сеть...  
И солнца в ней мало, так мало!  
Я воли хочу, хочу степи!  
Мне грудь тяжело давит твой мрак!  
Прочь эти зеленые цепи!..  
Пусти!.. а не то ты — мой враг!  
Я воли хочу, солнца, степи!..

— Майя!! — вскричали сестры и встали все рядом у нее на дороге.

— Дочка! Ты ведь разорвешь сердце мне!.. — простирая к ней руки, горько крикнула царица-мать.

Майя остановилась. Ей холодно и страшно стало, как никогда не бывало прежде. А со степи несло:

Иди!.. Мое сердце устало  
Тебя, моя девочка, ждать!  
Хоть счастья в жизни и мало,  
Но все я могу его дать!..

Майя и не посмотрела на мать, и на сестер не посмотрела, бросилась вперед, толкнув их, и ушла, а когда они опомнились, ее уже не было. Глухо гудел лес, и у корней могучего дуба лежала старая царица в короне серебряно-седых волос, широко раскинув руки и не дыша.

— Вот я! — крикнула Майя, подбегая к чабану. — Вот я! Вырвали меня из леса твои песни, и из моего сердца вырвали они все, что в нем было до той поры, пока я не услышала их, вырвали и породили там что-то новое и сильное, и вот я бросила и лес, и мать, и все... и пришла к тебе!

— Ну, что ж! Вот и славно!.. Теперь ты свободна, и смотри-ка: вот она, степь, нет у ней края, и вся она — твоя! И я твой, коли это нужно, а ты — моя! А то — так нет здесь ни тебя, ни меня, а есть мы, и ты — это я! Видишь, как славно! Только в степи и хорошо, потому что в ней свобода! Мы будем жить, как птицы; я буду петь тебе свои песни, а ты мне — свои, и обоим нам будет так хорошо, как никому никогда не бывало! И забудь ты то, что осталось там, сзади тебя, и будь моей милой!



— Да!— вздохнула Майя,— я буду твоей милой! Ты так хорошо поешь! А то, что в лесу, я уж забыла. Мне не жалко леса... и мать... и сестер... только вот там осталась моя постелька из ландышей... ее жалко! Ведь здесь жестко так,— на чем спать стану я?!

— Э, о чем она! На моих руках будешь спать ты и на грудь ко мне положишь свою головку. Разве это дурно? Вот так, а я буду петь тебе тихо, тихо и баюкать тебя своими песнями. Я много знаю песен.

Он взял ее на руки, и она положила головку к нему на смуглую, сильную грудь... Он запел, и солнце смотрело на них с ярко-голубого неба; там не плавали маленькие пуховые облака, оно было чисто, как душа девочки-феи, и только невидимые глазом жаворонки вплетали звуки своих песен в солнечные лучи... и над степью, в безбрежной равнине небес, плавала дивная, громкая музыка. Чабан сел в тень от одинокой березы, что, любя свободу, выдвинулась из леса далеко в степь и стояла в ней гордо и смело, тихо качая ветвями под ласками ветра, летевшего со стороны моря по степи... Он, глядя в глазки Майи, играл ее покрывалом из крыльев мотыльков, накинутым на ее плечики, и нежно пел ей:

О цветок мой! Бархат скнь  
С утомленных зноем плеч...  
Неба свод так чист и синь,  
Так прохладна эта тень!  
Славно в ней на отдых лечь  
В этот жаркий день!

Тонкими серебряными колокольчиками звенел его голос:

Ветер нежен и душит,  
Он несет со всех сторон  
Тихий шелест, стрекот, свист...  
О, как сладко мы уснем!  
Сон наш будет тих и чист  
Этим чудным днем!..

Майя засыпала под звуки этой песни, засыпала сладким сном счастья и сквозь дымку сна видела, что лучи из глаз чабана прямо в сердце льются ей. Он ее жег поцелуями, и она, не скупясь, отвечала ему. Это было так приятно! И потом она куда-то полетела быстрой птицей, и навстречу ей небо улыбнулось страстно, знойной улыбкой...

А когда она очнулась, уже ночь плыла над степью... Как прекрасны и могучи вы, свобода и любовь! И Майя спела одну старую соловьиную песню, в которой воспевалась любовь,— от себя вставив в нее хвалу свободе. Но вино не смешалось с огнем, и огонь не заменишь вином!.. Это вышла плохая песня; хвала свободе звучала в ней смело и громко, но эти смелые и громкие звуки шли в разлад с тихой и нежной мелодией хвалы любви. Но

чабан целовал ее, она отвечала ему, и никто, кроме птиц, не заметил того, что не ладится песня свободы с песней любви.

Так вот и зажили они. Пели и целовались, чуть только начинался день, и целовались и пели, когда ночь покрывала собою степь, и ходили по степи туда и сюда, свободные и веселые, как птицы. Так вот и жили они. Иногда вечером, когда солнце угасало и тонкой мглой окутывалась степь, эта мгла ложилась и на душу Майи, чуть туманя ясный блеск ее очей; но чабан целовал ее тогда чаще и крепче, и пока он ее целовал, из-за леса являлась луна, обливала всю степь голубым серебром, и мгла таяла и в степи и в душе маленькой феи. Хорошо им жилось!..

Но однажды гроза собралась там, вдали: незаметно она собралась и сначала явилась маленьким темно-сизым облачком; оно торопливо пробежало над степью, облитой горячим сиянием солнца, и, когда оно бежало, от него ложились тени, они казались степи темной, виноватой улыбкой, точно облако хотело сказать, что оно не по своей воле закрывает солнце и пугает птиц, а уж так ему повелел ветер. Пробежало это облако, и за ним медленно поплыли другие облака, побольше и поменьше его, — они плыли и хмуро смотрели на степь и на Майю с чабаном, что сидели там; а потом они стали собираться в темно-синие, мрачные стаи и закрыли собою все небо.

Ветер странным порывом промчался над степью в сторону моря, он мчался и выл что-то грозно и дико и гнал перед собой стаю сухих листьев, ковыль робко клонился к земле. Майя испуганно кинулась на грудь чабана, а тот громко крикнул:

— Эгой! — и спросил ее, крепко целуя в щеки: — Чего ты боишься? Это просто гроза собралась. Ты посмотришь, как это будет весело! Ничего нет в свете сильнее и красивей грозы. Эх, как она пролетит над степью, сколько золотых стрелок бросит в землю, сколько грозных песен прогудит ей!.. Знаешь ты, почему бывает гроза? Эх ты!.. не знаешь! Это потому, видишь ли, что небо смотрит, смотрит на землю и потом рассердится на нее за то, что она забывает о нем. Оно и жалеет ее и, может быть, любит немного... И вот, когда оно рассердится, то соберет все тучи, какие у него есть, и, вооружив их молниями, с громом пустит их лететь над землей: смотри, дескать, захочу — и вся ты в пыль разлетишься!.. Вот что такое гроза. Теперь ты знаешь?

— Я боюсь теперь! — вздохнула Майя. — Уйдем туда! — И она показала в сторону, где стоял лес.

— От грозы-то уйти! Вот уж сказала! Коли ты не хочешь ее, иди к ней навстречу, — так она скорее минует тебя, а избежать ее — все равно не избежишь! Да и бояться ее не нужно. Гроза!.. Эго! Что ж такое? Будь тверда, вот и все!

Но все, что он говорил, нисколько не утешало ее; она боязливо дрожала, обняв его крепко, и не хотела посмотреть туда — в даль, теперь уже матово-черную.

Вот на землю начали падать холодные крупные капли, и там, куда падала капля, вздымался маленький пыльный дымок. Потом прилетело из дали глухое ворчанье, и даль эта вспыхнула синим огнем. И вдруг тучи прыгнули в небе и с страшным громовым ударом порвались на клочья; в прорыве их, мрак освещая, блеснула раскаленная стрела молнии, ринулась на землю и, не долетев, погасла.

По степи пронесся ропот, широкой и мрачной волною он несся, и лес отвечал ему эхом. И хлынул дождь,— вот он!..

Стрелы молний рвали тучи, но они опять сливались и неслись над степью мрачной, наводящей ужас стаей. И порой, с ударом грома, что-то круглое, как солнце, ослепляя синим светом, с неба падало на землю; и блестели грозно тучи и казались взгляду ратью страшных, черных привидений, в бархат с золотом одетых, потрясающих мечами, что покованы из золота и калеными из горна были прямо в руки взяты. Привиденья рокотали и гремели, угрожая замолчавшей в страхе степи, и волною непрерывной и громадной, с море ростом, их проклятья и угрозы неустанно вдаль летели и звучали так, как горы вдруг бы, вдребезги разбившись, пали с грохотом на землю и, во прах ее разрушив, вместе с нею полетели в бесконечное пространство, камень, камень раздробляя,— и звучали так, как небо зазвучало б, изломавшись на куски и с выси синей быстро падая на землю... Вот как тучи те звучали!..

Ужас сердце чувствует в этот краткий миг, который делит гул громовый на удары; а они гремят, и тучи разрываются, бросая золотые стрелы молний из рядов своих на землю. Гром гремит, пылают тучи, и огонь их синь и страшен, и дрожит пустыня неба, и земля трясется робко... И на свете нет явлений больше сильных, больше страшных, чем гроза в степи широкой и на море бури бой!..

Степь молчала робко, странно, и над нею все катился дикий ропот. И, когда чернели тучи, в их огне сверкали сталью нитки тонкие дождя; он струился непрерывно, и звучал он монотонно плачем горя за кого-то...

Твердо, как скала, чабан стоял в степи, подставив грудь дождю и порывам ветра; и молнии, прядая по небу, точно не смели пасть на него, точно боялись они разлететься огненной пылью, ударившись в смуглую грудь чабана... А он с улыбкой смотрел на тучи, любясь их мрачной красотой и силой, и в его черных очах горел огонь зависти им, огонь такой же яркий, как сами молнии. Он забыл и о Майе, что лежала на земле, охватив своими тонкими ручками его ноги и крепко прижав к ним свою маленькую головку,— и о себе, и о степи... Ему самому хотелось летать с тучами и петь громкие песни с ними...

Гроза уж не гудела без отдыха, как раньше, а на минутку, и две, и три останавливалась и, точно присматриваясь к смелому человеку, одному пред нею, глухо ворчала, должно быть,

немножко не понимая, зачем он тут стоит и чего дожидается в пустынной степи под дождем... А потом, помолчав немного, снова встряхивала тучами и играла молниями, градом сыпая их на землю, а тонкие нити дождя все опускались из нее вниз и все блестели в огне молний и казались сетью из тонких стальных проволок, которую гроза кидала на землю, чтоб та запуталась в ней, и тогда гроза унесла бы ее с собой в страну, где живет Ночь и она сама, где всегда темно и где у грозы уже много натаскано таких, как земля, шаров, которыми она играет, когда ей скучно и нельзя уйти из дому.

А в степи было холодно, темно и мрачно. Когда молнии летели над нею, то казалось, что она тяжело и утомленно вздохнула, и, поднятая вздохом, ее широкая грудь так и замерла в страхе; а когда молнии падали на нее, она со стоном опускалась, ее давила тьма, и над ней монотонно плакал дождь.

Чабан стоял и пел, и в груди его все горело это могучее, смелое, что позволяло ему одиноко стоять грудью к грозе и не бояться; он все пел, и раз, когда все тучи сразу вспыхнули ослепительным голубым огнем, он невольно опустил глаза к земле и увидел у ног своих Майю, о которой забыл. Она лежала вся мокрая на мокрой земле, и ее маленькое личико было синим и мертвым, глазки закрыты, и плотно сжатые розовые губки были бледны.

— Умерла! — вскричал он удивленно. — Отчего же?

И наклонился над ней и, взяв ее на руки, прижал к своей груди. Она была так жалка, и в углах глаз ее замерли две слезинки; маленькая, беспомощная, она откинула головку назад, и ручки ее повисли так жалко и слабо.

— Умерла ты, Майя? — тихо спросил он ее и почувствовал, как что-то режет ему сердце острой, невыносимой болью. Он никогда не испытывал такой боли, даже тогда, как, раз упав, сломал себе кость руки, — и эта боль была жалость.

Он даже застонал страшным, рыдающим стоном... и в ответ ему дико и насмешливо захохотал гром прямо над его головой.

Чабан вздрогнул и согнулся, — посмотрел кругом, куда бы спрятать маленькую девочку Майю от грозы, и в первый раз пожалел о том, что не имеет шалаша. И его жалость к девочке перешла в страх за нее. Вот он вскинул на руках Майю высоко над своей головой и с тоской, рвавшей ему сердце так, что он чувствовал, как из этого сердца брызжет внутри его груди горячая кровь, — с тоской и со страхом крикнул изо всей силы:

— Пощади!

Гром хохотал, тучи мчались, дождь все падал и плакал, степь вздрагивала, а там, вдали, глухо и скорбно рыдал лес... Но в стороне, откуда мчались тучи, мрак становился бледней, и порой там сверкали ласковые голубые улыбки неба.

Чабан стоял и держал высоко над головой маленькую фею, а сам тоскливо смотрел ввысь, где мчались тучи, которым сов-

сем никакого дела не было ни до чабана, ни до Майи. Они пришли потому, что пришли, и уходят потому, что настала пора уйти. Они убили бы его, если б убили, но этого не случилось,— и им нет ровно никакого дела до чабана и Майи; они, может быть, хотят чего-то, но уж не так мало, как чабан и его фея! Они проносятся над землей и веселятся по-своему.

Вот вдали блеснуло солнце с непокрытого тучами неба; там была уже широкая ясно-голубая лента.

А чабан стоял и все держал Майю, подымая ее к небу и в тоске ожидая, скоро ли и над его головой блеснет солнце; он даже позабыл и о том, что можно бы пойти к нему навстречу.

Вот оно и блеснуло... и на побитых дождем стеблях ковыля засияли в его лучах алмазы и яхонты капель; и попадали эти лучи на личико Майи и ее грудь... А там, куда умчались тучи, еще гудел гром.

Тогда фея вздохнула и тихо простонала:

— О мама! мама!..

А чабан крепко прижал ее к груди, и ему стало так радостно!

— Так ты жива! Эх, как это хорошо! А я думал, что гром-то убил тебя!

— Я в лес хочу! Здесь мне страшно!.. — тихо сказала Майя.

— Да ведь она уж ушла, гроза-то! — вскричал чабан.

— Она опять воротится назад! Неси меня в лес!

— Но как же снесу тебя? Я не пойду туда! Чего там? Деревья, и все!..

— Нет, скорей отнеси меня! — настаивала фея.

— А я останусь один здесь? — спросил ее чабан и задумался... Тут есть что-то нехорошее!.. Что же в том, что один? Он всегда был один. И степь так близка и родна ему. Но почему же ему не хочется отнести ее в лес?.. А отнести-то очень не хотелось!

— Знаешь, — сказал он, — мне кажется, что, коли я отнесу тебя туда, так это будет похоже на то, как бы я разрезал себя на две половинки и они разошлись в разные стороны, — одна в степь, другая — в лес, вот что! Пожалуй, лучше этого не делать. А? что ты скажешь?

— Но я боюсь здесь! Я хочу в лес! Мне тоже будет скучно без тебя... ты думаешь — не будет? Ах нет! очень будет... но я хочу в лес! я боюсь здесь!.. какая гроза!..

— Ну, так как же мы будем? Тебе будет нехорошо без меня, а мне — без тебя. Останься-ка со мной! Что тебе гроза? Как придет она, я запою песню и буду петь до той поры, пока она будет метаться по степи, — вот и все!

— Ах, разве ты можешь с ней сладить? Она схватит тебя и со мной и может кинуть так далеко, что мы долетим до моря!

— До моря — это не далеко!.. — задумчиво говорил чабан. — Но как же я отнесу тебя, когда мне этого так не хочется!.. Э?!. И потом — здесь я дал тебе счастье, и ты мне, а в лесу... Ну-ка, скажи, что ты видела там?

Тут и Майя задумалась и, немножко помолчав, печально сказала:

— Это так, счастье здесь! но... ведь его так мало! Это я тебе тогда еще, в первый раз, хотела сказать. Оно, пожалуй, только ожидание; вот что твое счастье!..

Им стало грустно после этого; а над ними небо, освеженное грозой, тихо и ласково улыбалось. Чабан посмотрел на него и вдаль кругом себя и нигде не нашел ответа на свои думы.

— Ну, пойдем! Я отнесу тебя до опушки.

Он понес ее молча и смотрел не в глазки ее, как раньше, а в темную, смоченную дождем землю, и она, сидя у него на руках, молчала. В них обоих было что-то новое, чего они не понимали, но что мешало им так весело целоваться, как раньше они целовались.

— Прощай!.. Когда ты выйдешь из леса ко мне? — спросил он, опуская ее с рук на землю у опушки леса, под ветви, осыпанные, точно драгоценными камнями, каплями дождя, горевшими на солнце и молчаливо отдохавшими от бури.

— Приду? Не знаю, когда... Когда захочу, — не раньше! — ответила Майя.

— Ну, так поцелуй на прощанье.

Она крепко, крепко обняла его и поцеловала — горьким поцелуем сомнения, а потом пошла в лес, не оглянувшись на него. На нее падали с потревоженных веток холодные крупные капли, и от них ей было холодно. Лес молчал угрюмо и сосредоточенно, тропинка сделалась почему-то более густой, но менее красивой, чем прежде, и цветы были не так красивы, и меньше было их... и все было странно, не так, как прежде, точно у Майи теперь были новые глаза.

А как просторно там, в степи, и как там ярко! Он, наверно, сидит под ветвями осокоря и думает, глядя вдаль, положив на руки голову. Часто он так сидит и много думает. Часто, когда она засыпала у него на руках, а он переставал баюкать ее песней, она сквозь дрему наблюдала за ним, и, хотя ей казалось, что его сердце не с нею, все-таки хорошо было смотреть в его горячие очи!.. Она шла. Ветви деревьев осторожно дотрагивались до ее плеч и рук и точно хотели сказать ей шепотом что-то; но она не чувствовала ничего, кроме того, что печаль наполняла ей сердце...

Вот на дороге у ней стала царственно пышная лилия, и отягченная дождем ее серебряно-бархатная пышная чашечка почему-то так грустно качается. И эта лилия так бела, чиста, свежа! И, кажется, так гордится всем этим.

Майя наступила на нее ножкой, стебель жалобно хрупнул... и вот она, эта чистая лилия, лежит в грязи, вся измятая.

Майя посмотрела на нее, и ей стало за что-то стыдно и чего-то жалко.

— Я сделала сейчас так же, как эта Страшная Судьба, о которой рассказывал мне в степи он! А вот дворец матери!

Он стоял таким же красивым, как раньше, но в нем было что-то грустное.

— Мама!!.— рыдая, вскричала Майя и смотрела на ступени перед дверями дворца.

Как и раньше, они были обвиты темной зеленью плюща; ярко блестели белые душистые жасмины и желтые азалии на этой бархатной зелени и дышали густым ароматом в открытые окна дворца. В одном из них, из-за цветов, смотрели вниз на Майю ее сестры, и их лица были строги и печальны, хотя и казались тоже чашками белых тюльпанов.

— Мама?!.— спросила сквозь слезы Майя, не входя на ступени.

Лес повторил вслед за ней угрюмо: «Мама?!.» Сестры качнули печально и строго головками; деревья тоже качнули вершинами, и с их ветвей попадали частые крупные слезы.

— Ты убила ее! — сказала старшая сестра.

— Ты не сестра нам больше! — добавили две остальные.

Майя посмотрела на них с холодом в сердце... Мать умерла, значит?.. Умерла?!

Маленькая фея наклонила головку на грудь, и ей показалось, что маленькая змейка ужалила ее в сердце... «Но ведь мать-то старушка уж была, и умерла ли она оттого, что я не послушалась ее, или оттого, что пришло время смерти, — едва ли знают это сестры!..» Зачем же они говорят так строго и теперь вот смеются над нею там, вверху, меж цветов? Или им оттого, что они сказали ей, стало легче? Что она им сделала дурное? Ничего! Ну, и пусть их остаются себе! Ей их не жалко, потому что они обидели ее, и лес ей больше не нравится.

Майя пошла по лесу к своему любимому буку и забралась в его густую пахучую листву, омытую дождем. Она смотрела в небо; там уже вспыхивали звезды, они были еще малы и тусклы, мигали так грустно; небо было печально; а лес, казалось ей, молчал укоризненно, сухо, сердито... Она была одна и заплакала.

Слезки из ее глаз падали на листок бука, с него — на другой, третий, потом на землю... и, когда она проснулась на другое утро, под буком из травы выглядывали анютины глазки, а со степи над лесом плыла песня:

Э! Э!.. Почему тебя нет?  
Давно уже солнце блестит,  
Но нынче я им не согрет,  
И сердце в груди моей спит!  
И что-то в нем петь не дает...  
Эгой!.. Как тот жалок, кто ждет!  
Э! Э!.. Кабы я да умел  
По ясному небу летать,  
Я много бы огненных стрел  
У грома старался отнять



И той, что вчера целовал,  
Из них бы корону сковал!..

«Вот он уже и поет! Как грустно звучит его голос сегодня!  
Отвечу ему...» — подумала она и запела:

Весь покоем и мглой  
Лес угрюмый объят...  
Лишь деревья листвою  
Тихо, нежно шумят.  
Вот в просвете меж туч  
Пышных, темных ветвей  
Солнце бросило луч  
В скрытый тенью ручей.  
Оживлен, освещен  
Этим ярким лучом,  
Загорелся весь он  
Разноцветным огнем, —  
Точно гном-чародей  
Щедрой дланью своей  
Бросил в этот ручей  
Драгоценных камней!..

— Эгой!!.— радостно неслось со степи.

Лентами песни твоей  
Сердце себе я украшу!  
Солнце сияет светлей,  
Слушая песенки наши!  
Эх, как я жадно ловлю  
Трель твоих малюсеньких песен!  
Степи простор стал мне тесен,  
Вот как тебя я люблю!!

А она продолжала:

Я дыханьем цветов  
Ароматным дышу,  
И тебя я спешу  
Целовать!  
«Понеси ты ему  
Сладкий наш аромат!» —  
Мне цветы говорят,  
Я иду!..

И в две минуты она была уже у опушки.

Он кинулся к ней навстречу, и ей показалось, что от его поцелуя все небо вспыхнуло мягким ярко-розовым огнем. Сладко это было!..

И снова зажили они. День за днем жизнь бежала, и, когда они привыкли друг к другу, им стало скучно. Чабану хотелось все ходить то туда, то сюда, а у Майи ножки болели от этой ходьбы.

И меж ними легла однажды тень, незаметно для них. Всякий знает, как бывает это; что ж говорить много!

Раз они сидели рядом друг с другом и молчали. День был такой яркий, молодой, сильный. Степной богатырь был этот день!



Им было грустно. Майя посмотрела в очи чабана и увидала, что темны они, эти очи, и черные брови над ними сурово сдвинулись.

— Что ж ты не скажешь мне ничего? — спросила она тихо и тихо стала играть его кудрями.

— А что бы сказать тебе? — двинул он плечами. — Сказал бы я тебе, что меня вон туда тянет, где так мглисто и мягко, вон в ту даль, где видно, что лучи солнца прямо на землю упали такими широкими лентами... Вот это я сказал бы тебе, да ведь ты не пойдешь со мной далеко: ножки заболят твои! Ну, а без тебя как же?

Он замолчал, и Майя молчала, печально понутив головку... А вот степь так разговаривала тысячью голосов сразу.

— Ну, и еще мог бы я тебе два-три слова сказать, коли бы ты не обиделась на меня за них.

Она ласково посмотрела на него.

— Как не видал я тебя, так и тоски во мне не было. В ту пору свободен я был и не хотел ничего, и не жалко мне было никого; славно было! Жил, да пел, да из конца в конец рыскал по степи, а по ночам смотрел в небо и думал, кому и на что нужно, чтоб в нем столько звезд горело? или о том, что там, выше неба, есть? И хотелось мне тогда многого... И знать я хотел, и делать все, — а теперь вот, как ты со мной, уж и нельзя жить мне так, как я хотел бы и как раньше жил, потому что уйти одному — обидеть тебя, а я тебя и люблю и жалею; вон ты какая красивая и молоденькая! А уж коли любишь и жалеешь или хочешь и боишься чего-нибудь, так ты и несвободен!.. Вот что я сказал тебе! И мне больно за то, что все это правда...

И чабан замолчал, глядя вдаль и печально кивая головою чему-то.

В душе Майи стало холодно, когда она услышала его речь, и из глаз ее тихо закапали слезы.

— Ты говоришь — это правда, и я скажу то же. Как жила я в лесу, плохо разве было в нем для меня? Вот уж нет!.. И это ведь ты, коли не забыл, выманил меня оттуда своими песнями! Я пошла, потому что думала — здесь с тобой лучше. Я пошла — и потеряла мать, сестер, мой дом, все!.. За что отдала я их, скажи-ка? Не за те ли минутки, когда поцелуи становятся так жарки, что даже больно?!. Дорого заплачено, коли так!.. А все, что я узнала от тебя, лучше бы и не знать, потому что обо всем этом думается! Ты говорил мне о судьбе и о смерти... ну, что в них хорошего? Кабы я не знала, что они есть, мне было бы веселее; оттого что, если умеешь думать, совсем не лучше жить!.. Вот и я сказала тебе кое-что и, может, больше бы сказала, кабы могла вынуть из груди сердце и поднести его на руке к твоим очам: посмотрел бы ты, что в нем есть! Умен ты, а вот скажи — зачем все это у нас вышло?

Он сам думал о том же... А зачем, в самом деле? Столько ли они оба получили друг от друга, сколько отдали друг другу?

На первый вопрос ни сам чабан, ни степь, ни небо, которые он грустно осматривал, не отвечали, а на второй уже было отвечено и им и Майей.

— Эх, как хороши, покойны и сильны эти две — бескрайняя степь и бездонное небо! Нет, моя горленка, мудреца, который сказал бы — зачем; нет такого, я думаю; а как посмотреть попристальнее, так, может, и еще многого чего нет!.. Виноваты ли мы друг перед другом? Нет, я думаю! Ляг же ко мне на грудь, а я обниму и поцелую тебя!

Майя посмотрела на него. Хорош он был раньше, сильный и смелый, с ясным челом и огненными глазами! хорош и теперь — исхудалый немного, задумчивый. И глубок, как небо, стал взгляд у него. Она обняла его и, положив ему головку на грудь, сказала:

— Спой мне одну твою прежнюю песенку! Давно уж не пел ты.

— Не поется теперь мне; не поется, голубка! Видно, уж спеты все мои песни!.. Знаешь что? Песни-то ведь были не мои, чужие все песни, — все их поют, слышал я, и вот сам запел... А они, может быть, только так... и, может быть, в них есть вредное для сердец.

Говорил он и грустно качал головой; а она плакала, потому что что же еще оставалось ей?..

Так и зажили они. Так зажили и, глядя один на другого, становились все больше лишними, все больше мешали друг другу и больше понимали и видели... И все больше чабану хотелось идти куда-нибудь далеко, далеко, где бы не было ничего такого, что он знал или что мог себе представить, а Майя хирела и бледнела с каждым днем и все думала: «Зачем?.. зачем?..»

А осень приближалась. Все чаще грозы пролетали над степью, и все чаще и мрачнее хмурилось небо, дни становились короче, чаще тени ночные... и порою в них Майя видела седую голову своей матери, мать печально качала головой, и страшной тоской светились ее старые очи... и лес золотился на солнце, надевая пурпурный осенний убор.

Чабан все сидел рядом с Майей и жадно посматривал вдаль и молчал; а иногда вдруг обнимал маленькую фею и так целовал ее, что она чуть не задышалась в его руках. И все хирела, хирела Майя.

Раз как-то утром, — совсем уж осеннее то было утро, пасмурное, и тучи низко нависли над землей, тяжелые, хмурые — вот, вот упадут на степь и покроют ее толстым пуховым сизым покрывалом, — вот этим-то утром проснулась Майя и сказала чабану:

— Умираю я, милый! да, умираю!..

Горем и радостью вместе блеснули чабановы очи, и он поднял ее с земли.

— Полно, голубка! — сказал он в тревоге.

— Нет, умираю!.. Умерло лето, и я вслед за ним! Неси меня к лесу скорее!

Он взял ее и понес.

Темен и мрачен был лес; уж не шептал он, как прежде, бывало, так нежно и мощно в одно время, и когда-то ярко-зеленая листва его зарделась осеннею краской, и много этой листвы попало к корням. Тихо в нем было, стояли деревья, молчали и думали думы про лето; и тучи повисли над их вершинами низко, низко и плакали о чем-то мелким и частым осенним дождем.

У опушки остановила Майя чабана и сказала тихо:

— Положи меня на землю!

Он положил ее, а сам сел рядом.

Порыв ветра прилетел со степи и много листьев сорвал с деревьев; они посыпались, крупные и красные, на головы Майи и чабана; деревья зашумели — монотонно они зашумели, — и был ли это их привет Майе, или смеялись они над нею и укоряли ее, нельзя было разобрать.

— Прощай! — сказала она чабану. — И ты, лес, прощай! Прощай и солнце там, за тучами! И вы, тучи, прощайте! вы пугали меня раньше вашей буйной отвагой, но теперь я знаю, что вами правит ветер, а им — еще что-то, и над всем царицею — Судьба, и она, наверно, тоже у кого-нибудь в неволе, может быть, у Смерти, что хочет взять меня... Но, наверно, и Смерть не свободна! никогда она не складывает рук, все работает и работает... Зачем?.. Ну, прощай же, еще раз, мой смелый! Теперь ты снова свободен, как орел; но зачем тебе это? спрашивал ли ты себя?.. Прощай! Буду ли я пеной в море, или голубою мглой на горах, или вечерней тенью степной, — я всегда буду помнить о тебе. Прощай! поцелуй еще раз!..

И, когда он ее целовал, она умерла.

Лежала она под деревьями, и они глухо роптали на что-то; и была она такая маленькая и спокойная, личико ее сделалось бледнее лилий... и тучи еще ниже опустились над степью и лесом и еще пуще заплакали... а у чабана пало сердце в груди и тоской, тоской переполнилось оно...

Он смотрел на нее, — она не была уж так хороша, как живая, но дороже была ему теперь, и больше любил он ее в эту-то грустную минуту. Да, больше он любил ее, потому что потерял... и ныло его сердце, и плакало... и злорада закипела в нем горячим ключом.

Он запел, в последний раз, может быть:

Пусть бы тот, кто первый влил  
В чашу жизни страсти яд,  
Сам бы чашу эту пил  
Долго, долго, бесконечно!..  
И, желая смерти, жил,  
Жил бы вечно!

И по лесу зазвучало гулкое эхо: «Жил бы вечно!..»

Но это что же за песня?! Чабан уж видел, что это не песня, и ему чего-то жалко и стыдно стало.

Взмахнув над головой своей длинной палкой, он свистнул тихо и жалобно, пошел вдаль, навстречу тучам — и пропал там.

А фея все лежала на опушке леса, и мокрые листья все падали, падали на нее... К вечеру солнечный луч проскользнул между тучами и не видал у опушки ничего, кроме высокой кучи красных и желтых листьев; а над нею, на черной и мокрой ветке дуба, сидел зимородок и посвистывал грустно и тихо. Тогда солнечный луч снова спрятался; стало темно, — и веселая маленькая фея Майя так и осталась под осенними листьями...

Вот и все.

В тот вечер, над Дунаем, на сваленном бурею мшистом дубе сидели три мудрые гнома и говорили о смерти веселой Майи. Они уже знали, что она умерла, так как они знают все, что где-либо случается, и знают даже немножко из того, что может случиться завтра; говорили они, — и один сказал так:

— Вот и вся жизнь маленькой Майи! Что ж! она получила, сколько могла; право, ей не на что жаловаться.

— Мне кажется, что любовь называют наслаждением потому только, что это уж очень сильная боль, и мне не жалко фею, как ничего не жалко, — потому что все глупо! — сказал немного погодя второй, который был помудрее первого.

А третий, набрав в руку камешков, задумчиво бросал их в речные волны и смотрел, улыбаясь, как от камней расходятся по воде круги и пропадают, стертые течением; он ровно ничего, ни слова не сказал, хотя думал не меньше, чем товарищи, и еще больше морщин, чем у них, резало его чело. Он ничего не сказал.

Он-то и был мудрейший.

Ну, вот я и рассказал эту сказку. Не новая эта сказка, и, может быть, она самой жизнью давно уже написана в твоём сердце; да ведь говорят, что и нет ничего на свете такого, чего бы уж раньше не было!..

...А рассказать-то мне так хотелось!

## ЕМЕЛЬЯН ПИЛЯЙ

— Ничего больше не остается делать, как идти на- соль! Солона эта проклятушая работа, а все ж таки надо взяться, потому что этак-то, неровен час, и с голоду подохнешь.

Проговорив это, мой товарищ Емельян Пиляй в десятый раз вынул из кармана кисет и, убедившись, что он так же пуст, как был пуст и вчера, вздохнул, сплюнул и, повернувшись на спину, посвистывая, стал смотреть на безоблачное, дышавшее зноем небо. Мы с ним, голодные, лежали на песчаной коее верстах в трех от Одессы, откуда ушли, не найдя работы. Емельян протянулся на песке головой в степь и ногами к морю, и волны, набегая на берег и мягко шумя, мыли его голые и грязные ноги. Жмурясь от солнца, он то потягивался, как кот, то сдвигался ниже к морю, и тогда волна окатывала его чуть не до плеч. Это ему нравилось.

Я взглянул в сторону гавани, где возвышался лес мачт, окутанных клубами тяжелого черно-сизого дыма, оттуда плыл глухой шум якорных цепей, свист локомотивов. Я не усмотрел там ничего, что бы возродило нашу угасшую надежду на заработок, и, вставая на ноги, сказал Емельяну:

— Ну что ж, идем на соль!

— Так... иди!.. А ты сладишь? — вопросительно протянул он, не глядя на меня.

— Там увидим.

— Так, значит, идем? — не шевеля ни одним членом, повторил Емельян.

— Ну, конечно!

— Ага! Что ж, это дело... пойдем! А эта проклятая Одесса — пусть ее черти проглотят! — останется тут, где она и есть. Портовый город! Чтоб те провалиться сквозь землю!

— Ладно, вставай и пойдем; руганью не поможешь.

— Куда пойдем? Это на соль-то?.. Так. Только вот видишь ли, братику, на соли этой тоже толку не будет, хоть мы и пойдем.

— Да ведь ты же говорил, что нужно туда идти.

— Это верно, я говорил. Что я говорил, так говорил; уж я от своих слов не откажусь. А только не будет толку, это тоже верно.

— Да почему?

— Почему? А ты думаешь, что там нас дожидаются, дескать, пожалуйста, господа Емельян да Максим, сделайте милость, лопайте ваши кости, получайте наши гроши!.. Ну нет, так не бывает! Дело стоит вот как: теперь ты и я — полные хозяева наших шкур...

— Ну ладно, будет! Пойдем!

— погоди! Должны мы пойти к господину заведывающему эту самую солью и сказать ему со всем нашим почтением: «Милостивый господин, многоуважаемый грабитель и кровопийца, вот мы пришли предложить вашему живоглотию наши шкуры, не благоугодно ли вам будет содрать их за шестьдесят копеек в сутки!» И тогда последует...

— Ну вот что, ты вставай и пойдем. До вечера придем к рыбацким заводам, поможем выбрать невод — накормят ужином, может быть.

— Ужином? Это справедливо. Они накормят; рыбацки народ хороший. Пойдем, пойдем... Но уж толку, братец ты мой, мы с тобой не отыщем, потому — незадача нам с тобой всю неделю, да и все тут.

Он встал, весь мокрый, потянулся и засунул руки в карманы штанов, сшитых им из двух мучных мешков, пошарил там и юмористически оглядел пустые руки, вынув их и поднеся к лицу.

— Ничего!.. Четвертый день ищу, и все — ничего! Дела, братец ты мой!

Мы пошли берегом, изредка перекидываясь друг с другом замечаниями. Ноги вязли в мягком песке, перемешанном с раковинами, мелодично шуршавшими от мягких ударов набегавших волн. Изредка попадались выброшенные волной студенистые медузы, рыбки, куски дерева странной формы, намокшие и черные... С моря набегал славный свежий ветерок, опаживал нас прохладой и летел в степь, вздымая маленькие вихри песчаной пыли.

Емельян, всегда веселый, видимо унывал, и я, замечая это, стал пытаться развлечь его.

— Ну-ка, Емеля, расскажи что-нибудь!

— Рассказал бы я тебе, брат, да говорилка слаба стала, потому — брюхо пустует. Брюхо в человеке — главное дело, и какого хочешь уroda найди — а без брюха не найдешь, дудки! А как брюхо покойно, значит и душа жива; всякое деяние человеческое от брюха происходит...

Он помолчал.

— Эх, брат, коли бы теперь тысячу рублей море мне швырнуло — бац! Сейчас открыл бы кабац; тебя в приказчики, сам устроил бы под стойкой постель и прямо из бочонка в рот себе трубку провел. Чуть захотелось испить от источника веселия и радости, сейчас я тебе команду: «Максим, отверни кран!» — и буль-буль-буль — прямо в горло. Глотай, Емеля! Хо-орощее дело, бес меня удави! А мужика бы этого, черноземного барина — ух ты! — грабь — дери шкуру!.. выворачивай наизнанку. Придет опохмеляться: «Емельян Павлыч! дай в долг стаканчик!» — «А?.. Что?.. В долг?! Не дам в долг!» — «Емельян Павлыч, будь милосерд!» — «Изволь, буду: вези телегу, шкалик дам». Ха-ха-ха! Я бы его, черта тугопузого, пронзил!

— Ну, что уж ты так жестоко! Смотри-ка — вон он голодает, мужик-то.

— Как-с? Голодает?.. А я не голодаю? Я, братец ты мой, со дня моего рождения голодаю, а этого в законе не писано. Н-да-с! Он голодает — почему? Неурожай? У него сначала в башке неурожай, а потом уже на поле, вот что! Почему в других-прочих империях неурожая нет? Потому, что там у людей головы не затем приделаны, чтоб можно было в затылке скрести; там думают, — вот что! Там, брат ты мой, дождь можно отложить до завтра, коли он сегодня не нужен, и солнце можно на задний план отодвинуть, коли оно слишком усердствует. А у нас какие свои меры есть? Никаких мер, братец ты мой... Нет, это что! Это всё шутки. А вот кабы действительно тысячу рублей и кабац, это бы дело серьезное...

Он замолчал и по привычке полез за кисетом, вынул его, выворотил наизнанку, посмотрел и, зло плюнув, бросил в море.

Волна подхватила грязный мешочек, понесла было его от берега, но, рассмотрев этот дар, негодующе выбросила снова на берег.

— Не берешь? Врешь, возьмешь! — Схватив мокрый кисет, Емельян сунул в него камень и, размахнувшись, бросил далеко в море.

Я засмеялся.

— Ну, что ты скалишь зубы-то?.. Люди тоже! Читает книжки, с собой их носит даже, а понимать человека не умеет! Кикимора четырехглазая!

Это относилось ко мне, и по тому, что Емельян назвал меня четырехглазой кикиморой, я заключил, что степень его раздражения против меня очень сильна: он только в моменты острой злобы и ненависти ко всему существующему позволял себе смеяться над моими очками; вообще же это невольное украшение придавало мне в его глазах столько веса и значения, что в первые дни знакомства он не мог обращаться ко мне иначе, как на «вы» и тоном, полным почтения, несмотря на то, что я в паре с ним грузил уголь на какой-то румынский пароход и весь, так же как и он, был оборван, исцарапан и черен, как сатана.

Я извинился перед ним и, желая его успокоить до некоторой степени, начал рассказывать о заграничных империях, пытаюсь доказать ему, что его сведения об управлении облаками и солнцем относятся к области мифов.

— Ишь ты!.. Вот как!.. Ну!.. Так, так...— вставлял он изредка; но я чувствовал, что интерес его к заграничным империям и ходу жизни в них невелик против обыкновения,— Емельян почти не слушал меня, упрямо глядя в даль перед собою.

— Все это так,— перебил он меня, неопределенно махнув рукою.— А вот что я тебя спрошу: ежели бы нам навстречу теперь попался человек с деньгами, и большими деньгами,— подчеркнул он, мельком заглянув сбоку под мои очки,— так ты как бы, ради приобретения шкуре твоей всякого атрибута,— уколошил бы его?

— Нет, конечно,— отвечал я.— Никто не имеет права покупать свое счастье ценою жизни другого человека.

— Угу! Да... Это в книжках сказано дельно, но только для ради совести, а на самом-то деле тот самый барин, что первый такие слова придумал, кабы ему туго пришлось,— наверняка бы при удобном случае, для сохранности своей, кого-нибудь обездушил. Права! Вот они, права!

У моего носа красовался внушительный жилистый кулак Емельяна.

— И всяк человек — только разным способом — всегда этим правом руководствуется. Права тоже!..

Емельян нахмурился, спрятав глаза глубоко под брови, длинные и выцветшие.

Я молчал, зная по опыту, что, когда он зол, возражать ему бесполезно.

Он швырнул в море попавшийся под ногу кусок дерева и, вздохнув, проговорил:

— Покурить бы теперь...

Взглянув направо в степь, я увидел двух чабанов, лежащих на земле, глядя на нас.

— Здорово, панове! — окликнул их Емельян,— а нет ли у вас табаку?

Один из чабанов повернул голову к другому, выплюнул изо рта изжеванную им былинку и лениво проговорил:

— Табаку просят, э, Михал?

Михаил взглянул на небо, очевидно испрашивая у него разрешения заговорить с нами, и обернулся к нам.

— Здравствуйте! — сказал он,— где ж вы идете?

— К Очакову на соль.

— Эге!

Мы молчали, располагаясь около них на земле.

— А ну, Никита, подбери кишеню, чтоб ее галки не склевали.

Никита хитро улыбнулся в ус и подобрал кишеню. Емельян скрипел зубами.



— Так вам табаку надо?

— Давно не курили,— сказал я.

— Что ж так? А вы бы покурили.

— Гей ты, чертов хохол! Цыц! Давай, коли хочешь дать, а не смейся! Выродок! Аль потерял душу-то, шляясь по степи? Двину вот по башке, и не пикнешь! — гаркнул Емельян, вращая белками глаз.

Чабаны дрогнули и вскочили, взявшись за свои длинные палки и став плотно друг к другу.

— Эге, братики, вот как вы просите!.. А ну, что ж, идите!..

Чертовы хохлы хотели драться, в чем у меня не было ни малейшего сомнения. Емельян, судя по его сжатым кулакам и горевшим диким огнем глазам, тоже был не прочь от драки. Я не имел охоты участвовать в баталии и попытался примирить стороны:

— Стойте, братцы! Товарищ погорячился — не беда ведь! А вы вот что — дайте, коли не жаль, табаку, и мы пойдем себе своей дорогой.

Михаил взглянул на Никиту, Никита — на Михаила, и оба усмехнулись.

— Так бы сразу и сказать вам!

Затем Михаил полез в карман свиты, выволок оттуда объемистый кисет и протянул мне:

— А ну, заberi табаку!

Никита сунул руку в кишеню и затем протянул ее мне с большим хлебом и куском сала, щедро посыпанным солью. Я взял. Михаил усмехнулся и подсыпал еще мне табаку. Никита буркнул:

— Прощайте! — Я поблагодарил.

Емельян угрюмо опустился на землю и довольно громко прошипел:

— Чертовы свиньи!

Хохлы пошли в глубь степи тяжелым развалистым шагом, поминутно оглядываясь на нас. Мы сели на землю и, не обращая более на них внимания, стали есть вкусный полубелый хлеб с салом. Емельян громко чавкал, сопел и почему-то старательно избегал моих взглядов.

Вечерело. Вдали над морем родился мрак и плыл над ним, покрывая голубоватой мутью мелкую зыбь. На краю моря поднялась гряда желто-лиловых облаков, окаймленных розовым золотом, и, еще более сгущая мрак, плыла на степь. А в степи, там, далеко-далеко на краю ее, раскинулся громадный пурпуровый веер лучей заката и красил землю и небо так мягко и нежно. Волны бились о берег, море — тут розоватое, там темно-синее — было дивно красиво и мощно.

— Теперь покурим! Черт вас, хохлов, растаскай! — И, покончив с хохлами, Емельян свободно вздохнул. — Мы дальше пойдем или тут заночуем?

Мне было лень идти дальше.

— Заночуем! — решил я.

— Ну и заночуем.— И он растянулся на земле, разглядывая небо.

Емельян курил и поплеывал; я смотрел кругом, наслаждаясь дивной картиной вечера. По степи звучно плыл монотонный плеск волн о берег.

— А клюнуть денежного человека по башке — что ни говори — приятно; особенно ежели умеючи дело обставить,— неожиданно проговорил Емельян.

— Будет тебе болтать,— сказал я.

— Болтать?! Чего тут болтать! Это дело будет сделано, верь моей совести! Сорок семь лет мне, и лет двадцать я над этой операцией голову ломаю. Какая моя жизнь? Собачья жизнь. Нет ни конуры, ни куска,— хуже собачьей! Человек я разве? Нет, брат, не человек, а хуже червя и зверя! Кто может меня понимать? Никто не может! А ежели я знаю, что люди могут хорошо жить, то — почему же мне не жить? Э? Черт вас возьми, дьяволы!

Он вдруг повернулся ко мне лицом и быстро проговорил:

— Знаешь, однажды я чуть-чуть было не того... да не удалось малость... будь я, анафема, проклят, дурак был, жалел. Хочешь, расскажу?

Я торопливо изъявил свое согласие, и Емельян, закурив, начал:

«Было это, братец ты мой, в Полтаве... лет восемь тому назад. Жил я в приказчиках у одного купца, лесом он торговал. Жил с год ничего себе, гладко; потом вдруг запил, пропил рублей шестьдесят хозяйских. Судили меня за это, законопатели в арестантские роты на три месяца и прочее такое — по положению. Вышел я, отсидев срок,— куда теперь? В городе знают; в другой перебраться не с чем и не в чем. Пошел к одному знакомому темному человечку; кабак он держал и воровские дела завершал, укрывая разных молодчиков и их делишки. Малый хорошей души, честнеющий на диво и с умной головой. Книжник был большой, многое множество читал и имел очень большое понятие о жизни. Так я, значит, к нему: «А ну, мол, Павел Петров, вызволи!» — «Ну что ж, говорит, можно! Человек человеку,— коли они одной масти,— помогать должен. Живи, пей, ешь, присматривайся». Умная башка, братец ты мой, этот Павел Петров! Я к нему имел большое уважение, и он меня тоже очень любил. Бывало, днем сидит он за стойкой и читает книгу о французских разбойниках — у него все книги были о разбойниках; слушаешь, слушаешь... дивные ребята были, дивные дела делали — и непременно проваливались с треском. Уж, кажется, голова и руки — ах ты мне! а в конце книги вдруг — под суд — цап! и баста! все прахом пошло.

Сию я у этого Павла Петрова месяц и другой, слушая его чтение и разные разговоры. И смотрю — ходят темные

молодчики, носят светлые вещички: часики, браслеты и прочее такое, и вижу — толку на грош нет во всех их операциях. Слямзит вещь — Павел Петров даст за нее половину цены, — он, брат, честно платил, — сейчас гей! давай!.. Пир, шик, крик, и — ничего не осталось! Плевое дело, братец ты мой! То один попадет под суд, то другой угодит туда же...

Из-за каких таких важных причин? По подозрению в краже со взломом, причем украдено на сто рублей! — Сто рублей! Разве человеческая жизнь сто рублей стоит? Дубье!.. Вот я и говорю Павлу Петрову:

«Все это, Павел Петров, глупо и не заслуживает приложения рук». — «Гм! как тебе сказать? — говорит. — С одной, говорит, стороны, курочка по зернышку клюет, а с другой — действительно, во всех делах у людей уважения к себе нет; вот в чем суть! Разве, говорит, человек, понимающий себе цену, позволит свою руку пачкать кражею двугривенного со взломом?! Ни в каком разе! Теперь, говорит, хоть бы я, человек, прикосновенный моим умом к образованию Европы, я продам себя за сто рублей?» И начинает он мне показывать на примерах, как должен поступать понимающий себя человек. Долго мы говорили в таком роде. Потом я говорю ему: «Давно, мол, у меня, Павел Петров, есть в мыслях попытать счастья, и вот, мол, вы, человек опытный в жизни, помогите мне советом, как, значит, и что». — «Гм! — говорит. — Это можно! А не оборудовать ли тебе какое ни то дельце на свой риск и по своему расчету, без помочей? Так, например... Обаимов-то, говорит, с лесного двора через Ворсклу в единственном числе на беговых возвращается; а как тебе известно, при нем всегда есть деньжонки, на лесном от приказчика он получает выручку. Выручка недельная; в день торгуют они на три сотни и больше. Что ты можешь на это сказать?» Я задумался. Обаимов — это тот самый купец, у которого я служил в приказчиках. Дело — дважды хорошее: и отместка ему за поступок со мной, и смачный кусок урвать можно. «Нужно обмозговать», — говорю. «Не без этого», — отвечает Павел Петров».

Он замолчал и медленно стал вертеть папироску. Закат почти угас, только маленькая розовая лента, с каждой секундой все более бледнея, чуть окрашивала край пухового облака, точно в истоме неподвижно застывшего в потемневшем небе. В степи было так тихо, грустно, и непрерывно лившийся с моря ласковый плеск волн как-то еще более оттенял своим монотонным и мягким звуком эту грусть и тишину. Над морем, одна за другой, ярко вспыхивали звездочки, такие чистенькие, новенькие, точно вчера только сделанные для украшения бархатного южного неба.

«Н-да, браток, покумекал я над этим делом и в ту же ночь в кусты около Ворсклы залег, имея с собой шкворень железный фунтов семи весом. Дело-то было в октябре, помню — в конце.

Ночь — самая подходящая: темно, как в душе человеческой... Место — лучше желать не надо. Сейчас тут мост, и на самом съезде с него доски выбиты, — значит, поедет шагом. Лежу, жду. Злобы, брат ты мой, в ту пору у меня хватило бы хоть на десять купцов. И так я себе это дело просто представил, что проще и нельзя: стук! — и баста!.. Н-да!.. Так вот и лежу, знаешь, и все у меня готово. Раз! — и получи денежки. Так-то. Баа! — значит, — и все тут!

Ты, может, думаешь, что человек в себе волен? Дудки, браток! Расскажи-ка мне, что ты завтра сделаешь? Ерунда! Никак ты не можешь сказать, направо или налево пойдешь завтра. Лежал я и ждал одного, а вышло совсем не то. Совсем несообразное дело вышло!

Вижу: от города идет кто-то — пьяный как будто, шатается, в руках палка. Бормочет что-то; нескладно бормочет и плачет, — всхлипывает... Еще ближе подошел, смотрю — баба! Тьфу тебе, треклятая! Намылю шею, думаю, подойди-ка. А она идет к мосту прямо и вдруг как крикнет: «Милый, за что?!» Ну, брат, и крикнула! Я так и вздрогнул. «Что за притча?» — думаю. А она прет прямо на меня. Лежу, прижался к земле, дрожу весь — куда моя злоба девалась! Вот-вот налезет, ногой наступит сейчас! А она опять как завопит: «За что?! за что?!» — и бух наземь, как стояла, почти рядом со мной. И заревела она тут, братец ты мой, так, что я и сказать тебе не могу — сердце рвалось, слушая. Лежу, однако, ни гугу. А она ревет. Тоска меня взяла. Убегу, думаю себе, прочь! А тут месяц вышел из тучи, да таково ясно и светло, просто страх. Приподнялся я на локоть и глянул на нее... И тут, брат, все и пошло прахом, все мои планы и полетели к чертям! Смотрю — так сердце и екнуло: ма-ленькая девчоночка, дите совсем — беленькая, кудряшки на щечках, глазенки большие такие — смотрят так... и плечики дрожат-дрожат, а из глаз-то слезы крупнущие одна за другой так и бегут, и бегут.

Жалость меня, брат ты мой, забрала. Вот я, значит, и давай кашлять: «Кхе! кхе! кхе!» Как она крикнет: «Кто это? Кто? Кто тут?!» Испугалась, значит... Ну, я сейчас тово... на ноги встал и говорю: «Это, мол, я». — «Кто вы?» — говорит. А глаза-то у самой во какие сделались, и вся так, как студень, дрожит. «Кто вы?» — говорит.

Он засмеялся.

«Кто я-то, мол? Вы прежде всего не бойтесь меня, барышня, — я вам худа не сделаю. Я — так себе человек, из босой команды, мол, я». Да. Соврал, значит, ей; не говорить же ведь, чудак ты, что я, мол, купца убить залег тут! А она мне в ответ: «Все, говорит, мне равно, я топиться пришла сюда». И так это она сказала, что меня аж озноб взял — серьезно уж очень, братец ты мой. Ну, что тут делать?»

Емельян сокрушенно развел руками и смотрел на меня, широко и добродушно улыбаясь.

«И вдруг тут, братец ты мой, заговорил я. О чем заговорил — не знаю; но так заговорил, что аж сам себя заслушался; больше все насчет того, что она молодая и такая красавица. А что она красавица, так это уж так, то есть — раскрасавица! Эх ты, брат ты мой! Ну, уж! А звали Лизой. Так вот я, значит, и говорю; а что — кто его знает — что? Сердце говорило. Да! А она все смотрит, серьезно так и пристально, и вдруг как улыбнется!..» — заорал Емельян на всю степь со слезами в голосе и на глазах и потрясая в воздухе сжатыми кулаками.

«Как улыбнулась, так я и растаял; хлоп перед ней на колени: «Барышня, говорю, барышня!» — и все тут! А она, братец ты мой, взяла меня за голову руками, глядит мне в лицо и улыбается, как на картине; шевелит губами — сказать хочет что-то; а потом осилилась и говорит: «Милый вы мой, вы тоже несчастный, как и я! Да? Скажите, хороший мой!» Н-да, друг ты мой, вот оно что! Да не все еще, а и поцеловала она меня тут в лоб, брат, — вот как! Чуешь? Ей-богу! Эх ты, голубь! Знаешь, лучше этого у меня в жизни-то за все сорок семь лет ничего не было! А?! То-то! А зачем я пошел? Эх ты, жизнь!..»

Он замолчал, кинув голову на руки. Подавленный странно-стью рассказа, я молчал и смотрел на море, похожее на чью-то громадную грудь, ровно и глубоко дышавшую в крепком сне.

«Ну, а потом она встает и говорит мне: «Проводите меня домой». Пошли мы. Я иду — ног под собой не чую, а она мне все рассказывает, как и что. Понимаешь ты, она одна дочь была у родителей, купцы они, — ну, и того, значит, балованная; а потом тут студент приехал и стал, значит, ее там учить, и влюбились они друг в друга. Он потом уехал, а она стала его ждать — как, дескать, кончит там свою науку, чтобы приехать венчаться; уговор у них такой был. А он не приехал, а послал ей письмо: дескать, ты мне не пара. Девке, конечно, обидно. Вот она было и того, значит... Ну, рассказывает она это мне, и дошли мы таким манером с ней до дома, где она жила. «Ну, говорит, голубчик, прощайте! Завтра я, говорит, уеду отсюда. Вам денег, может быть, надо? Скажите, не стесняйтесь». — «Нет, говорю, барышня, не надо, спасибо вам!» — «Ну, добрый вы мой, не стесняйтесь, скажите, возьмите!» — пристаёт она. А я такой оборванный был, однако говорю: «Не надо, барышня». Знаешь, брат, как-то не до того было, не до денег. Простились мы с ней. Она так ласково говорит: «Никогда-де я не забуду тебя; совсем, дескать, ты чужой человек, а такой мне...» Ну, это наплевать», — оборвал Емельян, снова принимаясь закуривать.

«Ушла она. Сел я на скамью у ворот. Грустно мне стало. Ночной сторож идет. «Ты, говорит, чего тут торчишь, али слямзить хочешь чего ни то?» Крепко эти самые слова взяли меня за сердце! Я его в морду — рраз! Крик, свист... в часть! Ну что ж, в часть так в часть, вали хоть во всю целую — мне все равно; я как двину его снова! Сел на лавочку и бежать не хотел. Ночевал; поутру

отпустили. Иду к Павлу Петрову. «Где погуливал?» — спрашивает, усмехаясь. Поглядел я на него — человек, как и вчера; но как будто что-то новое вижу. Ну, конечно, рассказал ему все, как и что. Слушал он серьезно таково, а потом сказал мне: «Вы, говорит, Емельян Павлыч, — дурак и болван; и не угодно ли, говорит, вам убраться вон!» — Ну, что ж тут? Али он не прав? Я ушел, и все тут. — Так-то вот было дельце, браток!»

Он замолчал и растянулся на земле, закинув руки под голову и глядя на небо — бархатное и звездное. И кругом все молчало. Шум прибоя стал еще мягче, тише, он долетал до нас слабым, сонным вздохом.

## НА СОЛИ

### I

— Иди ты, брат, на соль! Там всегда найдешь работу. Всегда найдешь... Потому как дело это каторжное, отчаянное дело, долго на нем не настоишь. Бегут оттуда люди... не дюжат! Вот ты и повози денек. По семь копеек с тачки дадут, чай... На день-то ничего, хватит.

Рыбак, рекомендовавший мне это, сплюнул в сторону, посмотрел в голубую даль моря и меланхолически замурлыкал в бороду себе какую-то песню. Я сидел с ним в тени от стены куреня; он чинил холщовые шаровары, зевал и медленно цедил сквозь зубы разные печальные сентенции о недостатке на земле работы для людей и о том, как много надо человеку положить труда в поисках за возможностью найти труд.

— Коли не дюжишь... приходи сюда отдыхать... Расскажешь... Тут недалеко, верст пяток... Да... Вот поди-ка!

Я распрощался с ним, поблагодарил его за указание и отправился берегом «на соль». Было жаркое августовское утро, небо было чисто и ясно, море ласково и пустынно, и на прибрежный песок одна за другой с грустным плеском вбегали зеленоватые волны. Впереди меня, далеко в голубой знойной мгле на желтом берегу лежали белые пятна, — то Очаков; сзади — курень утонул за буграми ярко-желтого песка, сильно оттененного аквамариновой водой моря...

Я очень много наслушался в курене, где ночевал, разных глубокомысленно нелепых историй и суждений и был настроен минорно. Волны звучали в унисон настроению и усиливали его.

Скоро передо мной развернулась картина соляной добычи. Три квадрата земли, сажен по двести, окопанные низенькими валами и обведенные узкими канавками, представляли три

фазиса добычи. В одном, полном морской воды, соль выпаривалась, оседая блестящим на солнце бледно-серым, с розоватым оттенком, пластом. В другом — она сгребалась в кучки. Сгребавшие ее женщины, с лопатами в руках, по колена топтались в блестящей черной грязи, и как-то очень мертво, без криков и говора, медленно и устало двигались их грязно-серые фигуры на черном, блестящем фоне жирной, соленой и едкой «рапы», как называют эту грязь. Из третьего квадрата соль вывозилась. В три погибели согнутые над тачками рабочие тупо и молчаливо двигались вперед. Колеса тачек ныли и взвизгивали, и этот звук казался раздражающе тоскливым протестом, адресованным небу и исходящим из длинной вереницы человеческих спин, обращенных к нему. А оно изливало нестерпимый, палящий зной, раскаливший серую, потрескавшуюся землю, кое-где покрытую красно-бурой солончаковой травой и мелкими, ослепительно сверкавшими кристаллами соли. Из монотонного визга тачечных колес грубой и резкой нотой выделялся басистый голос кладчика, солоно ругавшего рабочих-возчиков, ссыпавших из тачек к его ногам соль, которую он, поливая водой из ведра, выкладывал в продолговатую пирамиду. Стоя на высокой куче соли и размахивая в воздухе лопатой, кладчик, — высокого роста, черный, как уголь, мужчина в синей рубашке и белых широких шароварах, — во все горло командовал ввозившим по доске вверх тачечникам:

— Сыпь налево! Налево сыпь, дьявол лохматый! Ах ты, пострели тебя в стантовую жилу! Кол тебе в глаз! Куда ты прешь?!. куда?!. Ах ты, чертов ноготь!..

Затем раздраженно вытирал потное лицо подолом рубахи, озлобленно ухал и принимался, ни на минуту не переставая сквернословить, выравнивать соль, изо всей мочи стучая по ней лопатой. Рабочие автоматически ввозили тачки вверх, так же автоматически опрокидывали их по команде «направо! налево!» и, с усилием расправляя спины, тяжелым, колеблющимся шагом, волоча сзади себя тачки, скрипевшие тише и более устало, шли по дрожащим и вязнувшим в черном жирном иле доскам снова за солью.

— Возись проворней, черти! — покрикивал им в зад кладчик.

Но они возились так же молчаливо-пришибленно, и только их хмурые, усталые и истомленные, покрытые грязью и потом лица, с плотно сжатыми губами, порой зло и раздраженно подергивались. Иногда колесо тачки съезжало с доски и вязло в грязи; передние тачки уезжали, задние вставали, и двигающая их сила, в лице отрепанных и грязных босяков, тупо и безучастно посматривала на товарища, старавшегося поднять и поставить колесо шестнадцатипудовой тачки снова на доску.

А с безоблачного, подернутого знойным туманом неба жаркое южное солнце все с большим усердием раскаливало землю, точно ему непременно сегодня и во что бы то ни стало нужно было убедить ее в своем жарком внимании к ней.



Посмотрев, стоя в стороне, на все это, я решил попытать счастья и, приняв возможно более независимый вид, подошел к доске, по которой рабочие шли с опорожненными тачками.

— Здравствуйте, братцы! Помогай бог!

В ответ получилось нечто совершенно для меня неожиданное. Первый,— седой, здоровый старик, с засученными по колена штанами и по плечи рукавами рубахи, обнажавшими бронзовое, жилистое тело,— ничего не слышал и, не сделав ни движения в мою сторону, прошел мимо. Второй,— русский молодой парень, с серыми злыми глазами,— зло посмотрел на меня и скорчил мне рожу, крепко ругнув вдобавок. Третий,— очевидно, грек, черный, как жук, и кудрявый,— поравнявшись со мной, выразил сожаление о том, что у него заняты руки и что он не может поздороваться своим кулаком с моим носом. Это у него вышло как-то не подобающе желанию равнодушно. Четвертый насмешливо крикнул во все горло: «Здравствуй, стеклянные зенки!» — и сделал попытку лягнуть меня ногой.

Этот прием был как раз тем, что в культурном обществе, если не ошибаюсь, называется «нелюбезным приемом», и этого никогда не случалось со мной в такой резкой форме. Обескураженный, я невольно снял очки и, сунув их в карман, двинулся к кладке, намереваясь спросить у кладчика, нельзя ли поработать. До места кладки я еще не успел подойти, как он окрикнул меня:

— Эй, ты! Чего тебе? Работы, что ли?

Я сказал.

— А ты на тачках работаешь?

Я сказал, что, мол, возил землю.

— Землю? Не годится! Земля — совсем другое дело. Здесь соль возят, а не землю. Пшел к свиньям на хутор! Ну, ты, кикимора, вали прямо на ноги!

Кикимора — оборванный сивый геркулес, с длинными усами и сизым прыщеватым носом — ухнул во всю грудь и опрокинул тачку. Соль посыпалась. Кикимора ругнулся, кладчик переругнул его. Оба довольно улыбнулись, и оба же сразу обратили на меня свое внимание.

— Ну, чего ж тебе? — спросил кладчик.

— А ты, кацапе, мабудь вареники исті до соли прійшов? — подмигивая ему, говорил Кикимора.

Я стал просить кладчика принять меня на работу, уверяя его, что я привыкну и что стану возить не хуже других.

— Ну, здесь прежде, чем привыкнешь, хребет себе вывихнешь. Да ин бог с тобой, ступай! Первый день больше полтины не положу. Эй! дайте ему тачку!

Откуда-то вынырнул малый в одной рубахе, с голыми ногами, перевязанными до колен грязными тряпками, скептически посмотрел на меня и сквозь зубы проговорил:

— Ну, иди!

Я пошел за ним к груде тачек, наваленных друг на друга,

и, подойдя, стал выбирать себе полегче. Малый чесал себе ноги и молча осматривал меня.

— Чего ты взял-то? Али не видишь, — у ней колесо кривое, — проговорил он, когда я, облюбовав себе тачку, взял было ее, — и, равнодушно отойдя в сторону, он лег на землю.

Я, выбрав другую тачку, стал в ряд и пошел за солью, чувствуя, как какое-то неопределенное, тяжелое чувство давит меня, не позволяя мне заговорить с товарищами по работе. На всех физиономиях, несмотря на усталость, искажавшую их, ясно выражалось глухое, пока еще скрываемое раздражение. Все были измучены и обозлены на солнце, беспощадно сжигавшее кожу, на доски, колебавшиеся под колесами тачек, на «рапу», этот скверный, жирный и соленый ил, перемешанный с острыми кристаллами, царапавшими ноги и потом разъедавшими царапины в большие мокнущие раны, — на все окружавшее их. Эта злоба была видна по косым взглядам друг на друга, по забористым, ядовитым ругательствам, изредка вырывавшимся из воспаленных жаждою глоток. На меня никто не обращал внимания. Только входя в квадрат и расходясь с тачками по крестообразно разложенным доскам к кучкам сала, я почувствовал удар по ноге сзади и, обернувшись, получил прямо в лицо злое восклицание:

— Подбирай пятки, длинный черт!

Я поспешно подобрал пятки и, поставив тачку, стал лопатой насыпать в нее соль.

— Полней насыпай! — скомандовал мне геркулес-хохол, стоявший рядом со мной.

Я насыпал, как мог, полно. В это время задние скомандовали передним: «Вези!» Те поплевали на руки и, кряхтя, двинули тачки, снова сгибаясь чуть не под прямым углом, и, выдвинув корпус вперед, как-то странно вытянули шеи, как будто бы это должно было облегчить труд.

Заметив все эти приемы, я точно так же, елико возможно, согнулся и вытянулся вперед; приподнял тачку, — колесо пронзительно завизжало, кости ключиц заныли, напряженные до последней возможности руки задрожали... я, шатаясь, сделал шаг, два, — меня мотнуло влево, потом вправо, дернуло вперед... колесо тачки съехало с доски, и я полетел в грязь прямо лицом. Тачка назидательно стукнула меня по затылку ручкой и потом лениво повернулась вверх дном. Оглушительный свист, крик, хохот, приветствовавшие мое падение, точно еще больше забивали меня в теплую жирную грязь, и, барахтаясь в ней, тщетно пытаюсь поднять увязшую тачку, я чувствовал, как что-то холодное и острое режет мне грудь.

— Эй, друже, а ну — помоги! — обратился я к хохлу-соседу, хохотавшему во все горло, взявшись за живот и покачиваясь из стороны в сторону.

— О, трясца твоей матери!.. Тю-тю-тю, дурню?.. Выдыбай на доску! Карету-то гни налево! Тю!.. А щоб тобі рапа

засосала!.. — И он снова грохотал со слезами на глазах, хватаясь за бока и охая.

— Пошел, черт, по бревнам!.. — сокрушенно махнул рукой, глядя на меня, передний седой старик и, крикнув, повез тачку.

Передние тачечники уехали; те, что были сзади меня, стояли и довольно недоброжелательно смотрели на меня, вспотевшего от усилий вытащить тачку и покрытого толстым слоем грязи, стекавшей с меня. Помочь никто не хотел. А с кладки доносился голос кладчика:

— Что застряли, дьяволы? Собаки!.. свиньи!.. Аль дальше с глаз — дольше день?! Лешие!.. черти!.. Вези, анафемы!..

— Прочь с дороги! — гаркнул хохол сзади меня и двинул тачку, чуть-чуть не задев меня по голове ее крылом.

Я остался один, кое-как вытащил тачку и, так как соль из нее высыпалась и она была вся облеплена грязью, повез ее, пустую, вон из квадрата, намереваясь выбрать себе другую.

— Что, брат, упал? Ничего, спервоначалу это со всяким бывает!

Оглянувшись в сторону, я увидел за одной из кучек соли на положенной в грязь доске парня лет двадцати, присевшего на корточки и сосавшего себе ладонь. Он смотрел на меня из-за руки добрыми, улыбающимися глазами и кивал мне головой.

— Ничего, брат! Это с непривычки бывает. Что у тебя с рукой-то? — спросил я.

— Да вон сцарапал, а рану-то разъедает; не высосешь, так бросай работу, болеть будет здорово! Вали, вали, поезжай, а то кладчик заругает!

Я поехал. Со второй тачкой у меня сошло благополучно; вывез и третью, и четвертую, и еще две. На меня никто не обращал внимания, и я был очень доволен этим вообще очень грустным для человека обстоятельством.

— Шабаш! Обедать! — прокричал кто-то.

Все, облегченно вздохнув, пошли обедать; но и тут никто не проявил ни оживления, ни радости отдыху. Все делалось как-то подневольно, с худо скрытым отвращением и злобой. Казалось, никто не видел в отдыхе ничего приятного для своих наломанных работой костей и разморенных зноем мускулов. У меня сильно ныла спина, ноги и руки в плечах, но, стараясь не давать другим заметить этого, я бодро пошел к котлу.

— Погоди! — остановил меня старый угрюмый босяк-рабочий, в синей рваной блузе и с таким же, под цвет блузе, синим запойным лицом, украшенным хмуро сдвинутыми густыми бровями, из-под которых дико и насмешливо сверкали красные, воспаленные глаза. — Погоди! Тебя как зовут?

Я сказал.

— Так! Дурак был твой отец, коли дал тебе такое имя. У нас к котлу Максимов не пускают в первый день работы. Максимы первый день на своих харчах работают. Так-то! Вот кабы ты

Иван был или еще как — другое дело. Меня вот Матвеем зовут,—ну — я и пообедаю, а Максим пусть посмотрит. Пшел от котла!

Я удивленно посмотрел на него и, отойдя в сторону, сел на землю. Меня сбивало с толку такое отношение ко мне, отношение, мной не вызванное и до сих пор не испытанное. Раньше и позднее мне случалось не один десяток раз входить в артель, и всегда я сразу вставал на простую товарищескую ногу. На этот раз все было как-то невероятно странно, и, несмотря на тяжесть и остроту моего положения, мое любопытство было затронуто очень глубоко. Я решил поискать ключа к этой высоко интересной для меня загадке и, решив, наружно спокойно посматривая на обедавших, стал ждать начала работы... Нужно узнать, почему ко мне так относятся.

## II

Вот они пообедали, порыгали и стали закуривать, расходясь от котла. Геркулес-хохол и малый с перевязанными ногами подошли ко мне и сели так, что загородили собой от меня ряд тачек, оставленных на доске.

— Ну что, братику?— спросил хохол.— Покурить хочешь?

— Давай! — сказал я.

— А разве у тебя нет своего табака?

— А был бы, так я бы и не спросил.

— Ото верно! На, покури.— Он подал мне свою трубку.—

Что ж ты, будешь возить?

— Да, буду, пока могу.

— Так! А ты откуда сам?

Я сказал.

— Эге! А что, это далеко?

— Тысячи три верст.

— Ого! Добре далеко. А чего ж ты сюда пришел?

— Да как и ты же, все равно.

— Ага! Так тебя, значит, тоже за воровство из твоей деревни выгнали?

— Как так? — спросил я, чувствуя, что сел в лужу.

— Да я потому пришел сюда, что меня за воровство деревня вон выгнала, а ты говоришь, что пришел, как и я же...— И он захохотал, довольный своей ловкостью.

Его товарищ сидел молча и подмигивал ему глазом, хитро улыбаясь.

— Погоди...— начал я.

— Некогда годить-то, братику!— работать надо. Пойдем-ка, становись сзади меня на мою тачку; у меня хорошая, верная тачка. Пойдем!

Мы пошли. Я хотел было взять его тачку, но он торопливо сказал:

— Погоди, я сам отвезу. Давай твою, а мою в нее положим, она прокатится, отдохнет немного.

Эта любезность показалась мне подозрительной, и, идя рядом с ним, я пытливо рассматривал лежавшую кверху колесом его тачку, желая убедить себя, что мне не подстроено какой-нибудь каверзы, но не усмотрел ничего, кроме того, что я вдруг сделался предметом общего внимания, почему-то скрываемого, но неумело; я ясно замечал его в частых подмигиваниях в мою сторону, в кивках головой и в подозрительном перешептывании. Я понял, что нужно смотреть в оба, и насторожился в ожидании чего-то, что должно быть, судя по началу, очень оригинально.

— Приехали! — сказал хохол и, сняв свою тачку, поставил ее мне. — Насыпай, брат!

Я посмотрел кругом... Все усердно работали, и я стал насыпать. Ничего не было слышно, кроме шороха соли, сбрасываемой с лопат, и эта тишина тяжело давила грудь. Я подумал, что мне, пожалуй, лучше уйти отсюда.

— Ну, берись! Чего заснули?! Вези! — скомандовал синий Матвей.

Я взял за ручки тачку и, с усилием приподняв ее, двинул вперед... Острая боль в ладонях заставила меня дико вскрикнуть и, бросив тачку, рвануть руки к себе. Боль повторилась, но вдвое сильнее: я сорвал с ладоней обеих рук кожу, защемленную в ручках тачки. Скрипя зубами от злобы и боли, я осмотрел руки и увидел, что они были с боков расколоты топором и расперты щепочками. Это было сделано очень незаметно и очень умно. Рассчитывалось, что, когда я сильно сожму ручки, щепки выскочат из щели, и дерево, сомкнувшись, защемит мне кожу. И этот расчет оправдался. Я поднял голову и посмотрел кругом. Крики, хохот и свист летели мне в лицо со всех сторон, везде я видел злые, торжествующие рожи. С кладки доносилась циничная ругань кладчика, но никто не обращал на нее внимания, — все были заняты мной. Я смотрел кругом тупо и бессмысленно и чувствовал, как внутри меня все сильнее вскипает обида, желание мести и ненависти к этим людям. А они, собравшись толпой против меня, сыпали насмешки и ругательства. Мне страшно, до боли страшно захотелось оскорбить и унижить их.

— Мерзавцы! — вскричал я, протягивая к ним сжатые кулаки, и так же цинично, как ругали они меня, стал ругать их, идя к ним навстречу.

Они как будто дрогнули и, смутившись, подались назад. Только геркулес-хохол и синий Матвей, оставаясь на месте, хладнокровно стали засучивать рукава рубах.

— А ну, иди, иди!.. а ну, ну!.. — тихо и радостно бормотал хохол, не сводя с меня глаз.

— Дай ему тютю, Гаврила! — советовал ему Матвей.

— За что вы меня обидели?! — кричал я. — Что я вам сделал?! За что?! Разве я не такой же, как вы, человек?! — Кричал

еще какие-то жалкие, нелепые, злые, бессмысленные слова и весь дрожал дрожью бессмысленного бешенства, в то же время зорко следя, как бы не совершили надо мной еще какой-либо остроумной выходки.

Но глупые, бессмысленные физиономии смотрели на меня уже не так безучастно, и по некоторым из них скользнуло как бы сознание вины передо мной за эту злую шутку. Хохол и Матвей тоже подвинулись назад. Матвей стал одергивать блузу, хохол полез в карман.

— Ну, за что же? За что?! — спрашивал я их.

Они тупо молчали. Хохол вертел сигарку и смотрел себе в ноги. Матвей вдруг очутился сзади всех; остальные пошли было к своим тачкам, угрюмо почесываясь и не говоря ни слова. К группе шел кладчик, громко крича и грозя кулаками. Все это произошло так быстро, что бабы, огребавшие соль шагах в двадцати от нас и, как я заметил, бросившиеся на мой крик, подошли уже тогда, когда ребята стали расходиться к тачкам. Я оставался один, с горьким чувством незаслуженной и неоплаченной обиды. Это усиливало обиду и боль. Мне хотелось ответа на мои вопросы, хотелось возмездия. Я крикнул им:

— Стойте, братцы!

Они остановились, хмуро глядя на меня.

— Скажите же мне, за что вы меня мучили? Ведь должна же быть у вас совесть!

Они молчали, и это молчание как бы отвечало мне за них. Тогда, немного успокоившись, я начал говорить им. Я начал с того, что я такой же человек, как и они, что мне так же хочется есть, что для этого я так же должен работать, что я пришел к ним, как к своим, родным мне по положению людям, что я считал их не ниже и не хуже себя...

— Все мы равны, — говорил я им, — и должны понимать друг друга и, поскольку это каждый умеет, помогать друг другу.

Они внимательно слушали, толпясь вокруг меня, но избегая моих взглядов. Я замечал, что мои слова действуют на них, и это вдохновляло меня. Взглянув кругом, я еще более убедился в этом. Чувство радости, острой и яркой, охватило меня, и, бросившись на кучу соли, я заплакал. Заплачешь!..

Когда я поднял голову, кругом не было никого. Работать кончили, и возчики, разбившись на группы по пять-шесть человек, сидели там, около кладки, рисуясь на розоватом фоне соли, освещенной лучами заходившего солнца, большими, неуклюжими грязными пятнами. Было тихо. С моря веяло прохладой. По небу плавно двигалось маленькое белое облачко; от него отрывались тонкие, прозрачные дымки и исчезали, расплываясь по голубому фону неба. Это было очень грустно...

Я встал и пошел туда, к кладке, с твердым намерением проститься и уйти в рыбацкий курень. Когда я подошел к группе из хохла, Матвея, кладчика и еще троих солидных пожилых бося-

ков, они поднялись ко мне навстречу, и, прежде чем я успел заговорить с ними, Матвей протянул ко мне руку и сказал, не глядя на меня:

— Вот что, друг! Ты пойдй от нас своей дорогой, куда тебе надо. Да! А на дорогу мы вот собрали тебе малость грошей. На-ка, возьми!

В его горсти лежали медяки, и рука его дрожала, когда он протягивал ее мне. Я растерялся и, ничего не понимая, смотрел на них. Они стояли, понуро опустив головы и молча, ненужно и нелепо оправляли свои отрепья, одергивались, переминались с ноги на ногу, поглядывали по сторонам, всем, каждым движением и жестом, выражая крайнее смущение и желание кончить скорее со мной.

— Я не возьму! — сказал я, отталкивая руку Матвея.

— Нет, уж ты возьми, не обижай нас. Мы что ж? Мы ведь, коли по совести говорить, ничего такого... Мы, брат, понимаем, что обидели тебя; но только разве это верно, коли рассудить правильно? Совсем, брат, неверно. Потому главная причина — жизнь! Какая жизнь наша? Каторжная! Тачка — шестнадцать пуд, рапа ноги рвет, солнце палит тебя, как огнем, целый день, а день — полтина! Али этого мало, чтобы озвереть? Работаешь, работаешь, заработок пропьешь — опять работаешь! вот и все. И как годов с пять проживешь этим манером, так и того... облик человеческий и утратишь, — зверюга, да и шабаш! Мы, брат, сами себя еще больней обижаем, чем тебя, а мы всё ж ведь друг друга знаем, ты же — чужой человек... Чего тебя жалеть-то? Так вот так-то! Говорил ты там... разное, ну-к что ж? Оно, конечно, это ты там ловко все... правильно, надо быть... только не к разу... не в строй. Ты не обижайся... шутки ведь... Все-таки у нас сердце... Д-да! Ну, и иди себе, куда хочешь, с твоей правдой, а мы останемся здесь с своей. Возьми на, гроши-то! Прощай, брат! Мы пред тобой не виноваты, и ты пред нами — тоже. Плохо вышло у нас, это верно. Ну, да ладно! Хорошее-то не про нас. А оставаться тебе здесь не-рука. Какая ты нам... пара? Мы, брат, друг к другу пристроены вот как, а ты так себе привалился... слегка... Ничего у нас не может выйти... Ну, значит, и отчаливай! Вали своей дорогой!.. Прощай!

Я посмотрел кругом, убедился, что все согласны с Матвеем, и, вскинув на плечи котомку, хотел идти.

— Погоди, человеце! Дай и я скажу слово! — остановил меня за плечо хохол. — Коли б кто другой, а не ты это был, так я бы проводил его кулаком в боки. Чуешь? А ты вот идешь себе свободно, да еще и гроши на дорогу мы тебе давали. Говори спасибо за то нам! — И он, плюнув в сторону, стал вертеть кисет вокруг пальца, победоносно поглядывая вокруг, точно хотел сказать: дивуйтесь-де, какой я умный!

Подавленный всем этим, я поторопился проститься с ними и пошел берегом моря назад к куреню, в котором ночевал. Небо



было чисто и знойно, море пустынно и важно, к ногам моим, шумя, катились зеленые волны... И мне было невыносимо больно и стыдно за что-то. Медленно и убито шагал я по горячему песку берега. Море спокойно блестело на солнце, волны толковали о чем-то непонятном и грустном...

Когда я подошел к куреню, мне навстречу встал знакомый рыбак и торжествующим тоном человека, предположения которого оказались верны, произнес:

— Что, брат, али солоно пришлось?

Я промолчал, взглянув на него.

— Ишь ты! Пересолено малость! — уверенно произнес он, оглядев меня. — Есть хошь? Иди, ешь кашицу! Там ее до черта наварили... половина, поди-ка, осталась. Иди, дуй на ложку! Ха-арошая кашица... с камбалой, с севрюгой...

Минуты через две я сидел в тени за куренем, весь грязный, очень утомленный, очень голодный, и ел, с тоской и болью в сердце, кашицу с севрюгой и камбалой.



## О ЧИЖЕ, КОТОРЫЙ ЛГАЛ, И О ДЯТЛЕ—ЛЮБИТЕЛЕ ИСТИНЫ

Это очень правдивая история, и я начну ее так:

Вдруг изо всех певчих птиц той рощи, в которой произошел этот любопытный случай, привлекла к себе общее внимание одна, запевшая песни, исполненные не только надежд, но и уверенности.

До той поры все птицы, испуганные и угнетенные внезапно наступившей серенькой и хмурой погодой, пели песни, которые только потому и назывались песнями, что их пели; в них преобладали тяжелые, унылые и безнадежные ноты, и птицы-слушатели сначала называли их хрипением умирающих, но потом понемногу привыкли и даже стали находить в них разные красоты, что, однако, стоило им большого труда.

Тон всему в роще давали вороны, птицы по существу своему пессимистические и, кроме более или менее громкого карканья, ни к чему не способные. В другое время на них бы не обратили внимания, но теперь, когда их голоса преобладали, их слушали и даже считали очень мудрыми птицами. А они, подмечая это, мрачно распевали:

Карр!.. В борьбе с суровым роком  
Нам, ничтожным, нет спасенья.  
Все, на что ни взглянешь оком,—  
Боль и горе, прах и тленье...  
Карр!.. Страшны удары рока!..  
Мудрый пусть им покорится...

Карр... карр!.. Скучная песня!.. Но — сильная, она угнетала всю рощу.

И вот вдруг зазвучали свободные, смелые песни...

Вся роща, много слышавшая песен, встрепенулась, удивленно и тихо шелестя ветвями. И даже соловьи, которые всегда поют

недурно, потому что они жрецы чистого искусства, с удовольствием слушали и говорили:

— А ведь у этого певца есть искорка!..

И, говоря так, втайне гордились своим беспристрастием.

А певец пел:

Я слышу карканье ворон,  
Смущенных холодом и тьмой..  
Я вижу мрак,— но что мне он,  
Коль бодр и ясен разум мой?..  
За мной, кто смел! Да сгинет тьма!  
Душе живой — в ней места нет!  
Зажжем сердца огнем ума,  
И воцарится всюду свет!..

— Сильно спето! — комментировали соловьи... — Молодо, самонадеянно, немзыкально — но сильно... — и, глубокомысленно почистив носики, они слушали дальше:

Кто честно смерть принял в бою,  
Тот разве пал и побежден?  
Пал тот, кто, робко грудь свою  
Прикрыв, ушел из битвы вон..  
Друзья! И тот пал, кто, боясь  
Труда, волнений, боли ран,  
О битве судит, погружаясь  
В философический туман...

— Гм... у него очень оригинальные взгляды! — отметили соловьи. — Хотелось бы знать, что это за птица!.. — полюбопытствовали они.

Друзья! Пусть падшие молчат.  
Им очи съел сомнений дым;  
В сердцах их честь и гордость спят.  
Друзья! Давайте крикнем им:  
Прочь! Ваших мудрствований чад  
Темнее сделал эту ночь,  
И отравляет он, как яд,  
Умы и души юных... Прочь!..  
Прочь!.. Здесь объявлена богам  
За право первенства война!

— Это смело! — сказали соловьи. — О да!.. это очень смелая песня!..

Роща слушала и ощущала нечто хорошее и сильное, это ощущение наполняло ее теплом и светом, и даже старые, серыми лишаями покрытые ветви деревьев зашептали о прошлых днях. То были славные весенние дни, когда в роще только что начинали расцветать цветы и надежды, когда птицы пели свободные и звучные гимны солнцу, а свободное от туч небо казалось бесконечно глубоким и точно звало птиц попытать силу крыльев — достигнуть его глубины. То были хорошие дни, когда не нужно было принуждать себя жить, потому что жить хотелось, — была цель и была надежда дотичь ее. И эти дни явились перед рощей и, как звезды, заблестали в тумане, скрывавшем от нее небо.

Птицы встрепенулись и ожили. Где певец? Пусть он примет дань восторга и благодарности! Это, должно быть, великолепная, красивая птица!

Они собрались целой тучей и ринулись туда, откуда навстречу им летели бодрые и гордые звуки.

Но когда они прилетели, то увидали, что это просто чиж — самый заурядный, маленький, серенький, с восковым носиком чиж. Он сидел на ветке орешника и был смущен оказанной ему честью; мизерный, взъерошенный и суесящийся, он возбудил во всех недоумение и никому не понравился.

Прочь!.. Здесь объявлена богам  
За право первенства война!

Когда это кричит орел, сокол, ястреб наконец, — это и красиво и мощно; но чиж — чиж, объявляющий войну богам!.. Тут есть некоторое несоответствие, что-то странное и смешное. И это прямо-таки обидно для всех остальных птиц. Почему именно чиж, а не щегленок, зяблик, снегирь?..

Пораженные и обиженные птицы смотрели на чижа и думали: «Что же теперь будет?»

И невольно им вспомнилась эта смешная синица, которая однажды хотела зажечь море...

Но тут один находчивый щегленок, журналист по профессии, спросил чижа:

— Послушайте-ка, это вы сейчас пели?

— Я... — ответил чиж, — да, это я пел.

— Гм... а чем вы это докажете? То есть мы, конечно, не сомневаемся в ваших способностях, но...

Чиж вздрогнул, у него встали дыбом перья, и он запел:

Во тьме нами созданной ночи  
Пронесются серые совы...  
И блещут их мрачные очи  
И злы, и угрюмо суровы!..  
И гулко их крики несутся,  
Смеются они и рыдают,  
Проклятья в них дню раздаются,  
А ночь они смехом встречают...  
О, если бы мрака оковы  
С моей юной рощи упали,  
Исчезли бы дикие совы,  
И соколы только б летали!..  
Но соколы, — слабы и хилы, —  
Забились робко в ущелья  
И злятся без чести и силы  
Под звуки чужого веселья.  
Их крылья уныло повисли,  
Постыдно сердца у них дремлют,  
И голосу чести и мысли  
Свободные птицы не внемлют...

Некоторым птицам эта песня показалась личностью, и они засвистали чижу, а щегленок сказал:

— Хорошо, этого достаточно для нас! Но, вот что — скажите: вы, так сказать, будите общественное сознание... гм!.. а какие, собственно, у вас права на это? То есть я хочу сказать — во имя чего поете вы?!

Чиж изумился и молча смотрел на публику.

— Мы, видите ли, хотим гарантировать себя от ошибок, которых, вы знаете, у нас было много-много-таки, и с этой целью мы хотели бы знать ваши исходные и конечные пункты, — знать, куда и зачем нас зовут? — поставил вопрос щегленок и, довольный собой, засвистал что-то чужое: у щеглят нет своих песен, как известно.

Чиж встрепенулся...

— Я исхожу из непоколебимого убеждения в высоком призвании птиц, как конечного, самого сложного и мудрого акта в творчестве природы. Мы не должны уставать, мы должны всегда бороться и все победить, чтоб оправдать самих себя в своих глазах, чтобы иметь право сказать: все прошедшее, настоящее и будущее — это мы, а не слепая сила стихий. Путь, по которому нам нужно идти, мне незнаком, но я уверен, что нужно идти вперед. Там страна, достойная быть наградой за те труды, которые понесли мы в пути! Там вечный, неиссякаемый свет, там неведомые нам чудеса; там мы, великие, свободные, все победившие птицы, насладимся созерцанием нашей силы, и весь мир будет ареной наших деяний, величие которых невозможно представить нам теперь; там мысль наша разрешит все, и наши чувства, осложненные до чудесного, откроют пред нами новый мир неиспытанных наслаждений; там она — жизнь, достойная нас!.. Уважайте и любите друг друга и, идя гордой и смелой дружиной к победе, не сомневайтесь ни в чем, ибо что есть выше вас?.. Обернитесь назад и посмотрите, чем вы были раньше — там, на рассвете жизни? Вся ваша вера тогда — не стоила одной капли сомнения — теперь... Научившись так страшно сомневаться во всем, вам пришла пора — уверовать в себя, ибо только великая сущность может дойти до такого сомнения, до какого дошли вы!..

Туда — в страну счастья! где ждет нас великая победа, где мы будем законодателями мира и владыками его, где мы будем владыками всего... Туда — в это чудное «вперед»!..

— Вперед! — крикнули птицы, ибо в их сердцах загорелась гордость собой.

Слезы вдохновения и веры наполнили глаза чижа. И все птицы пели, и всем стало так легко, все чувствовали, что в сердцах родилось страстное желание жизни и счастья.

— Позвольте, позвольте!.. Я прошу слова... Слово мне!..

Это кричал дятел с верхушки осины, и когда его услышали, то ему тотчас же дали слово, потому что он кричал очень громко.

— Милостивые государи и государыни! — заговорил дятел. — Рекомендуюсь: я дятел. Я питаюсь червяками и люблю истину, которой неуклонно служу и которая понуждает меня сказать

вам, что вас нагло обманывают. Все эти песни и фразы, слышанные вами здесь, милостивые государи, не более как бесстыдная ложь, что я и буду иметь честь доказать вам с фактами в руках... С фактами в руках, милостивые государи! А спросите господина Чижа, где те факты, которыми он мог бы подтвердить то, что сказал? Их нет у него, а именно они-то и нужны ему более, чем мне; они — всё, милостивые государи, и все мы — не более, как только крошечные факты, подтверждающие грандиозный факт мудрости и мощи природы, которой мы должны подчиняться, как дети подчиняются матери.

— Рассмотрим беспристрастно, что есть там — впереди, куда зовет нас господин Чиж. Все вы вылетали на опушку рощи и знаете, что сейчас же за нею начинается поле, летом голое и сожженное солнцем, зимой покрытое холодным снегом; там, на краю его, стоит деревня, и в ней живет Гришка, человек, занимающийся птицеводством. Вот первая станция по пути «вперед», о котором так много наговорил здесь господин Чиж!

— Предполагая, что мы устремимся вперед сообразно его желанию, — в бескорыстии которого я позволю себе усомниться, ибо знаю, что чижи, как и все другие существа, не прочь от популярности, славы и т. п., — предполагая, что мы благополучно минем сети Гришки и пролетим мимо деревни, мы опять-таки очутимся в поле; а на конце его снова встретим деревню, а потом снова — поле, — деревня, — поле... и так как земля кругла, то мы должны будем необходимо долететь до той самой рощи, в которой в данный момент я имею высокую честь говорить с вами.

— Эта ли та страна, в которой, по словам господина Чижа, мы получим награду за наши труды?.. Это ли она?!

— Я знаю вас, милостивые государи и государыни, я знаю, сколь высоко вы летаете, но... как ни горько мне говорить вам это, — я знаю и то, что никто из вас не взлетал и не может взлететь выше самого себя.

— Попытка господина Чижа завоевать себе ваше внимание путем отуманивания вас блестящими и громкими фразами ясно указывает на степень высоты его мнения о вас, как о здравомыслящих существах?!. Эта попытка должна быть строго наказана, милостивые государи и государыни!..

И, преисполненный сознания выполненной им общественной обязанности, мудрый дятел, окинув торжествующим взглядом слушателей, стал долбить кору осины, на ветвях которой он восседал.

Птицы молча смотрели на чижа и видели, как из его глаз одна за другой скатывались слезинки. О чем он мог плакать, как не о своей вине пред ними?!. Такой мизерный, серенький и лживый чиж!

А он понуро смотрел туда вдаль, и его глазки точно прощались там с чем-то.

Молчала роща, и птицы бесшумно разлетались по своим местам. Улетел и дятел, сопровождаемый почтительным преклонением пред его мудростью.

День был такой грустный; он точно расплакаться о чем-то собирался.

И вот чиж, который лгал, остался один. Неподвижный и подавленный, он сидел на ветке орешника, и только одна сойка с любопытством поглядывала на него из робкой, дрожащей листвы осины. Но это ей скоро наскучило, и, насмешливо свистнув, она улетела.

А чиж остался и, сидя на ветке орешника, думал:

«Я солгал, да, я солгал, потому что мне неизвестно, что там, за рощей, но ведь верить и надеяться так хорошо!.. Я же только и хотел пробудить веру и надежду,— и вот почему я солгал... Он, дятел, может быть, и прав, но на что нужна его правда, когда она камнем ложится на крылья?»

И, оглянувшись кругом, бедный, маленький чиж нахохлился.

Вот и вся история... Прочитав ее, ты, конечно, увидишь, что чиж благороден, но не имеет веры и поэтому нищ духом; дятел благоразумен, но пошл, а птицы-слушатели отзывчивы лишь потому, что любопытны, но они, в сущности, черствы сердцем и мелки, позорно мелки... Увидав это, ты подумаешь, что я неверно рассказал эту до слез смешную историю. Думай так, если это тебя утешает, думай!..

## ДЕД АРХИП И ЛЕНЬКА

Ожидая паром, они оба легли в тень от берегового обрыва и долго молча смотрели на быстрые и мутные волны Кубани у их ног. Ленька задремал, а дед Архип, чувствуя тупую, давящую боль в груди, не мог уснуть. На темно-коричневом фоне земли их отрепанные и скорченные фигуры едва выделялись двумя жалкими комками, один — побольше, другой — поменьше; утомленные, загорелые и пыльные физиономии были совсем под цвет бурым лохмотьям.

Костлявая и длинная фигура дедушки Архипа вытянулась поперек узкой полоски песка — он желтой лентой тянулся вдоль берега, между обрывом и рекой; задремавший Ленька лежал калачиком сбоку деда. Ленька был маленький, хрупкий, в лохмотьях он казался корявым сучком, отломленным от деда — старого иссохшего дерева, принесенного и выброшенного сюда, на песок, волнами реки.

Дед, приподняв на локте голову, смотрел на противоположный берег, залитый солнцем и бедно окаймленный редкими кустами ивняка; из кустов высывался черный борт парома. Там было скучно и пусто. Серая полоса дороги уходила от реки в глубь степи; она была как-то беспощадно пряма, суха и наводила уныние.

Его тусклые и воспаленные глаза старика, с красными, опухшими веками, беспокойно моргали, а испещренное морщинами лицо замерло в выражении томительной тоски. Он то и дело сдержанно кашлял и, поглядывая на внука, прикрывал рот рукой. Кашель был хрипл, удушлив, заставлял деда приподниматься с земли и выжимал на его глазах крупные капли слез.

Кроме его кашля да тихого шороха волн о песок, в степи не было никаких звуков... Она лежала по обе стороны реки, громадная, бурая, сожженная солнцем, и только там, далеко на горизонте, еле видное старческим глазом, пышно волновалось золотое

море пшеницы и прямо в него падало ослепительно яркое небо. На нем вырисовывались три стройные фигуры далеких тополей; казалось, что они то уменьшаются, то становятся выше, а небо и пшеница, накрытая им, колеблются, поднимаясь и опускаясь. И вдруг все скрывалось за блестящей, серебряной пеленой степного марева...

Эта пелена, струистая, яркая и обманчивая, иногда притекала из дали почти к самому берегу реки, и тогда сама она была как бы рекой, вдруг излившейся с неба, такой же чистой и спокойной, как оно.

Тогда дед Архип, незнакомый с этим явлением, потирал свои глаза и тоскливо думал про себя, что эта жара да степь отнимают у него и зрение, как отняли остатки силы в ногах.

Сегодня ему было более плохо, чем всегда за последнее время. Он чувствовал, что скоро умрет, и хотя относился к этому совершенно равнодушно, без дум, как к необходимой повинности, но ему бы хотелось умереть далеко, не здесь, а на родине, и еще его сильно смущала мысль о внуке... Куда денется Ленька?..

Он ставил перед собой этот вопрос по несколько раз в день, и всегда при этом в нем что-то сжималось, холодело и становилось так тошно, что ему хотелось сейчас же воротиться домой, в Россию...

Но — далеко идти в Россию... Все равно не дойдешь, умрешь где-нибудь в дороге. Здесь по Кубани подают милостыню щедро; народ все зажиточный, хотя тяжелый и насмешливый. Не любят нищих, потому что богаты...

Остановив на внуке увлажненный слезой взгляд, дед осторожно погладил шершавой рукой его голову.

Тот зашевелился и поднял на него голубые глаза, большие, глубокие, не по-детски вдумчивые и казавшиеся еще больше на его худом, изрытом оспой личике, с тонкими, бескровными губами и острым носом.

— Идет? — спросил он и, приложив щитком руку к глазам, посмотрел на реку, отражавшую лучи солнца.

— Нет еще, не идет. Стоит. Чего ему здесь? Не зовет никто, ну и стоит он... — медленно заговорил Архип, продолжая гладить внука по голове. — Дремал ты?

Ленька неопределенно pokrutil головой и вытянулся на песке. Они помолчали.

— Кабы я плавать умел, купаться бы стал, — пристально глядя на реку, заявил Ленька. — Быстра больно река-то! Нет у нас таких рек. Чего треплет? Бежит, точно опоздать боится...

И Ленька недовольно отвернулся от воды.

— А вот что, — заговорил дед, подумав, — давай распояшемся, пояски-то свяжем, я тебя за ногу прикручу, ты и лезь, купайся...

— Ну-у!... — резонно протянул Ленька. — Чего выдумал! Али ты думаешь, не стащит она тебя? И утонем оба.



— А ведь верно! стащит. Ишь как прет... Чай, весной-то разольется — ух ты!.. И покосу тут — беда! Без краю покосу!

Леньке не хотелось говорить, и он оставил слова деда без ответа, взяв в руки ком сухой глины и разминая его пальцами в пыль с серьезным и сосредоточенным выражением на лице.

Дед смотрел на него и о чем-то думал, щуря глаза.

— Ведь вот... — тихо и монотонно заговорил Ленька, стряхивая с рук пыль. — Земля эта теперь... взял я ее в руки, растер, и стала пыль... крохотные кусочки одни только, чуть глазом видно...

— Ну, так что ж? — спросил Архип и закашлялся, посматривая сквозь выступившие на глазах слезы в большие сухо блестящие глаза внука. — Ты к чему это? — добавил он, когда прокашлялся.

— Так... — качнул головой Ленька. — К тому, что, мол, вся-то она эвона какая!.. — Он махнул рукой за реку. — И всего на ней понастроено... Сколько мы с тобой городов прошли! Страсть! А людей везде сколько!

И, не умея уловить свою мысль, Ленька снова молча задумался, посматривая вокруг себя.

Дед тоже помолчал немного и потом, плотно подвинувшись к внуку, ласково заговорил:

— Умница ты моя! Правильно сказал ты — пыль всё... и города, и люди, и мы с тобой — пыль одна. Эх ты, Ленька, Ленька!.. кабы грамоту тебе!.. далеко бы ты пошел. И что с тобой будет?..

Дед прижал голову внука к себе и поцеловал ее.

— Погоди... — высвобождая свои льняные волосы из корявых, дрожащих пальцев деда, немного оживляясь, крикнул Ленька. — Как ты говоришь? Пыль? Города и всё?

— А так уж устроено богом, голубь. Всё — земля, а сама земля — пыль. И все умирает на ней... Вот как! И должен потому человек жить в труде и смирении. Вот и я тоже умру скоро... — перескочил дед и тоскливо добавил: — Куда ты тогда пойдешь без меня-то?

Ленька часто слышал от деда этот вопрос, ему уже надоело рассуждать о смерти, он молча отвернулся в сторону, сорвал былинку, положил ее в рот и стал медленно жевать.

Но у деда это было больное место.

— Что ж ты молчишь? Как, мол, ты без меня-то будешь? — тихо спросил он, наклоняясь к внуку и снова кашляя.

— Говорил уж... — рассеянно и недовольно произнес Ленька, искомая взглядывая на деда.

Ему не нравились эти разговоры еще и потому, что зачастую они кончались ссорою. Дед долго говорил о близости своей смерти. Ленька сначала слушал его сосредоточенно, пугался представлявшейся ему новизны положения, плакал, но постепенно утомлялся — и не слушал деда, отдаваясь своим мыслям, а дед,

замечая это, сердился и жаловался, что Ленька не любит деда, не ценит его забот, и, наконец, упрекал Леньку в желании скорейшего наступления его, дедовой, смерти.

— Что — говорил? Глупенький ты еще, не можешь ты понимать своей жизни. Сколько тебе от роду? Одиннадцатый год только. И хил ты, негодный к работе. Куда ж ты пойдешь? Добрые люди, думаешь, помогут? Кабы у тебя вот деньги были, так они бы помогли тебе прожить их — это так. А милостыню-то собирать не сладко и мне, старику. Каждому поклонись, каждого попроси. И ругают тебя, и колотят часом, и гонят... Рази ты думаешь, человеком считают нищего-то? Никто! Десять лет по миру хожу — знаю. Кусок-то хлеба в тыщу рублей ценят. Подаст, да и думает, что уж ему сейчас же райские двери отворят! Ты думаешь, подают зачем больше? Чтобы совесть свою успокоить; вот зачем, друг, а не из жалости! Ткнет тебе кусок, ну, ему и не стыдно самому-то есть. Сытый человек — зверь. И никогда он не жалеет голодного. Враги друг другу — сытый и голодный, веки вечные они сучком в глазу друг у друга будут. Потому и невозможно им жалеть и понимать друг друга...

Дедушка воодушевился злобой и тоской. От этого у него тряслись губы, старческие, тусклые глаза быстро шмыгали в красных рамках ресниц и век, а морщины на темном лице выступили резче.

Ленька не любил его таким и немного боялся чего-то.

— Вот я тебя и спрашиваю, что ты станешь делать с миром? Ты — хилый ребеночек, а мир-то — зверь. И проглотит он тебя сразу. А я не хочу этого... Люблю ведь я тебя, дитятко!.. Один ты у меня, и я у тебя один... Как же я буду умирать-то? Невозможно мне умереть, а ты чтоб остался... На кого?.. Господи!.. за что ты не возлюбил раба твоего?! Жить мне невмочь и умирать мне нельзя, потому — дите, — оберечь должен. Пестовал семь годов... на руках моих... старых.... Господи, помоги мне!..

Дедушка сел и заплакал, уткнув голову в колени дрожащих ног.

Река торопливо катилась вдаль, звучно плескалась о берег, точно желая заглушить этим плеском рыдания старика. Ярко улыбалось безоблачное небо, изливая жгучий зной, спокойно слушая мятежный шум мутных волн.

— Будет, не плачь, дедушка, — глядя в сторону, суровым тоном проговорил Ленька и, повернув к деду лицо, добавил: — Говорили обо всем уж ведь. Не пропаду. Поступлю в трактир куда ни то...

— Забьют... — сквозь слезы простонал дед.

— Может, и не забьют. А вот как не забьют! — с некоторым задором вскричал Ленька, — тогда что? Не дамся каждому!..

Но тут Ленька вдруг почему-то осекся и, помолчав, тихонько сказал:

— А то в монастырь уйду...

— Кабы в монастырь! — вздохнул дед, оживляясь, и снова начал корчиться в припадке удушливого кашля.

Над их головами раздался крик и скрип колес...

— Паро-о-ом!.. Паро-о — гей! — сотрясала воздух чья-то могучая глотка.

Они вскопили на ноги, подбирая котомки и палки.

Пронзительно скрипя, на песок въехала арба. В ней стоял казак и, закинув голову в мохнатой, надвинутой на одно ухо шапке, приготавливался гикнуть, вбирая в себя открытым ртом воздух, отчего его широкая, выпяченная вперед грудь выпячивалась еще более. Белые зубы ярко сверкали в шелковой раме черной бороды, начинавшейся от глаз, налитых кровью. Из-под расстегнутой рубахи и чохи, небрежно накинутой на плечи, виднелось волосатое, загорелое на солнце тело. И от всей его фигуры, прочной и большой, как и от лошади, мясистой, пегой и тоже уродливо большой, от колес арбы, высоких, стянутых толстыми шинами, — разило сытостью, силой, здоровьем.

— Гей!.. Гей!..

Дед и внук стащили с своих голов шапки и низко поклонились.

— Здравствуйте! — гулко отрубил приехавший и, посмотрев на тот берег, где из кустов выползал медленно и неуклюже черный паром, стал пристально оглядывать нищих. — Из России?

— Из нее, милостивец! — с поклоном ответил Архип.

— Голодно там у вас, а?

Он спрыгнул с арбы на землю и стал что-то подтягивать в упряжке.

— И тараканы с голода мрут.

— Хо, хо! И тараканы мрут? Значит, аж крошек не осталось, все поели? Ловко едите. А вот работаете, должно, погано. Потому, как хорошо работать станешь, не будет голоду.

— Тут, кормилец, главная причина — земля. Не родит. Высосали землю-то мы.

— Земля? — тряхнул казак головой. — Земля всегда должна родить, на то она и дана человеку. Говори: не земля, а руки. Руки плохи. От хороших рук камень не отобьется, родит.

Подъехал паром.

Двое здоровых, краснорожих казаков, упираясь толстыми ногами в пол парома, с треском ткнули его о берег, покачнулись, бросили из рук канат и, взглянув друг на друга, стали отдуваться.

— Жарко? — оскалил зубы приехавший, вводя на паром свою лошадь и дотрагиваясь рукой до шапки.

— Эге! — ответил один из паромщиков, глубоко засунув руки в карманы шаровар, и, подойдя к арбе, заглянул в нее и повел носом, сильно втянув в себя воздух.

Другой сел на пол и, кряхтя, стал снимать сапог.

Дед и Ленька вошли на паром и прислонились к борту, посматривая на казаков.

— Ну, едем! — скомандовал хозяин арбы.

— А ты не везешь ничего с собой попить? — спросил у него тот, что осматривал арбу. Его товарищ снял сапог и, прищурив глаз, смот рел в голенище.

— Ничего. А что? разве в Кубани воды мало?

— Воды!.. я не о воде.

— А о горилке? Не везу горилки.

— Как же это ты не везешь? — задумался спрашивавший, уставив глаза в пол парома.

— Ну-ну, едем!

Казак поплевал на руки и взялся за канат. Переезжавший стал помогать ему.

— А ты, дед, что же не поможешь? — обратился паромщик, возившийся с сапогом, к Архипу.

— Где мне, родной! — жалобным тоном и качая головой, пропел тот.

— И не надо им помогать. Они и одни управятся!

И, как бы желая убедить деда в истине своих слов, он грузно опустил на колени и лег на палубе парома.

Его товарищ лениво ругнул его и, не получив ответа, громко затопал ногами, упираясь в палубу.

Отбиваемый течением, с глухим шумом плескавшим о его бок, паром вздрагивал и качался, медленно подвигаясь вперед.

Глядя на воду, Ленька чувствовал, что у него сладко кружится голова и глаза, утомленные быстрым бегом волн, дремотно слипаются. Глухой шепот деда, скрип каната и сочный плеск волн убаюкивали его; он хотел опуститься на палубу в дремотной истоме, но вдруг что-то качнуло его так, что он упал.

Широко раскрыв глаза, он смотрел кругом. Над ним смеялись казаки, причаливая паром за обгорелый пен ь на берегу.

— Что, заснул? Хилый ты. Садись в арбу, довезу до станицы. И ты, дед, садись.

Благодаря казака нарочито гнусавым голосом, дед, кряхтя, влез в арбу. Ленька тоже прыгнул туда, и они поехали в клубах мелкой черной пыли, заставлявшей деда задыхаться от кашля.

Казак затянул песню. Пел он странными звуками, отрывая ноты в середине и доканчивая их свистом. Казалось, он развивает звуки с клубка, как нитки, и, когда ему встречается узел, обрывает их.

Колеса жалобно скрипели, вилась пыль; дед, трясая головой, не переставая кашлял, а Ленька думал о том, что вот сейчас придут они в станицу и нужно будет гнусавым голосом петь под окнами: «Господи, Иисусе Христе...» Снова станичные мальчишки будут заирать его, а бабы надоедать расспросами о России. Не-хорошо в эту пору смотреть и на деда, который кашляет чаще, горбится ниже, отчего ему самому неловко и больно, и говорит

таким жалобным голосом, то и дело всхлипывая и рассказывая о том, чего нигде и никогда не было... Говорит, что в России на улицах мрет народ, да так и валяется, и убрать некому, потому что все люди обалдели от голода... Ничего этого они с дедом не видали нигде. А нужно все это для того, чтобы больше подавали. Но куда ее, милостыню, здесь денешь? Дома — там можно всегда продать по сорок копеек и даже по полтине за пуд, а здесь никто не покупает. Потом приходится эти куски, иногда очень вкусные, выбрасывать из котомок в степи.

— Сбирать пойдете? — спросил казак, оглядывая через плечо две скорченные фигуры.

— Уж конечно, почтенный! — со вздохом ответил ему дед Архип.

— Встань на ноги, дед, покажу, где живу, — ночевать ко мне придете.

Дед попробовал встать, но упал, ударившись боком о край арбы, и глухо застонал.

— Эх ты, старый!.. — буркнул казак, соболезнуя. — Ну, все равно, не гляди; придет пора на ночлег идти, спроси Черного, Андрея Черного, это я и есть. А теперь слезай. Прощайте!

Дед и внук очутились перед кучкой тополей и осокорей. Из-за их стволов виднелись крыши, заборы, повсюду — направо и налево — к небу вздымались такие же кучки. Их зеленая листва была одета серой пылью, а кора толстых прямых стволов потрескалась от жары.

Прямо перед нищими между двух плетней тянулся узкий проулок, они направились в этот проулок развалистой походкой много ходивших пешком людей.

— Ну, как мы, Леня, пойдём — вместе или порознь? — спросил дед и, не дожидаясь ответа, прибавил: — Вместе бы лучше — мало больно тебе подают. Не умеешь ты просить-то...

— А куда много-то надо? Все равно ведь не поедаеть... — хмуро ответил Ленька, оглядываясь вокруг.

— Куда? Чужака ты!.. А вдруг подвернется человек, да и купит? Вот те и куда!.. Деньги даст. А деньги дело большое; ты с ними небось не пропадешь, как умру-то я.

И, ласково усмехаясь, дед погладил внука рукой по голове.

— Ты знаешь ли, сколько я за путину-то скопил? А?

— А сколько? — равнодушно спросил Ленька.

— Одиннадцать с полтиной!.. Видишь?!

Но на Леньку не произвели впечатления эта сумма и ликующий тон деда.

— Эх ты, малыш, малыш! — вздохнул дед. — Так порознь, что ли, идем?

— Порознь...

— Ну... К церкви приходи, буде.

— Ладно.

Дед свернул в проулок налево, а Ленька пошел дальше. Сделав шагов десять, он услышал дребезжащий возглас: «Благодетели и кормильцы!..» Этот возглас был похож на то, как бы по расстроенным гусям провели ладонью с самой густой до тонкой струны. Ленька вздрогнул и прибавил шаг. Всегда, когда слышал он просьбы деда, ему становилось неприятно и как-то то-скливо, а когда деду отказывали, он даже робел, ожидая, что вот сейчас разревется дедушка.

До слуха его еще долетали дрожащие, жалкие ноты дедова голоса, плутавшие в сонном и знойном воздухе над станицей. Кругом было все так тихо, точно ночью. Ленька подошел к плетню и сел в тени от свесившихся через него на улицу ветвей вишни. Где-то гулко жужжала пчела...

Сбросив котомку с плеч, Ленька положил на нее голову и, немного посмотрев в небо сквозь листву над его лицом, крепко заснул, укрытый от взглядов прохожих густым бурьяном и решетчатой тенью плетня...

Проснулся он, разбуженный странными звуками, колебавшимися в воздухе, уже посвежевшем от близости вечера. Кто-то плакал неподалеку от него. Плакали по-детски — задорно и неугомонно. Звуки рыданий замирали в тонкой, минорной ноте и вдруг снова и с новой силой вспыхивали и лились, все приближаясь к нему. Он поднял голову и через бурьян поглядел на дорогу.

По ней шла девочка лет семи, чисто одетая, с красным и вспухшим от слез лицом, которое она то и дело вытирала подолом белой юбки. Шла она медленно, шаркая босыми ногами по дороге, вздымая густую пыль, и, очевидно, не знала, куда и зачем идет. У нее были большие черные глаза, теперь — обиженные, грустные и влажные, маленькие, тонкие, розовые ушки шаловливо выглядывали из прядей каштановых волос, растрепанных и павших ей на лоб, щеки и плечи.

Она показалась Леньке очень смешной, несмотря на свои слезы, — смешной и веселой... И озорница, должно быть!..

— Ты чего плачешь? — спросил он, вставая на ноги, когда она поравнялась с ним.

Она вздрогнула и остановилась, сразу перестав плакать, но все еще потихоньку всхлипывая. Потом, когда она несколько секунд посмотрела на него, у нее снова дрогнули губы, сморщилось лицо, грудь колыхнулась, и, снова громко зарыдав, она пошла.

Ленька почувствовал, как у него что-то сжалось внутри, и вдруг тоже пошел за ней.

— А ты не плачь. Большая уж — стыдно! — заговорил он, еще не поравнявшись с ней, и потом, когда догнал ее, заглянул ей в лицо и переспросил снова: — Ну, чего ты разревелась?

— Да-а!.. — протянула она. — Кабы тебе... — и вдруг опустилась в пыль на дорогу, закрыв лицо руками, и отчаянно за-ныла.

— Ну! — пренебрежительно махнул рукой Ленька. — Баба!.. Как есть — баба. Фу ты!..

Но это не помогло ни ей, ни ему. Леньке, глядя, как между ее тонкими, розовыми пальцами струились одна за другой слезинки, стало тоже грустно и захотелось плакать. Он наклонился над нею и, осторожно подняв руку, чуть дотронулся до ее волос, но тотчас же, испугавшись своей смелости, отдернул руку прочь. Она все плакала и ничего не говорила.

— Слышь!.. — помолчав, начал Ленька, чувствуя настоятельную потребность помочь ей. — Чего ты это? Поколотили, что ли?.. Так ведь пройдет!.. А то, может, другое что? Ты скажи! Девочка — а?

Девочка, не отнимая рук от лица, печально качнула головой и наконец сквозь рыдания медленно ответила ему, поводя плечами:

— Платок... потеряла!.. Батька с базара привез... голубой, с цветками, а я надела — и потеряла. — И заплакала снова, сильнее и громче, всхлипывая и стонущим голосом выкликая странное: о-о-о!

Ленька почувствовал себя бессильным помочь ей и, робко отодвинувшись от нее, задумчиво и грустно посмотрел на потемневшее небо. Ему было тяжело и очень жаль девочку.

— Не плачь!.. может, найдется... — тихонько прошептал он, но, заметив, что она не слышит его утешения, отодвинулся еще дальше от нее, думая, что, наверное, от отца достанется ей за эту потерю. И тотчас же ему представилось, что отец, большой и черный казак, колотит ее, а она, захлебываясь слезами и вся дрожа от страха и боли, валяется у него в ногах...

Он встал и пошел прочь, но, отойдя шагов пять, снова круто повернулся, остановился против нее, прижавшись к плетню, и старался вспомнить что-нибудь такое ласковое и доброе...

— Ушла бы ты с дороги, девочка! Да уж перестань плакать-то! Пойди домой, да и скажи все, как было. Потеряла, мол... Что уж больно?..

Он начал говорить это тихим, соболеznующим голосом и, кончив возмущенным восклицанием, обрадовался, видя, что она поднимается с земли.

— Вот и ладно!.. — улыбаясь и оживленно продолжал он. — Иди-ка вот. Хочешь, я с тобой пойду и расскажу все? Заступлюсь за тебя, не бойся!

И Ленька гордо повел плечами, оглянувшись вокруг себя.

— Не надо... — прошептала она, медленно отряхивая пыль с платья и все всхлипывая.

— А то — пойду? — с полнейшей готовностью громко заявил Ленька и сдвинул себе на ухо картуз.

Теперь он стоял перед ней, широко расставив ноги, отчего надетые на нем лохмотья как-то храбро заершились. Он твердо



постукивал палкой о землю и смотрел на нее упорно, а его большие и грустные глаза светились гордым и смелым чувством.

Девочка искоса посмотрела на него, размазывая по своему личику слезы, и, снова вздохнув, сказала:

— Не надо, не ходи... Мамка не любит нищих-то.

И пошла от него прочь, два раза оглянувшись назад.

Леньке сделалось скучно. Он незаметно, медленными движениями изменил свою решительную, вызывающую позу, снова сгорбился, присмирел и, закинув за спину свою котомку, висевшую до этого на руке, крикнул вслед девочке, когда она уже скрылась за поворотом проулка:

— Прощай!

Она обернулась к нему на ходу и исчезла.

Приближался вечер, и в воздухе стояла та особенная, тяжелая духота, которая предвещает грозу. Солнце уже было низко, и вершины тополей зарделись легким румянцем. Но от вечерних теней, окутавших их ветви, они, высокие и неподвижные, стали гуще, выше... Небо над ними тоже темнело, делалось бархатным и точно опускалось ниже к земле. Где-то далеко говорили люди, и где-то еще дальше, но в другой стороне — пели. Эти звуки, тихие, но густые, казалось, тоже были пропитаны духотой.

Леньке стало еще скучнее и даже боязно чего-то. Он захотел пойти к деду, оглянулся вокруг себя и быстро пошел вперед по переулку. Просить милостыню ему не хотелось. Он шел и чувствовал, что у него в груди сердце бьется так часто, часто и что ему как-то особенно лень идти и думать... Но девочка не выходила из его памяти, и думалось: «Что с ней теперь? Коли она из богатого дома, будут ее бить: все богачи — скряги; а коли бедная, то, может, и не будут... В бедных домах ребят-то больше любят, потому что от них работы ждут». Одна за другой думы назойливо шевелились в его голове, и с каждой минутой томительное и щемящее чувство тоски, как тень сопровождавшее его думы, становилось тяжелее, овладевало им все более.

И тени вечера становились удушливее, гуще. Навстречу Леньке попадались казаки и казачки и проходили мимо, не обращая на него внимания, уже успев привыкнуть к наплыву голодающих из России. Он тоже лениво скользил потускневшим взглядом по их сытым, крупным фигурам и быстро шел к церкви, — крест ее сиял за деревьями впереди его.

Навстречу ему несся шум возвращавшегося стада. Вот и церковь, низенькая и широкая, с пятью главами, выкрашенными голубой краской, обсаженная кругом тополями, вершины которых переросли ее кресты, облитые лучами заката и сиявшие сквозь зелень розоватым золотом.

Вот и дед идет к паперти, согнувшись под тяжестью котомки, и озирается по сторонам, приставив ладонь ко лбу.

За дедом тяжелой, развалистой походкой шагает станичник в шапке, низко надвинутой на лоб, и с палкой в руке.



— Что, пуста котомка-то?— спросил дед, подходя ко внуку, остановившемуся, ожидая его, у церковной ограды.— А я вон сколько!..— И, кряхтя, он свалил с плеч на землю свой холщовый, туго набитый мешок.— Ух!.. хорошо здесь подают! Ахти, хорошо!.. Ну, а ты чего такой надутый?

— Голова болит...— тихо молвил Ленька, опускаясь на землю рядом с дедом.

— Ну?.. Устал... Сморился!.. Вот ночевать пойдем сейчас. Как казака-то того звать? А?

— Андрей Черный.

— Так мы и спросим: а где, мол, тут Черный Андрей? Вот к нам человек идет... Да... Хороший народ, сытый! И всё пшеничный хлеб едят. Здравствуйте, добрый человек!

Казаки подошли к ним вплоть и медленно проговорили в ответ на приветствие деда:

— И вы здравствуйте!

Затем, широко расставив ноги и остановив на них большие, ничего не выражавшие глаза, молча почесался.

Ленька смотрел на него пытливо, дед моргал своими старческими глазами вопросительно, казак все молчал и наконец, высунув до половины язык, стал ловить им конец своего уса. Удачно кончив эту операцию, он втащил ус в рот, пожевал его, снова вытолкнул изо рта языком и наконец прервал молчание, уже ставшее томительным, лениво проговорив:

— Ну — пойдемте в сборную!

— Зачем? — встрепенулся дед.

У Леньки дрогнуло что-то внутри.

— А надо... Велено. Ну!

Он повернулся к ним спиной и пошел было, но, оглянувшись назад и видя, что оба они не трогаются с места, снова и уже сердито крикнул:

— Чего же еще!

Тогда дед и Ленька быстро пошли за ним.

Ленька упорно смотрел на деда и, видя, что у него трясутся губы и голова и что он, боязливо озираясь вокруг себя, быстро шарит у себя за пазухой, чувствовал, что дед опять нашалил чего-то, как и тогда в Тамани. Ему стало боязно, когда он представил себе таманскую историю. Там дед стянул со двора белье и его поймали с ним. Смеялись, ругали, били даже и, наконец, ночью выгнали вон из станицы. Они ночевали с дедом где-то на берегу пролива в песке, и море всю ночь грозно урчало... Песок скрипел, передвигаемый набегавшими на него волнами... А дед всю ночь стонал и шепотом молился богу, называя себя вором и прося прощения.

— Ленька...

Ленька вздрогнул от толчка в бок и посмотрел на деда. У того лицо вытянулось, стало суше, серее и все дрожало.

Казак шел впереди шагов на пять, курил трубку, обивал палкой головки репейника и не оборачивался на них.

— На вот, возьми!.. брось... в бурьян... да заметь, где бросишь!.. чтобы взять после... — чуть слышно прошептал дед и, плотно прижавшись на ходу ко внуку, сунул ему в руку какую-то тряпицу, свернутую в комок.

Ленька отстранился, дрогнув от страха, сразу наполнившего холодом все его существо, и подошел ближе к забору, около которого густо разросся бурьян. Напряженно глядя на широкую спину казака-конвоира, он протянул в сторону руку и, посмотрев на нее, бросил тряпку в бурьян...

Падая, тряпка развернулась, и в глазах Леньки промелькнул голубой с цветами платок, тотчас заслоненный образом маленькой плачущей девочки. Она встала перед ним, как живая, закрыв собой казака, деда и все окружающее... Звуки ее рыданий снова ясно раздались в ушах Леньки, и ему показалось, что перед ним на землю падают светлые капельки слез.

В этом почти невменяемом состоянии он пришел позади деда в сборную, слышал глухое гудение, разобрать которое не мог и не хотел, точно сквозь туман видел, как из котомки деда высыпали куски на большой стол, и эти куски, падая глухо и мягко, стучали о стол... Затем над ними склонилось много голов в высоких шапках; головы и шапки были хмуры и мрачны и сквозь туман, облекавший их, качаясь, грозили чем-то страшным... Потом вдруг дед, хрипло бормоча что-то, как волчок завертелся в руках двух дюжих молодцов...

— Напрасно, православные!.. Неповинен, видит господь!.. — пронзительно взвизгнул дед.

Ленька, заплакав, опустился на пол.

Тогда подошли и к нему. Подняли, посадили на лавку и обшарили все лохмотья, покрывавшие его маленькое тельце.

— Брешет Даниловна, чертова баба! — гроыхнул кто-то, точно ударив по ушам Леньки своим густым и раздраженным голосом.

— А может, они спрятали где? — крикнули в ответ еще громче.

Ленька чувствовал, что все эти звуки точно бьют его по голове, и ему стало так страшно, что он потерял сознание, вдруг точно нырнув в какую-то черную яму, раскрывшую перед ним бездонный зев.

Когда он очнулся, его голова лежала на коленях деда, над лицом его наклонилось дедово лицо, жалкое и сморщенное более, чем всегда, и из дедовых глаз, испуганно моргавших, капая на его, Ленькин, лоб маленькие мутные слезы и очень щекотят, скатываясь по щекам на шею...

— Оклемался ли, родной?! Пойдем-ка отсюда. Пойдем, — отпустили, проклятые!

Ленька поднялся, чувствуя, что в его голове налито что-то тяжелое и что она вот-вот упадет с плеч... Он взял ее руками и закачался из стороны в сторону, тихо стоная.

— Болит головонька-то? Родненький ты мой!.. Измучили они нас с тобой... Звери! Кинжал пропал, вишь ты, да платок девчонка потеряла, ну, они и навалились на нас!.. Ох, господи!.. за что наказуешь?!

Скрипучий голос деда как-то царапал Леньку, и он чувствовал, что внутри его разгорается острая искорка, заставляя его отодвинуться от деда дальше. Отодвинулся и посмотрел вокруг...

Они сидели у выхода из станицы, под густой тенью ветвей корявого осокоря. Уже настала ночь, взошла луна, и ее молочно-серебристый свет, обливая ровное степное пространство, сделал его как бы уже, чем оно было днем, уже и еще пустыней, грустнее. Издалека, со степи, слитой с небом, вздымались тучи и тихо плыли над ней, закрывая луну и бросая на землю густые тени. Тени плотно ложились на землю, медленно, задумчиво ползли по ней и вдруг пропадали, точно уходя в землю через трещины от жгучих ударов солнечных лучей... Из станицы доносились голоса, и кое-где в ней вспыхивали огоньки, перемигиваясь с ярко-золотыми звездами.

— Пойдем, милый!.. идти надо,— сказал дед.

— Посидим еще!..— тихо сказал Ленька.

Ему нравилась степь. Днем, идя по ней, он любил смотреть вперед, туда, где свод неба опирается на ее широкую грудь... Там он представлял себе большие чудные города, населенные невиданными им добрыми людьми, у которых не нужно будет просить хлеба — сами дадут, без просьб... А когда степь, все шире развертываясь перед его глазами, вдруг выдвигала из себя станицу уже знакомую ему, похожую строениями и людьми на все те, которые он видел прежде, ему делалось грустно и обидно за этот обман.

И теперь он задумчиво смотрел вдаль, откуда выползали медленно тучи. Они казались ему дымом тысяч труб того города, который так ему хотелось видеть... Его созерцание прервал сухой кашель деда.

Ленька пристально взглянул в смоченное слезами лицо деда, жадно глотавшего воздух.

Освещенное луной и перекрытое странными тенями, падавшими на него от лохмотьев шапки, от бровей и бороды, это лицо, с судорожно двигавшимся ртом и широко раскрытыми глазами, светившимися каким-то затаенным восторгом,— было страшно, жалко и, возбуждая в Леньке то, новое для него, чувство, заставляло его отодвигаться от деда подальше...

— Ну, посидим, посидим!..— бормотал он и, глупо ухмыляясь, шарил за пазухой.

Ленька отвернулся и снова стал смотреть вдаль.

— Ленька!.. Погляди-ка!..— вдруг всхлипнул дед восторженно и, весь корчась от удушливого кашля, протянул внучку что-то длинное и блестящее.— В серебре! серебро ведь!.. полсотни стоит!..

Руки и губы у него дрожали от жадности и боли, и все лицо передергивалось.

Ленька вздрогнул и оттолкнул его руку.

— Спрячь скорей!.. ах, дедушка, спрячь!..— умоляюще прошептал он, быстро оглядываясь кругом.

— Ну, чего ты, дурашка? боишься, милый?.. Заглянул я в окно, а он висит... я его цап, да и под полу... а потом спрятал в кустах. Шли из станицы, я будто шапку уронил, наклонился и взял его... Дураки они!.. И платок взял — вот он где!..

Он выхватил дрожащими руками платок из своих лохмотьев и потряс им перед лицом Леньки.

Перед глазами Леньки разорвалась туманная завеса и встала такая картина: он и дед быстро, насколько могут, идут по улице станицы, избегая взглядов встречных людей, идут пугливо, и Леньке кажется, что каждый, кто хочет, вправе бить их обоих, плевать на них, ругаться... Все окружающее — заборы, дома, деревья — в каком-то странном тумане колеблется, точно от ветра... и гудят чьи-то суровые, сердитые голоса... Этот тяжелый путь бесконечно долог, и выход из станицы в поле не виден за плотной массой шатающихся домов, которые то придвигаются к ним, точно желая раздавить их, то уходят куда-то, смеясь им в лицо темными пятнами своих окон... И вдруг из одного окна звонко раздается: «Воришки! Воришки! Воришка, воренок!..» Ленька украдкой бросает взгляд в сторону и видит в окне ту девочку, которую давеча он видел плачущей и хотел защищать... Она поймала его взгляд и высунула ему язык, а ее синие глазки сверкали зло и остро и кололи Леньку, как иглы.

Эта картина воскресла в памяти мальчика и моментально исчезла, оставив по себе злую улыбку, которую он бросил в лицо деду.

Дед все говорил что-то, прерывая себя кашлем, махал руками, тряс головой и отирал пот, крупными каплями выступавший в морщинах его лица.

Тяжелая, изорванная и лохматая туча закрыла луну, и Леньке почти не видно было лица деда... Но он поставил рядом с ним плачущую девочку, вызвав ее образ перед собой, и мысленно как бы измерял их обоих. Немощный, скрипучий, жадный и рваный дед рядом с ней, обиженной им, плачущей, но здоровой, свежей, красивой, показался ему ненужным и почти таким же злым и дрянным, как Кощей в сказке. Как это можно? За что он обидел ее? Он не родной ей...

А дед скрипел:

— Кабы сто рублей скопить!.. Умер бы я тогда покойно...

— Ну!..— вдруг вспыхнуло что-то в Леньке.— Молчи уж ты! Умер бы, умер бы... А не умираешь вот... Воруюсь!..— взвизнул Ленька и вдруг, весь дрожа, вскочил на ноги.— Вор ты старый!.. У-у!— И, сжав маленький, сухой кулачок, он потряс им перед носом внезапно замолкшего деда и снова грузно опустился на землю, продолжая сквозь зубы: — У дити украл... Ах, хорошо!.. Старый, а туда же... Не будет тебе на том свете прощенья за это!..

Вдруг вся степь всколыхнулась и, охваченная ослепительно голубым светом, расширилась... Одевавшая ее мгла дрогнула и исчезла на момент... Грянул удар грома и, рокоча, покатился над степью, сотрясая и ее и небо, по которому теперь быстро летела густая толпа черных туч, утопившая в себе луну.

Стало темно. Далеко где-то еще молча, но грозно сверкнула молния, и спустя секунду снова слабо рыкнул гром... Потом наступила тишина, которой, казалось, не будет конца.

Ленька крестился. Дед сидел неподвижно и молча, точно он сросся с стволом дерева, к которому прислонился спиной.

— Дедушка!..— прошептал Ленька, в мучительном страхе ожидая нового удара грома.— Идем в станицу!

Небо снова дрогнуло и снова вспыхнув голубым пламенем, бросило на землю могучий металлический удар. Как будто тысячи листов железа сыпались на землю, ударяясь друг о друга...

— Дедушка!..— крикнул Ленька.

Крик его, заглушаемый отзвуком грома, прозвучал, как удар в маленький, разбитый колокол.

— Что ты... Боишься...— хрипло проговорил дед, не шевелясь.

Стали падать крупные капли дождя, и их шорох звучал так таинственно, точно предупреждал о чем-то... Вдали он уже вырос в сплошной, широкий звук, похожий на трение громадной щетки по сухой земле,— а тут, около деда и внука, каждая капля, падая на землю, звучала коротко и отрывисто и умирала без эха. Удары грома все приближались, и небо вспыхивало чаще.

— Не пойду я в станицу! Пусть меня, старого пса, вора... здесь дождь потопит... и гром убьет!..— задыхаясь, говорил дед.— Не пойду!.. Иди один... Вот она, станица... Иди!.. Не хочу я, чтобы ты сидел тут... пошел!.. Иди, иди!.. Иди!..

Дед уже кричал глухо и силло.

— Дедушка!.. прости!..— придвигаясь к нему, взмолился Ленька.

— Не пойду... Не прошу... Семь лет я тебя нянчил!.. Все для тебя... и жил... для тебя, Рази мне надо что?.. Умираю ведь я... Умираю... а ты говоришь — вор... Для чего вор? Для тебя... для тебя это все... Вот возьми... возьми... бери... На жизнь твою... на всю... копил... ну и воровал... Бог видит все... Он знает... что воровал... знает... он меня накажет. О-он не помилует меня, старого пса... за воровство. И наказал уж... Господи! наказал ты меня!.. а? наказал?.. Рукой ребенка убил ты меня!.. Верно, гос-

поди!.. Правильно!.. Справедлив ты, господи!.. Пошли по душу мою... Ох!..

Голос деда поднялся до пронзительного визга, вселившего в грудь Леньки ужас.

Удары грома, сотрясая степь и небо, рокотали теперь так гулко и торопливо, точно каждый из них хотел сказать земле что-то необходимо нужное для нее, и все они, перегоняя один другого, ревели почти без пауз. Раздираемое молниями небо дрожало, дрожала и степь, то вся вспыхивая синим огнем, то погружаясь в холодный, тяжелый и тесный мрак, странно суживавший ее. Иногда молния освещала даль. Эта даль, казалось, торопливо убегает от шума и рева...

Полил дождь, и его капли, блестя, как сталь, при блеске молнии, скрыли собой приветно мигавшие огоньки станицы.

Ленька замирал от ужаса, холода и какого-то тоскливого чувства вины, рожденного криком деда. Он устоял перед собою широко раскрытые глаза и, боясь моргнуть ими даже и тогда, когда капли воды, стекая с его вымоченной дождем головы, попадали в них, прислушивался к голосу деда, тонувшему в море могучих звуков.

Ленька чувствовал, что дед сидит неподвижно, но ему казалось, что он должен пропасть, уйти куда-то и оставить его тут одного. Он, незаметно для себя, понемногу придвигался к деду и, когда коснулся его локтем, вздрогнул, ожидая чего-то страшного...

Разорвав небо, молния осветила их обоих, рядом друг с другом, скорченных, маленьких, обливаемых потоками воды с ветвей дерева...

Дед махал рукой в воздухе и все бормотал что-то, уже уставая и задыхаясь.

Взглянув ему в лицо, Ленька крикнул от страха... При синем блеске молнии оно казалось мертвым, а вращавшиеся на нем тусклые глаза были безумны.

— Дедушка!.. Пойдем!.. — взвизгнул он, ткнув свою голову в колени деда.

Дед склонился над ним, обняв его своими руками, тонкими и костлявыми, крепко прижал к себе и, тиская его, вдруг взвыл сильно и пронзительно, как волк, схваченный капканом.

Доведенный этим воем чуть не до сумасшествия, Ленька вырвался от него, вскочил на ноги и стрелой помчался куда-то вперед, широко раскрыв глаза, ослепляемый молниями, падая, вставая и уходя все глубже в тьму, которая то исчезала от синего блеска молнии, то снова плотно охватывала обезумевшего от страха мальчика.

А дождь, падая, шумел так холодно, монотонно, тоскливо. И казалось, что в степи ничего и никогда не было, кроме шума дождя, блеска молнии и раздраженного грохота грома.

Путру другого дня, выбежав за околицу, станичные мальчики тотчас же воротились назад и сделали в станице тревогу, объявив,

что видели под осокорью вчерашнего нищего и что он, должно быть, зарезан, так как около него брошен кинжал.

Но когда старшие казаки пришли смотреть, так ли это, то оказалось, что не так. Старик был жив еще. Когда к нему подошли, он попытался подняться с земли, но не мог. У него отнялся язык, и он спрашивал всех о чем-то слезящимися глазами и все искал ими в толпе, но ничего не находил и не получал никакого ответа.

К вечеру он умер, и зарыли его там же, где взяли, под осокорью, находя, что на погосте его хоронить не следует: во-первых — он чужой, во-вторых — вор, а в-третьих — умер без покаяния. Около него в грязи нашли кинжал и платок.

А через два или три дня нашелся Ленька.

Над одной степной балкой, недалеко от станицы, стали кружиться стаи ворон, и когда пошли посмотреть туда, нашли мальчика, который лежал, раскинув руки и лицом вниз, в жидкой грязи, оставшейся после дождя на дне балки.

Сначала решили похоронить его на погосте, потому что он еще ребенок, но, подумав, положили рядом с дедом, под той же осокорью. Насыпали холм земли и на нем поставили грубый каменный крест.

## СТАРУХА ИЗЕРГИЛЬ

### I

Я слышал эти рассказы под Аккерманом, в Бессарабии, на морском берегу.

Однажды вечером, кончив дневной сбор винограда, партия молдаван, с которой я работал, ушла на берег моря, а я и старуха Изергиль остались под густой тенью виноградных лоз и, лежа на земле, молчали, глядя, как тают в голубой мгле ночи силуэты тех людей, что пошли к морю.

Они шли, пели и смеялись; мужчины — бронзовые, с пышными, черными усами и густыми кудрями до плеч, в коротких куртках и широких шароварах; женщины и девушки — веселые, гибкие, с темно-синими глазами, тоже бронзовые. Их волосы, шелковые и черные, были распущены, ветер, теплый и легкий, играя ими, звякал монетами, вплетенными в них. Ветер тек широко, ровной волной, но иногда он точно прыгал через что-то невидимое и, рождая сильный порыв, развеивал волосы женщин в фантастические гривы, вздымавшиеся вокруг их голов. Это делало женщин странными и сказочными. Они уходили все дальше от нас, а ночь и фантазия одевали их все прекраснее.

Кто-то играл на скрипке... девушка пела мягким контральто, слышался смех...

Воздух был пропитан острым запахом моря и жирными испарениями земли, незадолго до вечера обильно смоченной дождем. Еще и теперь по небу бродили обрывки туч, пышные, странных очертаний и красок, тут — мягкие, как клубы дыма, сизые и пепельно-голубые, там — резкие, как обломки скал, матово-черные или коричневые. Между ними ласково блестели темно-голубые клочки неба, украшенные золотыми крапинками звезд. Все это — звуки и запахи, тучи и люди — было странно красиво и грустно, казалось началом чудной сказки. И все как бы



остановилось в своем росте, умирало; шум голосов гас, удаляясь, перерождался в печальные вздохи.

— Что ты не пошел с ними? — кивнув головой, спросила старуха Изергиль.

Время согнуло ее пополам, черные когда-то глаза были тусклы и слезились. Ее сухой голос звучал странно, он хрустел, точно старуха говорила костями.

— Не хочу, — ответил я ей.

— У!.. стариками родитесь вы, русские. Мрачные все, как демоны... Боятся тебя наши девушки... А ведь ты молодой и сильный...

Луна взошла. Ее диск был велик, кроваво-красен, она казалась вышедшей из недр этой степи, которая на своем веку так много поглотила человеческого мяса и выпила крови, отчего, наверное, и стала такой жирной и щедрой. На нас упали кружевные тени от листьев, я и старуха покрылись ими, как сетью. По степи, влево от нас, поплыли тени облаков, пропитанные голубым сиянием луны, они стали прозрачней и светлей.

— Смотри, вон идет Ларра!

Я смотрел, куда старуха указывала своей дрожащей рукой с кривыми пальцами, и видел: там плыли тени, их было много, и одна из них, темней и гуще, чем другие, плыла быстрее и ниже сестер, — она падала от клочка облака, которое плыло ближе к земле, чем другие, и скорее, чем они.

— Никого нет там! — сказал я.

— Ты слеп больше меня, старухи. Смотри — вон, темный, бежит степью!

Я посмотрел еще и снова не видел ничего, кроме тени.

— Это тень! Почему ты зовешь ее Ларра?

— Потому что это — он. Он уже стал теперь как тень, — пора! Он живет тысячи лет, солнце высушило его тело, кровь и кости, и ветер распылил их. Вот что может сделать бог с человеком за гордость!..

— Расскажи мне, как это было! — попросил я старуху, чувствуя впереди одну из славных сказок, сложенных в степях.

И она рассказала мне эту сказку.

«Многие тысячи лет прошли с той поры, когда случилось это. Далеко за морем, на восход солнца, есть страна большой реки, в той стране каждый древесный лист и стебель травы дает столько тени, сколько нужно человеку, чтоб укрыться в ней от солнца, жестоко жаркого там.

Вот какая щедрая земля в той стране!

Там жило могучее племя людей, они пасли стада и на охоту за зверями тратили свою силу и мужество, пировали после охоты, пели песни и играли с девушками.

Однажды, во время пира, одну из них, черноволосую и нежную, как ночь, унес орел, спустившись с неба. Стрелы, пущенные в него мужчинами, упали, жалкие, обратно на землю. Тогда пошли искать девушку, но — не нашли ее. И забыли о ней, как забывают обо всем не земле».

Старуха вздохнула и замолчала. Ее скрипучий голос звучал так, как будто это роптали все забытые века, воплотившись в ее груди тенями воспоминаний. Море тихо вторило началу одной из древних легенд, которые, может быть, создались на его берегах.

«Но через двадцать лет она сама пришла, измученная, иссохшая, а с нею был юноша, красивый и сильный, как сама она двадцать лет назад. И, когда ее спросили, где была она, она рассказала, что орел унес ее в горы и жил с нею там, как с женой. Вот его сын, а отца нет уже, когда он стал слабеть, то поднялся в последний раз высоко в небо и, сложив крылья, тяжело упал оттуда на острые уступы горы, насмерть разбился о них...

Все смотрели с удивлением на сына орла и видели, что он ничем не лучше их, только глаза его были холодны и горды, как у царя птиц. И разговаривали с ним, а он отвечал, если хотел, или молчал, а когда пришли старейшие племена, он говорил с ними, как с равными себе. Это оскорбило их, и они, назвав его неоперенной стрелой с неотточенным наконечником, сказали ему, что их чтут, им повинуются тысячи таких, как он, и тысячи вдвое старше его. А он, смело глядя на них, отвечал, что таких, как он, нет больше; и если все чтут их — он не хочет делать этого. О!.. тогда уж совсем рассердились они. Рассердились и сказали:

— Ему нет места среди нас! Пусть идет куда хочет.

Он засмеялся и пошел, куда захотелось ему, — к одной красивой девушке, которая пристально смотрела на него; пошел к ней и, подойдя, обнял ее. А она была дочь одного из старшин, осудивших его. И, хотя он был красив, она оттолкнула его, потому что боялась отца. Она оттолкнула его, да и пошла прочь, а он ударил ее и, когда она упала, встал ногой на ее грудь, так, что из ее уст кровь брызнула к небу, девушка, вздохнув, извилась змеей и умерла.

Всех, кто видел это, оковал страх, — впервые при них так убивали женщину. И долго все молчали, глядя на нее, лежавшую с открытыми глазами и окровавленным ртом, и на него, который стоял один против всех, рядом с ней, и был горд, — не опустил своей головы, как бы вызывая на нее кару. Потом, когда одумались, то схватили его, связали и так оставили, находя, что убить сейчас же — слишком просто и не удовлетворит их».

Ночь росла и крепла, наполняясь странными, тихими звуками. В степи печально посвистывали суслики, в листе винограда дрожал стеклянный стрекот кузнечиков, листва вздыхала и

шептаться, полный диск луны, раньше кроваво-красный, бледнел, удаляясь от земли, бледнел и все обильнее лил на степь голубоватую мглу...

«И вот они собрались, чтобы придумать казнь, достойную преступления... Хотели разорвать его лошадьми — и это казалось мало им; думали пустить в него всем по стреле, но отвергли и это; предлагали сжечь его, но дым костра не позволил бы видеть его мучений; предлагали много — и не находили ничего настолько хорошего, чтобы понравилось всем. А его мать стояла перед ними на коленях и молчала, не находя ни слез, ни слов, чтобы умолять о пощаде. Долго говорили они, и вот один мудрец сказал, подумав долго:

— Спросим его, почему он сделал это?

Спросили его об этом. Он сказал:

— Развяжите меня! Я не буду говорить связанный!

А когда развязали его, он спросил:

— Что вам нужно? — спросил так, точно они были рабы...

— Ты слышал... — сказал мудрец.

— Зачем я буду объяснять вам мои поступки?

— Чтоб быть понятым нами. Ты, гордый, слушай! Все равно ты умрешь ведь... Дай же нам понять то, что ты сделал. Мы остаемся жить, и нам полезно знать больше, чем мы знаем...

— Хорошо, я скажу, хотя я, может быть, сам неверно понимаю то, что случилось. Я убил ее потому, мне кажется, — что меня оттолкнула она... А мне было нужно ее.

— Но она не твоя! — сказали ему.

— Разве вы пользуетесь только своим? Я вижу, что каждый человек имеет только речь, руки и ноги... а владеет он животными, женщинами, землей... и многим еще...

Ему сказали на это, что за все, что человек берет, он платит собой: своим умом и силой, иногда — жизнью. А он отвечал, что он хочет сохранить себя целым.

Долго говорили с ним и наконец увидели, что он считает себя первым на земле и, кроме себя, не видит ничего. Всем даже страшно стало, когда поняли, на какое одиночество он обрекал себя. У него не было ни племени, ни матери, ни скота, ни жены, и он не хотел ничего этого.

Когда люди увидели это, они снова принялись судить о том, как наказать его. Но теперь недолго они говорили, — тот, мудрый, не мешавший им судить, заговорил сам:

— Стойте! Наказание есть. Это страшное наказание; вы не выдумаете такого в тысячу лет! Наказание ему — в нем самом! Пустите его, пусть он будет свободен. Вот его наказание!

И тут произошло великое. Грянул гром с небес, — хотя на них не было туч. Это силы небесные подтверждали речь мудрого. Все поклонились и разошлись. А этот юноша, который теперь получил имя Ларра, что значит: отверженный, выкинутый вон, — юноша громко смеялся вслед людям, которые бросили его, смеялся,

оставаясь один, свободный, как отец его. Но отец его — не был человеком... А этот — был человек. И вот он стал жить, вольный, как птица. Он приходил в племя и похищал скот, девушек — все, что хотел. В него стреляли, но стрелы не могли пронзить его тела, закрытого невидимым покровом высшей кары. Он был ловок, хищен, силен, жесток и не встречался с людьми лицом к лицу. Только издали видели его. И долго он, одинокий, так вился около людей, долго — не один десяток годов. Но вот однажды он подошел близко к людям и, когда они бросились на него, не тронулся с места и ничем не показал, что будет защищаться. Тогда один из людей догадался и крикнул громко:

— Не троньте его! Он хочет умереть!

И все остановились, не желая облегчить участь того, кто делал им зло, не желая убивать его. Остановились и смеялись над ним. А он дрожал, слыша этот смех, и все искал чего-то на своей груди, хватаясь за нее руками. И вдруг он бросился на людей, подняв камень. Но они, уклоняясь от его ударов, не нанесли ему ни одного, и когда он, утомленный, с тоскливым криком упал на землю, то отошли в сторону и наблюдали за ним. Вот он встал и, подняв потерянный кем-то в борьбе с ним нож, ударил им себя в грудь. Но сломался нож — точно в камень ударили им. И снова он упал на землю и долго бился головой об нее. Но земля отстранялась от него, углубляясь от ударов его головы.

— Он не может умереть! — с радостью сказали люди.

И ушли, оставив его. Он лежал кверху лицом и видел — высоко в небе черными точками плавали могучие орлы. В его глазах было столько тоски, что можно было бы отравить ею всех людей мира. Так, с той поры остался он один, свободный, ожидая смерти. И вот он ходит, ходит повсюду... Видишь, он стал уже как тень и таким будет вечно! Он не понимает ни речи людей, ни их поступков — ничего. И все ищет, ходит, ходит... Ему нет жизни, и смерть не улыбается ему. И нет ему места среди людей... Вот как был поражен человек за гордость!»

Старуха вздохнула, замолчала, и ее голова, опустившись на грудь, несколько раз странно качнулась.

Я посмотрел на нее. Старуху одолевал сон, показалось мне. И стало почему-то страшно жалко ее. Конец рассказа она вела таким возвышенным, угрожающим тоном, а все-таки в этом тоне звучала боязливая, рабская нота.

На берегу запели,— странно запели. Сначала раздался контральто,— он пропел две-три ноты, и раздался другой голос, начавший песню сначала, а первый все лился впереди его...— третий, четвертый, пятый вступили в песню в том же порядке. И вдруг ту же песню, опять-таки сначала, запел хор мужских голосов.

Каждый голос женщин звучал совершенно отдельно, все они казались разноцветными ручьями и, точно скатываясь откуда-то сверху по уступам, прыгая и звеня, вливаясь в густую

волну мужских голосов, плавно лившуюся кверху, тонули в ней, вырывались из нее, заглушали ее и снова один за другим взвивались, чистые и сильные, высоко вверх.

Шума волн не слышно было за голосами...

## II

— Слышал ли ты, чтоб где-нибудь еще так пели? — спросила Изергиль, поднимая голову и улыбаясь беззубым ртом.

— Не слышал. Никогда не слышал...

— И не услышишь. Мы любим петь. Только красавцы могут хорошо петь, — красавцы, которые любят жить. Мы любим жить. Смотри-ка, разве не устали за день те, которые поют там? С восхода по закат работали, взошла луна, и уже — поют! Те, которые не умеют жить, легли бы спать. Те, которым жизнь мила, вот — поют.

— Но здоровье... — начал было я.

— Здоровья всегда хватит на жизнь. Здоровье! Разве ты, имея деньги, не потратил бы их? Здоровье — то же золото. Знаешь ты, что я делала, когда была молодой? Я ткала ковры с восхода по закат, не вставая почти. Я, как солнечный луч, живая была и вот должна была сидеть неподвижно, точно камень. И сидела до того, что, бывало, все кости у меня трещат. А как придет ночь, я бежала к тому, кого любила, целоваться с ним. И так я бегала три месяца, пока была любовь; все ночи этого времени бывала у него. И вот до какой поры дожила —хватило крови! А сколько любила! Сколько поцелуев взяла и дала!..

Я посмотрел ей в лицо. Ее черные глаза были все-таки тусклы, их не оживило воспоминание. Луна освещала ее сухие, потрескавшиеся губы, заостренный подбородок с седыми волосами на нем и сморщенный нос, загнутый, словно клюв совы. На месте щек были черные ямы, и в одной из них лежала прядь пепельно-седых волос, выбившихся из-под красной тряпки, которою была обмотана ее голова. Кожа на лице, шее и руках вся изрезана морщинами, и при каждом движении старой Изергиль можно было ждать, что сухая эта кожа разорвется вся, развалится кусками и предо мной встанет голый скелет с тусклыми черными глазами.

Она снова начала рассказывать своим хрустящим голосом:

— Я жила с матерью под Фальми, на самом берегу Бырлата; и мне было пятнадцать лет, когда он явился к нашему хутору. Был он такой высокий, гибкий, черноусый, веселый. Сидит в лодке и так звонко кричит он нам в окна: «Эй, нет ли у вас вина... и поест мне?» Я посмотрела в окно сквозь ветви ясеней и вижу: река вся голубая от луны, а он, в белой рубашке и в широком кушаке с распущенными на боку концами, стоит одной ногой в лодке, а другой на берегу. И покачивается, и что-то поет. Увидал меня, говорит: «Вот какая красавица живет тут!.. А я и не знал

про это!» Точно он уж знал всех красавиц до меня! Я дала ему вина и вареной свинины... А через четыре дня дала уже и всю себя... Мы всё катались с ним в лодке по ночам. Он придет и посвистит тихо, как суслик, а я выпрыгну, как рыба, в окно на реку. И едем... Он был рыбаком с Прута, и потом, когда мать узнала про все и побила меня, уговаривал все меня уйти с ним в Добруджу и дальше, в дунайские гирла. Но мне уж не нравился он тогда — только поет да целуется, ничего больше! Скучно это было уже. В то время гуцулы шайкой ходили по тем местам, и у них были любезные тут... Так вот тем — весело было. Иная ждет, ждет своего карпатского молодца, думает, что он уже в тюрьме или убит где-нибудь в драке, — и вдруг он один, а то с двумя-тремя товарищами, как с неба, упадет к ней. Подарки подносил богатые — легко же ведь доставалось все им! И пирует у нее, и хвалится ею перед своими товарищами. А ей любо это. Я и попросила одну подругу, у которой был гуцул, показать мне их... Как ее звали? Забыла как... Все стала забывать теперь. Много времени прошло с той поры, все забудешь! Она меня познакомила с молодцом. Был хорош... Рыжий был, весь рыжий — и усы и кудри! Огненная голова. И был он такой печальный, иногда ласковый, а иногда, как зверь, ревел и дрался. Раз ударил меня в лицо... А я, как кошка, вскочила ему на грудь, да и впилась зубами в щеку... С той поры у него на щеке стала ямка, и он любил, когда я целовала ее...

— А рыбак куда девался? — спросил я.

— Рыбак? А он... тут... Он пристал к ним, к гуцулам. Сначала все уговаривал меня и грозил бросить в воду, а потом — ничего, пристал к ним и другую завел... Их обоих и повесили вместе — и рыбака и этого гуцула. Я ходила смотреть, как их вешали. В Добрудже это было. Рыбак шел на казнь бледный и плакал, а гуцул трубку курил. Идет себе и курит, руки в карманах, один ус на плече лежит, а другой на грудь свесился. Увидал меня, вынул трубку и кричит: «Прощай!..» Я целый год жалела его. Эх!.. Это уж тогда с ними было, как они хотели уйти в Карпаты к себе. На прощанье пошли к одному румыну в гости, там их и поймали. Двоих только, а нескольких убили, а остальные ушли... Все-таки румыну заплатили после... Хутор сожгли и мельницу, и хлеб весь. Нищим стал.

— Это ты сделала? — наудачу спросил я.

— Много было друзей у гуцулов, не одна я... Кто был их лучшим другом, тот и справил им поминки...

Песня на берегу моря уже умолкла, и старухе вторил теперь только шум морских волн, — задумчивый, мятежный шум был славной второй рассказу о мятежной жизни. Все мягче становилась ночь, и все больше разрождалось в ней голубого сияния луны, а неопределенные звуки хлопотливой жизни ее невидимых обитателей становились тише, заглушаемые возрастающим шорохом волн... ибо усиливался ветер.

— А то еще турка любила я. В гареме у него была, в Скутари. Целую неделю жила, — ничего... Но скучно стало... — всё женщины, женщины... Восемь было их у него... Целый день едят, спят и болтают глупые речи... Или ругаются, квохчут, как курицы... Он был уж немолодой, этот турок. Седой почти и такой важный, богатый. Говорил — как владыка... Глаза были черные... Прямые глаза... Смотрят прямо в душу. Очень он любил молиться. Я его в Букурешти увидела... Ходит по рынку, как царь, и смотрит так важно, важно. Я ему улыбнулась. В тот же вечер меня схватили на улице и привезли к нему. Он сандал и пальму продавал, а в Букурешти приехал купить что-то. «Едешь ко мне?» — говорит. «О да, поеду!» — «Хорошо!» И я поехала. Богатый он был, этот турок. И сын у него уже был — черненький мальчик, гибкий такой... Ему лет шестнадцать было. С ним я и убежала от турка... Убежала в Болгарию, в Лом-Паланку... Там меня одна болгарка ножом ударила в грудь за жениха или за мужа своего — уже не помню.

Хворала я долго в монастыре одном. Женский монастырь. Ухаживала за мной одна девушка, полька... и к ней из монастыря другого, — около Арцер-Паланки, помню, — ходил брат, тоже монашек... Такой... как червяк, все извивался предо мной... И когда я выздоровела, то ушла с ним... в Польшу его.

— погоди!.. А где маленький турок?

— Мальчик? Он умер, мальчик. От тоски по дому или от любви... но стал сохнуть он, так, как неокрепшее деревцо, которому слишком много перепало солнца... так и сох все... помню, лежит, весь уже прозрачный и голубоватый, как льдинка, а все еще в нем горит любовь... И всё просит наклониться и поцеловать его... Я любила его и, помню, много целовала... Потом уж он совсем стал плох — не двигался почти. Лежит и так жалобно, как нищий милостыни, просит меня лечь с ним рядом и греть его. Я ложилась. Ляжешь с ним... он сразу загорится весь. Однажды я проснулась, а он уж холодный... мертвый... Я плакала над ним. Кто скажет? Может, ведь это я и убила его. Вдвое старше его я была тогда уж. И была такая сильная, сочная... а он — что же?.. Мальчик!..

Она вздохнула и — первый раз я видел это у нее — перекрестилась трижды, шепча что-то сухими губами.

— Ну, отправилась ты в Польшу... — подсказал я ей.

— Да... с тем, маленьким полячком. Он был смешной и подлый. Когда ему нужна была женщина, он ластился ко мне котом и с его языка горячий мед тек, а когда он меня не хотел, то шелкал меня словами, как кнутом. Раз как-то шли мы по берегу реки, и вот он сказал мне гордое, обидное слово. О! О!.. Я рассердилась! Я закипела, как смола! Я взяла его на руки и, как ребенка, — он был маленький, — подняла вверх, сдавив ему бока так, что он посинел весь. И вот я размахнулась и бросила его с берега в реку. Он кричал. Смешно так кричал. Я смотрела на него сверху, а он



барахтался там, в воде. Я ушла тогда. И больше не встречалась с ним. Я была счастлива на это: никогда не встречалась после с теми, которых когда-то любила. Это нехорошие встречи, все равно как бы с покойниками.

Старуха замолчала, вздыхая. Я представлял себе воскрешаемых ею людей. Вот огненно-рыжий, усатый гуцул идет умирать, спокойно покуривая трубку. У него, наверное, были холодные, голубые глаза, которые на все смотрели сосредоточенно и твердо. Вот рядом с ним черноусый рыбак с Прута; плачет, не желая умирать, и на его лице, бледном от предсмертной тоски, потускнели веселые глаза, и усы, смоченные слезами, печально обвисли по углам искривленного рта. Вот он, старый, важный турок, наверное, фаталист и деспот, и рядом с ним его сын, бледный и хрупкий цветок Востока, отравленный поцелуями. А вот тщеславный поляк, галантный и жестокий, красноречивый и холодный... И все они — только бледные тени, а та, которую они целовали, сидит рядом со мной живая, но иссушенная временем, без тела, без крови, с сердцем без желаний, с глазами без огня, — тоже почти тень.

Она продолжала:

— В Польше стало трудно мне. Там живут холодные и лживые люди. Я не знала их змеиноного языка. Все шипят... Что шипят? Это бог дал им такой змеиный язык за то, что они лживы. Шла я тогда, не зная куда, и видела, как они собирались бунтовать с вами, русскими. Дошла до города Бохнии. Жид один купил меня; не для себя купил, а чтобы торговать мною. Я согласилась на это. Чтобы жить — надо уметь что-нибудь делать. Я ничего не умела и за это платила собой. Но я подумала тогда, что ведь, если я достану немного денег, чтобы воротиться к себе на Бырлат, я порву цепи, как бы они крепки ни были. И жила я там. Ходили ко мне богатые паны и пировали у меня. Это им дорого стоило. Дрались из-за меня они, разорялись. Один добивался меня долго и раз вот что сделал: пришел, а слуга за ним идет с мешком. Вот пан взял в руки тот мешок и опрокинул его над моей головой. Золотые монеты стучали меня по голове, и мне весело было слушать их звон, когда они падали на пол. Но я все-таки выгнала пана. У него было такое толстое, сырое лицо, и живот — как большая подушка. Он смотрел, как сытая свинья. Да, выгнала я его, хотя он и говорил, что продал все земли свои, и дома, и коней, чтобы осыпать меня золотом. Я тогда любила одного достойного пана с изрубленным лицом. Все лицо было у него изрублено крест-накрест саблями турок, с которыми он незадолго перед тем воевал за греков. Вот человек!.. Что ему греки, если он поляк? А он пошел, бился с ними против их врагов. Изрубили его, у него вытек один глаз от ударов, и два пальца на левой руке были тоже отрублены... Что ему греки, если он поляк? А вот что: он любил подвиги. А когда человек любит подвиги, он всегда умеет их сделать и найдет, где это можно. В жизни, знаешь ли



ты, всегда есть место подвигам. И те, которые не находят их для себя,— те просто лентяи или трусы, или не понимают жизни, потому что, кабы люди понимали жизнь, каждый захотел бы оставить после себя свою тень в ней. И тогда жизнь не пожирала бы людей бесследно... О, этот, рубленый, был хороший человек! Он готов был идти на край света, чтобы делать что-нибудь. Наверное, ваши убили его во время бунта. А зачем вы ходили бить мадьяр? Ну-ну, молчи!..

И, приказывая мне молчать, старая Изергиль вдруг замолчала сама, задумалась.

— Знала также я и мадьяра одного. Он однажды ушел от меня,— зимой это было,— и только весной, когда стаял снег, нашли его в поле с простреленной головой. Вот как! Видишь — не меньше чумы губит любовь людей; коли посчитать — не меньше... Что я говорила? О Польше... Да, там я сыграла свою последнюю игру. Встретила одного шляхтича... Вот был красив! Как черт. Я же стара уж была, эх, стара! Было ли мне четыре десятка лет? Пожалуй, что и было... А он был еще и горд, и избалован нами, женщинами. Дорого он мне стал... да. Он хотел сразу так себе взять меня, но я не далась. Я не была никогда рабой, пичьей. А с жидом я уже кончила, много денег дала ему... И уже в Кракове жила. Тогда у меня все было: и лошади, и золото, и слуги... Он ходил ко мне, гордый демон, и все хотел, чтоб я сама кинулась ему в руки. Мы поспорили с ним... Я даже,— помню,— дурнела от этого. Долго это тянулось... Я взяла свое: он на коленях упрашивал меня... Но только взял, как уж и бросил. Тогда поняла я, что стала стара... Ох, это было мне не сладко! Вот уж не сладко!.. Я ведь любила его; этого черта... а он, встречаясь со мной, смеялся... подлый он был! И другим он смеялся надо мной, а я это знала. Ну, уж горько было мне, скажу! Но он был тут, близко, и я все-таки любовалась им. А как вот ушел он биться с вами, русскими, тошно стало мне. Ломала я себя, но не могла сломать... И решила поехать за ним. Он около Варшавы был, в лесу.

Но когда я приехала, то узнала, что уж побили их ваши... и что он в плену, недалеко в деревне.

«Значит,— подумала я,— не увижу уже его больше!» А видеть хотелось. Ну, стала стараться увидеть... Нищей оделась, хромой, и пошла, завязав лицо, в ту деревню, где был он. Везде казаки и солдаты... дорого мне стоило быть там! Узнала я, где поляки сидят, и вижу, что трудно попасть туда. А нужно мне это было. И вот ночью подползла я к тому месту, где они были. Ползу по огороду между гряд и вижу: часовой стоит на моей дороге... А уж слышно мне — поют поляки и говорят громко. Поют песню одну... к матери бога... И тот там же поет... Аркадэк мой. Мне горько стало, как подумала я, что раньше за мной ползали... а вот оно, пришло время — и я за человеком поползла змеей по земле и, может, на смерть свою ползу. А этот часовой уже

слушает, выгнулся вперед. Ну, что же мне? Встала я с земли и пошла на него. Ни ножа у меня нет, ничего, кроме рук да языка. Жалею, что не взяла ножа. Шепчу: «Погоди!..» А он, солдат этот, уже приставил к горлу мне штык. Я говорю ему шепотом: «Не коли, погоди, послушай, коли у тебя душа есть! Не могу тебе ничего дать, а прошу тебя...» Он опустил ружье и также шепотом говорит мне: «Пошла прочь, баба! пошла! Чего тебе?» Я сказала ему, что сын у меня тут заперт... «Ты понимаешь, солдат, — сын! Ты ведь тоже чей-нибудь сын, да? Так вот посмотри на меня — у меня есть такой же, как ты, и вон он где! Дай мне посмотреть на него, может, он умрет скоро... и, может, тебя завтра убьют... будет плакать твоя мать о тебе? И ведь тяжело будет тебе умереть, не взглянув на нее, твою мать? И моему сыну тяжело же. Пожалей же себя и его, и меня — мать!..»

Ох, как долго говорила я ему! Шел дождь и мочил нас. Ветер выл и ревел, и толкал меня то в спину, то в грудь. Я стояла и качалась перед этим каменным солдатом... А он все говорил: «Нет!» И каждый раз, как я слышала его холодное слово, еще жарче во мне вспыхивало желание видеть того, Аркадэка... Я говорила и мерила глазами солдата — он был маленький, сухой и все кашлял. И вот я упала на землю перед ним и, охватив его колени, все упрасывая его горячими словами, свалила солдата на землю. Он упал в грязь. Тогда я быстро повернула его лицом к земле и придавила его голову в лужу, чтоб он не кричал. Он не кричал, а только все барахтался, стараясь сбросить меня с своей спины. Я же обеими руками втискивала его голову глубже в грязь. Он и задохнулся... Тогда я бросилась к амбару, где пели поляки. «Аркадэк!..» — шептала я в щели стен. Они догадливые, эти поляки, — и, услышав меня, не перестали петь! Вот его глаза против моих. «Можешь ты выйти отсюда?» — «Да, через пол!» — сказал он. «Ну, иди же». И вот четверо их вылезло из-под этого амбара: трое и Аркадэк мой. «Где часовые?» — спросил Аркадэк. «Вон лежит!..» И они пошли тихо-тихо, согнувшись к земле. Дождь шел, ветер выл громко. Мы ушли из деревни и долго молча шли лесом. Быстро так шли. Аркадэк держал меня за руку, и его рука была горяча и дрожала. О!.. Мне так хорошо было с ним, пока он молчал. Последние это были минуты — хорошие минуты моей жадной жизни. Но вот мы вышли на луг и остановились. Они благодарили меня все четверо. Ох, как они долго и много говорили мне что-то! Я все слушала и смотрела на своего пана. Что же он сделает мне? И вот он обнял меня и сказал так важно... Не помню, что он сказал, но так выходило, что теперь он в благодарность за то, что я увела его, будет любить меня... И стал он на колени предо мной, улыбаясь, и сказал мне: «Моя королева!» Вот какая лживая собака была это!.. Ну, тогда я дала ему пинка ногой и ударила бы его в лицо, да он отшатнулся и вскочил. Грозный и бледный стоит он предо мной... Стоят и те трое, хмурые все. И все молчат. Я посмотрела на них... Мне тогда стало —

помню — только скучно очень, и такая лень напала на меня... Я сказала им: «Идите!» Они, псы, спросили меня: «Ты воротишься туда, указать наш путь?» Вот какие подлые! Ну, все-таки ушли они. Тогда и я пошла... А на другой день взяли меня ваши, но скоро отпустили. Тогда увидела я, что пора мне завести гнездо, будет жить кукушкой! Уж тяжела стала я, и ослабели крылья, и перья потускнели... Пора, пора! Тогда я уехала в Галицию, а оттуда в Добруджу. И вот уже около трех десятков лет живу здесь. Был у меня муж, молдаванин; умер с год тому времени. И живу я вот! Одна живу... Нет, не одна, а вон с теми.

Старуха махнула рукой к морю. Там все было тихо. Иногда рождался какой-то краткий, обманчивый звук и умирал тотчас же.

— Любят они меня. Много я рассказываю им разного. Им это надо. Еще молодые все... И мне хорошо с ними. Смотрю и думаю: «Вот и я, было время, такая же была... Только тогда, в мое время, больше было в человеке силы и огня, и оттого жилось веселее и лучше... Да!..»

Она замолчала. Мне грустно было рядом с ней. Она же дремала, качая головой, и тихо шептала что-то... может быть, молилась.

С моря поднималась туча — черная, тяжелая, суровых очертаний, похожая на горный хребет. Она ползла в степь. С ее вершины срывались клочья облаков, неслись вперед ее и гасили звезды одну за другой. Море шумело. Недалеко от нас, в лозах винограда, целовались, шептали и вздыхали. Глубоко в степи выла собака... Воздух раздражал нервы странным запахом, щекотавшим ноздри. От облаков падали на землю густые стаи теней и ползли по ней, ползли, исчезали, являлись снова... На месте луны осталось только мутное опаловое пятно, иногда его совсем закрывал сизый клочок облака. И в степной дали, теперь уже черной и страшной, как бы притаившейся, скрывшей в себе что-то, вспыхивали маленькие голубые огоньки. То там, то тут они на миг являлись и гасли, точно несколько людей, рассыпавшихся по степи далеко друг от друга, искали в ней что-то, зажигая спички, которые ветер тотчас же гасил. Это были очень странные голубые языки огня, намекавшие на что-то сказочное.

— Видишь ты искры? — спросила меня Изергиль.

— Вон те, голубые? — указывая ей на степь, сказал я.

— Голубые? Да, это они... Значит, летают все-таки! Ну-ну... Я уж вот не вижу их больше. Не могу я теперь многого видеть.

— Откуда эти искры? — спросил я старуху.

Я слышал кое-что раньше о происхождении этих искр, но мне хотелось послушать, как расскажет о том же старая Изергиль.

— Эти искры от горящего сердца Данко. Было на свете сердце, которое однажды вспыхнуло огнем... И вот от него эти искры. Я расскажу тебе про это... Тоже старая сказка... Старое, все старое! Видишь ты, сколько в старине всего?.. А теперь вот нет ничего такого — ни дел, ни людей, ни сказок таких, как

в старину... Почему?.. Ну-ка, скажи! Не скажешь... Что ты знаешь? Что все вы знаете, молодые? Эхе-хе!.. Смотрели бы в старину зорко — там все отгадки найдутся... А вот вы не смотрите и не умеете жить оттого... Я не вижу разве жизнь? Ох, все вижу, хоть и плохи мои глаза! И вижу я, что не живут люди, а всё примеряются, примеряются и кладут на это всю жизнь. И когда оборуют сами себя, истратив время, то начнут плакаться на судьбу. Что же тут — судьба? Каждый сам себе судьба! Всяких людей я нынче вижу, а вот сильных нет! Где ж они?.. И красавцев становится все меньше.

Старуха задумалась о том, куда девались из жизни сильные и красивые люди, и, думая, осматривала темную степь, как бы ища в ней ответа.

Я ждал ее рассказа и молчал, боясь, что, если спрошу ее о чем-либо, она опять отвлечется в сторону.

И вот она начала рассказ.

### III

«Жили на земле в старину одни люди, непроходимые леса окружали с трех сторон таборы этих людей, а с четвертой — была степь. Были это веселые, сильные и смелые люди. И вот пришла однажды тяжелая пора: явились откуда-то иные племена и прогнали прежних в глубь леса. Там были болота и тьма, потому что лес был старый, и так густо переплелись его ветви, что сквозь них не видать было неба, и лучи солнца едва могли пробить себе дорогу до болот сквозь густую листву. Но когда его лучи падали на воду болот, то подымался смрад, и от него люди гибли один за другим. Тогда стали плакать жены и дети этого племени, а отцы задумались и впали в тоску. Нужно было уйти из этого леса, и для того были две дороги: одна — назад, — там были сильные и злые враги, другая — вперед, там стояли великаны-деревья, плотно обняв друг друга могучими ветвями, опустив узловатые корни глубоко в цепкий ил болота. Эти каменные деревья стояли молча и неподвижно днем в сером сумраке и еще плотнее сдвигались вокруг людей по вечерам, когда загорались костры. И всегда, днем и ночью, вокруг тех людей было кольцо крепкой тьмы, оно точно собиралось раздавить их, а они привыкли к степному простору. А еще страшней было, когда ветер бил по вершинам деревьев и весь лес глухо гудел, точно грозил и пел похоронную песню тем людям. Это были все-таки сильные люди, и могли бы они пойти биться насмерть с теми, что однажды победили их, но они не могли умереть в боях, потому что у них были заветы, и коли б умерли они, то пропали б с ними из жизни и заветы. И потому они сидели и думали в длинные ночи, под глухой шум леса, в ядовитом смраде болота. Они сидели, а тени от костров прыгали вокруг них в безмолвной пляске, и всем казалось, что это не тени

пляшут, а торжествуют злые духи леса и болота... Люди всё сидели и думали. Но ничто — ни работа, ни женщины не изнуряют тела и души людей так, как изнуряют тоскливые думы. И ослабли люди от дум... Страх родился среди них, сковал им крепкие руки, ужас родили женщины плачем над трупами умерших от смрада и над судьбой скованных страхом живых, — и трусливые слова стали слышны в лесу, сначала робкие и тихие, а потом все громче и громче... Уже хотели идти к врагу и принести ему в дар волю свою, и никто уже, испуганный смертью, не боялся рабской жизни... Но тут явился Данко и спас всех один».

Старуха, очевидно, часто рассказывала о горящем сердце Данко. Она говорила певуче, и голос ее, скрипучий и глухой, ясно рисовал предо мной шум леса, среди которого умирали от ядовитого дыхания болота несчастные, загнанные люди...

«Данко — один из тех людей, молодой красавец. Красивые — всегда смелы. И вот он говорит им, своим товарищам:

— Не своротить камня с пути думою. Кто ничего не делает, с тем ничего не станет. Что мы тратим силы на думу да тоску? Вставайте, пойдем в лес и пройдем его сквозь, ведь имеет же он конец — все на свете имеет конец! Идемте! Ну! Гей!..

Посмотрели на него и увидали, что он лучший из всех, потому что в очах его светилось много силы и живого огня.

— Веди ты нас! — сказали они.

Тогда он повел...»

Старуха помолчала и посмотрела в степь, где все густела тьма. Искорки горящего сердца Данко вспыхивали где-то далеко и казались голубыми воздушными цветами, расцветая только на миг.

«Повел их Данко. Дружно все пошли за ним — верили в него. Трудный путь это был! Темно было, и на каждом шагу болото разевало свою жадную гнилую пасть, глотая людей, и деревья заступали дорогу могучей стеной. Переплелись их ветки между собой; как змеи, протянулись всюду корни, и каждый шаг много стоил пота и крови тем людям. Долго шли они... Все гуще становился лес, все меньше было сил! И вот стали роптать на Данко, говоря, что напрасно он, молодой и неопытный, повел их куда-то. А он шел впереди их и был бодр и ясен.

Но однажды гроза грянула над лесом, зашептали деревья глухо, грозно. И стало тогда в лесу так темно, точно в нем собрались сразу все ночи, сколько их было на свете с той поры, как он родился. Шли маленькие люди между больших деревьев и в грозном шуме молний, шли они, и, качаясь, великаны-деревья скрипели и гудели сердитые песни, а молнии, летая над вершинами леса, освещали его на минутку синим, холодным огнем и исчезали так же быстро, как являлись, пугая людей. И деревья, освещенные холодным огнем молний, казались живыми, простирающими вокруг людей, уходящих из плена тьмы, корявые, длинные руки, сплетая их в густую сеть, пытаясь остановить людей. А из тьмы ветвей смотрело на идущих что-то страшное, темное и холодное.

Это был трудный путь, и люди, утомленные им, пали духом. Но им стыдно было сознаться в бессилии, и вот они в злобе и гнев обрушились на Данко, человека, который шел впереди их. И стали они упрекать его в неумении управлять ими,— вот как!

Остановились они и под торжествующий шум леса, среди дрожащей тьмы, усталые и злые, стали судить Данко.

— Ты,— сказали они,— ничтожный и вредный человек для нас! Ты повел нас и утомил, и за это ты погибнешь!

— Вы сказали: «Веди!» — и я повел! — крикнул Данко, становясь против них грудью.— Во мне есть мужество вести, вот потому я повел вас! А вы? Что сделали вы в помощь себе? Вы только шли и не умели сохранить силы на путь более долгий! Вы только шли, шли, как стадо овец!

Но эти слова разъярили их еще более.

— Ты умрешь! Ты умрешь! — ревели они.

А лес все гудел и гудел, вторя их крикам, и молнии разрывали тьму в клочья. Данко смотрел на тех, ради которых он понес труд, и видел, что они — как звери. Много людей стояло вокруг него, но не было на лицах их благородства, и нельзя было ему ждать пощады от них. Тогда и в его сердце вскипело негодование, но от жалости к людям оно погасло. Он любил людей и думал, что, может быть, без него они погибнут. И вот его сердце вспыхнуло огнем желания спасти их, вывести на легкий путь, и тогда в его очах засверкали лучи того могучего огня... А они, увидав это, подумали, что он расสวิрепел, отчего так ярко и разгорелись очи, и они насторожились, как волки, ожидая, что он будет бороться с ними, и стали плотнее окружать его, чтобы легче им было схватить и убить Данко. А он уже понял их думу, оттого еще ярче загорелось в нем сердце, ибо эта их дума родила в нем тоску.

А лес все пел свою мрачную песню, и гром гремел, и лил дождь...

— Что сделаю я для людей?! — сильнее грома крикнул Данко.

И вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из нее свое сердце и высоко поднял его над головой.

Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещенный этим факелом великой любви к людям, а тьма разлетелась от света его и там, глубоко в лесу, дрожащая, пала в гнилой зев болота. Люди же, изумленные, стали как камни.

— Идем! — крикнул Данко и бросился вперед на свое место, высоко держа горящее сердце и освещая им путь людям.

Они бросились за ним, очарованные. Тогда лес снова зашумел, удивленно качая вершинами, но его шум был заглушен топотом бегущих людей. Все бежали быстро и смело, увлекаемые чудесным зрелищем горящего сердца. И теперь гибли, но гибли без жалоб и слез. А Данко все был впереди, и сердце его все пылало, пылало!

И вот вдруг лес расступился перед ним, расступился и остался сзади, плотный и немой, а Данко и все те люди сразу окунулись

в море солнечного света и чистого воздуха, промытого дождем. Гроза была — там, сзади них, над лесом, а тут сияло солнце, вздыхала степь, блестела трава в брильянтах дождя и золотом сверкала река... Был вечер, и от лучей заката река казалась красной, как та кровь, что была горячей струей из разорванной груди Данко.

Кинул взор вперед себя на ширь степи гордый смельчак Данко, — кинул он радостный взор на свободную землю и засмеялся гордо. А потом упал и — умер.

Люди же, радостные и полные надежд, не заметили смерти его и не видали, что еще пылает рядом с трупом Данко его смелое сердце. Только один осторожный человек заметил это и, боясь чего-то, наступил на гордое сердце ногой... И вот оно, рассыпавшись в искры, угасло...

— Вот откуда они, голубые искры степи, что являются перед грозой!

Теперь, когда старуха кончила свою красивую сказку, в степи стало страшно тихо, точно и она была поражена силой смельчака Данко, который сжег для людей свое сердце и умер, не прося у них ничего в награду себе. Старуха дремала. Я смотрел на нее и думал: «Сколько еще сказок и воспоминаний осталось в ее памяти?» И думал о великом горящем сердце Данко и о человеческой фантазии, создавшей столько красивых и сильных легенд.

Дунул ветер и обнажил из-под лохмотьев сухую грудь старухи Изергиль, засыпавшей все крепче. Я прикрыл ее старое тело и сам лег на землю около нее. В степи было тихо и темно. По небу все ползли тучи, медленно, скучно... Море шумело глухо и печально.



### ЧЕЛКАШ

Потемневшее от пыли голубое южное небо — мутно; жаркое солнце смотрит в зеленоватое море, точно сквозь тонкую серую вуаль. Оно почти не отражается в воде, рассекаемой ударами весел, паровых винтов, острыми килями турецких фелюг и других судов, бороздящих по всем направлениям тесную гавань. Закованные в гранит волны моря подавлены громадными тяжестями, скользящими по их хребтам, бьются о борта судов, о берега, бьются и ропщут, вспененные, загрязненные разным хламом.

Звон якорных цепей, грохот сцеплений вагонов, подвозящих груз, металлический вопль железных листов, откуда-то падающих на камень мостовой, глухой стук дерева, дребезжание извозчичьих телег, свистки пароходов, то пронзительно резкие, то глухо ревушие, крики грузчиков, матросов и таможенных солдат — все эти звуки сливаются в оглушительную музыку трудового дня и, мятежно колыхаясь, стоят низко в небе над гаванью, — к ним вздымаются с земли всё новые и новые волны звуков — то глухие, рокошующие, они сурово сотрясают все кругом, то резкие, гремящие, — рвут пыльный, знойный воздух.

Гранит, железо, дерево, мостовая гавани, суда и люди — все дышит мощными звуками страстного гимна Меркурию. Но голоса людей, еле слышные в нем, слабы и смешны. И сами люди, первоначально родившие этот шум, смешны и жалки: их фигурки, пыльные, оборванные, юркие, согнутые под тяжестью товаров, лежащих на их спинах, суетливо бегают то туда, то сюда в тучах пыли, в море зноя и звуков, они ничтожны по сравнению с окружающими их железными колоссами, грудями товаров, гремящими вагонами и всем, что они создали. Созданное ими поработило и обезличило их.

Стоя под парами, тяжелые гиганты-пароходы свистят, шипят, глубоко вздыхают, и в каждом звуке, рожденном ими, чудится



насмешливая нота презрения к серым, пыльным фигурам людей, ползавших по их палубам, наполняя глубокие трюмы продуктами своего рабского труда. До слез смешны длинные вереницы грузчиков, несущих на плечах своих тысячи пудов хлеба в железные животы судов для того, чтобы заработать несколько фунтов того же хлеба для своего желудка. Рваные, потные, отупевшие от усталости, шума и зноя люди и могучие, блестящие на солнце родственники машины, созданные этими людьми, — машины, которые в конце концов приводились в движение все-таки не паром, а мускулами и кровью своих творцов, — в этом сопоставлении была целая поэма жестокой иронии.

Шум — подавлял, пыль, раздражая ноздри, — слепила глаза, зной — пек тело и изнурял его, и все кругом — казалось напряженным, теряющим терпение, готовым разразиться какой-то грандиозной катастрофой, взрывом, за которым в освеженном им воздухе будет дышаться свободно и легко, на земле воцарится тишина, а этот пыльный шум, оглушительный, раздражающий, доводящий до тоскливого бешенства, исчезнет, и тогда в городе, на море, в небе станет тихо, ясно, славно...

Раздалось двенадцать мерных и звонких ударов в колокол. Когда последний медный звук замер, дикая музыка труда уже звучала тише. Через минуту еще она превратилась в глухой недовольный ропот. Теперь голоса людей и плеск моря стали слышней. Это — наступило время обеда.

## I

Когда грузчики, бросив работать, рассыпались по гавани шумными группами, покупая себе у торговков разную снедь и усаживаясь обедать тут же, на мостовой, в тенистых уголках, — появился Гришка Челкаш, старый травленный волк, хорошо знакомый гаванскому люду, заядлый пьяница и ловкий, смелый вор. Он был бос, в старых, вытертых плисовых штанах, без шапки, в грязной ситцевой рубаше с разорванным воротом, открывавшим его сухие и угловатые кости, обтянутые коричневой кожей. По всклоченным черным с проседью волосам и смятому, острому, хищному лицу было видно, что он только что проснулся. В одном буром усе у него торчала соломина, другая соломина запуталась в щетине левой бритой щеки, а за ухо он заткнул себе маленькую, только что сорванную ветку липы. Длинный, костлявый, немного сутулый, он медленно шагал по камням и, поводя своим горбатым, хищным носом, кидал вокруг себя острые взгляды, поблескивая холодными серыми глазами и высматривая кого-то среди грузчиков. Его бурые усы, густые и длинные, то и дело вздрагивали, как у kota, а заложенные за спину руки потирали одна другую, нервно перекручиваясь длинными, кривыми и цепкими пальцами. Даже и здесь, среди сотен таких же, как он, резких босяцких

фигур, он сразу обращал на себя внимание своим сходством с степным ястребом, своей хищной худобой и этой прицеливающейся походкой, плавной и покойной с виду, но внутренне возбужденной и зоркой, как лет той хищной птицы, которую он напоминал.

Когда он поравнялся с одной из групп босяков-грузчиков, расположившихся в тени под грудой корзин с углем, ему навстречу встал коренастый малый с глупым, в багровых пятнах, лицом и поцарапанной шеей, должно быть, недавно избитый. Он встал и пошел рядом с Челкашом, вполголоса говоря:

— Флотские двух мест мануфактуры хватились... Ищут.

— Ну? — спросил Челкаш, спокойно смерив его глазами.

— Чего — ну? Ищут, мол. Больше ничего.

— Меня, что ли, спрашивали, чтоб помог поискать?

И Челкаш с улыбкой посмотрел туда, где помещается пакгауз Добровольного флота.

— Пошел к черту!

Товарищ повернул назад.

— Эй, погоди! Кто это тебя изукрасил? Ишь как испортили вывеску-то... Мишку не видал здесь?

— Давно не видал! — крикнул тот, уходя к своим товарищам.

Челкаш шагал дальше, встречаемый всеми, как человек хорошо знакомый. Но он, всегда веселый и едкий, был сегодня, очевидно, не в духе и отвечал на расспросы отрывисто и резко.

Откуда-то из-за бунта товара вывернулся таможенный сторож, темно-зеленый, пыльный и воинственно-прямой. Он загородил дорогу Челкашу, встав перед ним в вызывающей позе, схватившись левой рукой за ручку кортика, а правой пытаясь взять Челкаша за ворот.

— Стой! Куда идешь?

Челкаш отступил шаг назад, поднял глаза на сторожа и сухо улыбнулся.

Красное, добродушно-хитрое лицо служивого пыталось изобразить грозную мину, для чего надулось, стало круглым, багровым, двигало бровями, тарщило глаза и было очень смешно.

— Сказано тебе — в гавань не смей ходить, ребра изломаю! А ты опять? — грозно кричал сторож.

— Здравствуй, Семеныч! мы с тобой давно не видались, — спокойно поздоровался Челкаш и протянул ему руку.

— Хоть бы век тебя не видать! Иди, иди!..

Но Семеныч все-таки пожал протянутую руку.

— Вот что скажи, — продолжал Челкаш, не выпуская из своих цепких пальцев руки Семеныча и přátельски-фамильярно потряхивая ее, — ты Мишку не видал?

— Какого еще Мишку? Никакого Мишки не знаю! Пошел, брат, вон! а то пакгаузный увидит, он те...

— Рыжего, с которым я прошлый раз работал на «Костроме», — стоял на своем Челкаш.

— С которым воруеть вместе, вот как скажи! В больницу его

свели, Мишку твоего, ногу отдало чугунной штыкой. Поди, брат, пока чество просят, поди, а то в шею провожу!..

— Ага, ишь ты! а ты говоришь — не знаю Мишки... Знаешь вот. Ты чего же такой сердитый, Семеныч?..

— Вот что, ты мне зубы не заговаривай, а иди!..

Сторож начал сердиться и, оглядываясь по сторонам, пытался вырвать свою руку из крепкой руки Челкаша. Челкаш спокойно поглядывал на него из-под своих густых бровей и, не отпуская его руки, продолжал разговаривать:

— Ты не торопи меня. Я вот наговорюсь с тобой вдосталь и уйду. Ну, рассказывай, как живешь?.. жена, детки — здоровы? — И, сверкая глазами, он, оскалив зубы насмешливой улыбкой, добавил: — В гости к тебе собираюсь, да все времени нет — пью все вот...

— Ну, ну, — ты это брось! Ты, — не шути, дьявол костлявый! Я, брат, в самом деле... Али ты уж по домам, по улицам грабить собираешься?

— Зачем? И здесь на наш с тобой век добра хватит. Ей-богу, хватит, Семеныч! Ты, слышь, опять два места мануфактуры слямзил?.. Смотри, Семеныч, осторожней! не попадись как-нибудь!..

Возмущенный Семеныч затрясся, брызгая слюной и пытаясь что-то сказать. Челкаш отпустил его руку и спокойно зашагал длинными ногами назад к воротам гавани. Сторож, неистово ругаясь, двинулся за ним.

Челкаш повеселел; он тихо посвистывал сквозь зубы и, засунув руки в карманы штанов, шел медленно, отпуская направо и налево колкие смешки и шутки. Ему платили тем же.

— Ишь ты, Гришка, начальство-то как тебя оберегает! — крикнул кто-то из толпы грузчиков, уже пообедавших и валявшихся на земле, отдыхая.

— Я — босый, так вот Семеныч следит, как бы мне ногу не напороть, — ответил Челкаш.

Подшли к воротам. Два солдата ощупали Челкаша и легонько вытолкнули его на улицу.

Челкаш перешел через дорогу и сел на тумбочку против дверей кабака. Из ворот гавани с грохотом выезжала вереница нагруженных телег. Навстречу им неслись порожние телеги с извозчиками, подпрыгивавшими на них. Гавань изрыгала воющий гром и едкую пыль...

В этой бешеной сутолоке Челкаш чувствовал себя прекрасно. Впереди ему улыбался солидный заработок, требуя немного труда и много ловкости. Он был уверен, что ловкости хватит у него, и, щуря глаза, мечтал о том, как загуляет завтра поутру, когда в его кармане явятся кредитные бумажки... Вспомнился товарищ Мишка, — он очень пригодился бы сегодня ночью, если бы не сломал себе ногу. Челкаш про себя обругался, думая, что одному, без Мишки, пожалуй, и не справиться с делом. Какова-то будет ночь?.. Он посмотрел на небо и вдоль по улице.

Шагах в шести от него, у тротуара, на мостовой, прислонясь спиной к тумбочке, сидел молодой парень в синей пестрядинной рубаше, в таких же штанах, в лаптях и в оборванном рыжем картузе. Около него лежала маленькая котомка и коса без черенка, обернутая в жгут из соломы, аккуратно перекрученный веревочкой. Парень был широкоплеч, коренаст, русский, с загорелым и обветренным лицом и с большими голубыми глазами, смотревшими на Челкаша доверчиво и добродушно.

Челкаш оскалил зубы, высунул язык и, сделав страшную рожу, уставился на него вытаращенными глазами.

Парень, сначала недоумевая, смигнул, но потом вдруг расхохотался, крикнул сквозь смех: «Ах, чудак!» — и, почти не вставая с земли, неуклюже перевалился от своей тумбочки к тумбочке Челкаша, волоча свою котомку по пыли и постукивая пяткой косы о камни.

— Что, брат, погулял, видно, здорово!.. — обратился он к Челкашу, дернув его штанину.

— Было дело, сосунок, было этакое дело! — улыбаясь, сознался Челкаш. Ему сразу понравился этот здоровый, добродушный парень с ребячьими светлыми глазами. — С косовицы, что ли?

— Как же!.. Косили версту — выкосили грош. Плохи дела-то! Нар-роду — уйма! Голодающий этот самый приплелся, — цену сбили, хоть не берись! Шесть гривен в Кубани платили. Дела!.. А раньше-то, говорят, три целковых цена, четыре, пять!..

— Раньше!.. Раньше-то за одно погляденье на русского челогека там трешну платили. Я вот годов десять тому назад этим самым и промышлял. Придешь в станицу — русский, мол, я! Сейчас тебя поглядят, пощупают, подивуются и — получи три рубля! Да напоят, накормят. И живи сколько хочешь!

Парень, слушая Челкаша, сначала широко открыл рот, выражая на круглой физиономии недоумевающее восхищение, но потом, поняв, что оборванец врет, шлепнул губами и захохотал. Челкаш сохранял серьезную мину, скрывая улыбку в своих усах.

— Чудак, говоришь будто правду, а я слушаю да верю... Нет, ей-богу, раньше там...

— Ну, а я про что? Ведь и я говорю, что, мол, там раньше...

— Поди ты!.. — махнул рукой парень. — Сапожник, что ли? Али портной?.. Ты-то?

— Я-то? — переспросил Челкаш и, подумав, сказал: — Рыбак я...

— Рыба-ак! Ишь ты! Что же, ловишь рыбу?..

— Зачем рыбу? Здешние рыбаки не одну рыбу ловят. Больше утопленников, старые якорья, потонувшие суда — все! Удочки такие есть для этого...

— Ври, ври!.. Из тех, может, рыбаков, которые про себя поют:

Мы закидываем сети  
По сухим берегам  
Да по амбарам, по клетям!..

— А ты видал таких? — спросил Челкаш, с усмешкой поглядывая на него.

— Нет, видать где же! Слыхал...

— Нравятся?

— Они-то? Как же!.. Ничего ребята, вольные, свободные...

— А что тебе — свобода?.. Ты разве любишь свободу?

— Да ведь как же? Сам себе хозяин, пошел — куда хошь, делай — что хошь... Еще бы! Коли сумеешь себя в порядке держать, да на шее у тебя камней нет, — первое дело! Гуляй знай, как хошь, бога только помни...

Челкаш презрительно сплюнул и отвернулся от парня.

— Сейчас вот мое дело... — говорил тот. — Отец у меня — умер, хозяйство — малое, мать старуха, земля высосана, — что я должен делать? Жить — надо. А как? Неизвестно. Пойду я в зятя в хороший дом. Ладно. Кабы выделили дочь-то!.. Нет ведь — тесть-дьявол не выделит. Ну, и буду я ломать на него... долго... Года! Вишь, какие дела-то! А кабы мне рублей ста полтора заработать, сейчас бы я на ноги встал и — Антипу-то — накося, выкуси! Хошь выделить Марфу? Нет? Не надо! Слава богу, девок в деревне не одна она. И был бы я, значит, совсем свободен, сам по себе... Н-да! — Парень вздохнул. — А теперь ничего не поделаешь иначе, как в зятя идти. Думал было я: вот, мол, на Кубань-то пойду, рублей два ста тяпну, — шабаш! барин!.. Ан не выгорело. Ну и пойдешь в батраки... Своим хозяйством не исправлюсь я, ни в каком разе! Эхе-хе!..

Парню сильно не хотелось идти в зятя. У него даже лицо печально потускнело. Он тяжело заерзал на земле.

Челкаш спросил:

— Теперь куда ж ты?

— Да ведь — куда? известно, домой.

— Ну, брат, мне это неизвестно, может, ты в Турцию собрался...

— В Ту-урцию!.. — протянул парень. — Кто ж это туда ходит из православных? Сказал тоже!..

— Экой ты дурак! — вздохнул Челкаш и снова отворотился от собеседника. В нем этот здоровый деревенский парень что-то будил...

Смутное, медленно назревавшее, досадливое чувство копошилось где-то глубоко и мешало ему сосредоточиться и обдумать то, что нужно было сделать в эту ночь.

Обруганный парень бормотал что-то вполголоса, изредка бросая на босяка косые взгляды. У него смешно надулись щеки, оттопырились губы и суженные глаза как-то чересчур часто и смешно помаргивали. Он, очевидно, не ожидал, что его разговор с этим усатым оборванцем кончится так быстро и обидно.

Оборванец не обращал больше на него внимания. Он задумчиво посвистывал, сидя на тумбочке и отбивая по ней такт голой грязной пяткой.

Парню хотелось поквитаться с ним.

— Эй ты, рыбак! Часто это ты запиваешь-то? — начал было он, но в этот же момент рыбак быстро обернул к нему лицо, спросив его:

— Слушай, сосун! Хочешь сегодня ночью работать со мной? Говори скорей!

— Чего работать? — недоверчиво спросил парень.

— Ну, чего!.. Чего заставляю... Рыбу ловить поедом. Грести будешь...

— Так... Что же? Ничего. Работать можно. Только вот... не влететь бы во что с тобой. Больно ты закомурист... темен ты.

Челкаш почувствовал нечто вроде ожога в груди и с холодной злобой вполголоса проговорил:

— А ты не болтай, чего не смыслишь. Я те вот долбану по башке, тогда у тебя в ней просветлеет...

Он соскочил с тумбочки, дернул левой рукой свой ус, а правую сжал в твердый, жилистый кулак и заблестел глазами.

Парень испугался. Он быстро оглянулся вокруг и, робко моргая, тоже вскочил с земли. Меряя друг друга глазами, они молчали.

— Ну? — сурово спросил Челкаш. Он кипел и вздрагивал от оскорбления, нанесенного ему этим молоденьким теленком, которого он во время разговора с ним презирал, а теперь сразу возненавидел за то, что у него такие чистые голубые глаза, здоровое загорелое лицо, короткие крепкие руки, за то, что он имеет где-то там деревню, дом в ней, за то, что его приглашает в зятя зажиточный мужик, — за всю его жизнь прошлую и будущую, а больше всего за то, что он, этот ребенок по сравнению с ним, Челкашом, смеет любить свободу, которой не знает цены и которая ему не нужна. Всегда неприятно видеть, что человек, которого ты считаешь хуже и ниже себя, любит или ненавидит то же, что и ты, и, таким образом, становится похож на тебя.

Парень смотрел на Челкаша и чувствовал в нем хозяина.

— Ведь я... не прочь... — заговорил он. — Работы ведь и ишу. Мне все равно, у кого работать, у тебя или у другого. Я только к тому сказал, что не похож ты на рабочего человека, — больно уж тово... драный. Ну, я ведь знаю, что это со всяким может быть. Господи, рази я не видел пьяниц! Эх, сколько!.. да еще и не таких, как ты.

— Ну, ладно, ладно! Согласен? — уже мягче переспросил Челкаш.

— Я-то? Айда!.. с моим удовольствием! Говори цену.

— Цена у меня по работе. Какая работа будет. Какой улов, значит... Пятитку можешь получить. Понял?

Но теперь дело касалось денег, а тут крестьянин хотел быть точным и требовал той же точности от нанимателя. У парня вновь вспыхнуло недоверие и подозрительность.

— Это мне не рука, брат!

Челкаш вошел в роль.

— Не толкуй, погоди! Идем в трактир!

И они пошли по улице рядом друг с другом, Челкаш — с важной миной хозяина, покручивая усы, парень — с выражением полной готовности подчиниться, но все-таки полный недоверия и боязни.

— А как тебя звать? — спросил Челкаш.

— Гаврилом! — ответил парень.

Когда они пришли в грязный и закоптелый трактир, Челкаш, подойдя к буфету, фамильярным тоном завсегдатая заказал бутылку водки, шей, поджарку из мяса, чаю и, перечислив требуемое, коротко бросил буфетчику: «В долг все!» — на что буфетчик молча кивнул головой. Тут Гаврила сразу преисполнился уважением к своему хозяину, который, несмотря на свой вид жулика, пользуется такой известностью и доверием.

— Ну, вот мы теперь закусим и поговорим толком. Пока ты посиди, а я схожу кое-куда.

Он ушел. Гаврила осмотрелся кругом. Трактир помещался в подвале; в нем было сыро, темно, и весь он был полон удушливым запахом перегорелой водки, табачного дыма, смолы и еще чего-то острого. Против Гаврилы, за другим столом, сидел пьяный человек в матросском костюме, с рыжей бородой, весь в угольной пыли и смоле. Он урчал, поминутно икая, песню, всю из каких-то перерванных и изломанных слов, то страшно шипящих, то гортанных. Он был, очевидно, не русский.

Сзади его поместились две молдаванки; оборванные, черноволосые, загорелые, они тоже скрипели песню пьяными голосами.

Потом из тьмы выступали еще разные фигуры, все странно растрепанные, все полупьяные, крикливые, беспокойные...

Гавриле стало жутко. Ему захотелось, чтобы хозяин воротился скорее. Шум в трактире сливался в одну ноту, и казалось, что это рычит какое-то огромное животное, оно, обладая сотней разнообразных голосов, раздраженно, слепо рвется вон из этой каменной ямы и не находит выхода на волю... Гаврила чувствовал, как в его тело всасывается что-то опьяняющее и тягостное, от чего у него кружилась голова и туманились глаза, любопытно и со страхом бегавшие по трактиру...

Пришел Челкаш, и они стали есть и пить, разговаривая. С третьей рюмки Гаврила опьянел. Ему стало весело и хотелось сказать что-нибудь приятное своему хозяину, который — славный человек! — так вкусно угостил его. Но слова, целыми волнами подливавшиеся ему к горлу, почему-то не сходили с языка, вдруг отяжелевшего.

Челкаш смотрел на него и, насмешливо улыбаясь, говорил:

— Наклюкался!.. Э-эх, тюря! с пяти рюмок!.. как работашь-то будешь?..

— Друг!.. — лепетал Гаврила. — Не бойсь! Я тебе уважу!.. Дай поцелую тебя!.. а?..



— Ну, ну!.. Н<sup>а</sup>, еще клюкни!

Гаврила пил и дошел наконец до того, что у него в глазах все стало колебаться ровными, волнообразными движениями. Это было неприятно, и от этого тошнило. Лицо у него сделалось глупо восторженное. Пытаясь сказать что-нибудь, он смешно шлепал губами и мычал. Челкаш, пристально поглядывая на него, точно вспоминал что-то, крутил свои усы и все улыбался хмуро.

А трактир ревел пьяным шумом. Рыжий матрос спал, облокотясь на стол.

— Ну-ка, идем! — сказал Челкаш, вставая.

Гаврила попробовал подняться, но не смог и, крепко обругавшись, засмеялся бессмысленным смехом пьяного.

— Развезло! — молвил Челкаш, снова усаживаясь против него на стул.

Гаврила все хохотал, тупыми глазами поглядывая на хозяина. И тот смотрел на него пристально, зорко и задумчиво. Он видел перед собою человека, жизнь которого попала в его волчьи лапы. Он, Челкаш, чувствовал себя в силе повернуть ее и так и этак. Он мог разломать ее, как игральную карту, и мог помочь ей установиться в прочные крестьянские рамки. Чувствуя себя господином другого, он думал о том, что этот парень никогда не изопьет такой чаши, какую судьба дала испить ему, Челкашу... И он завидовал и сожалел об этой молодой жизни, подсмеивался над ней и даже огорчался за нее, представляя, что она может еще раз попасть в такие руки, как его... И все чувства в конце концов слились у Челкаша в одно — нечто отеческое и хозяйственное. Малого было жалко, и малый был нужен. Тогда Челкаш взял Гаврилу под мышки и, легонько толкая его сзади коленом, вывел на двор трактира, где сложил на землю в тень от поленицы дров, а сам сел около него и закурил трубку. Гаврила немного повозился, помычал и заснул.

## II

— Ну, готов? — вполголоса спросил Челкаш у Гаврилы, вошедшегося с веслами.

— Сейчас! Уключина вот шатается, — можно разок вдарить веслом?

— Ни-ни! Никакого шуму! Надави ее руками крепче, она и войдет себе на место.

Оба они тихо возились с лодкой, привязанной к корме одной из целой флотилии парусных барок, нагруженных дубовой клепкой, и больших турецких фелюг, занятых пальмой, сандалом и толстыми кряжами кипариса.

Ночь была темная, по небу двигались толстые пласты лохматых туч, море было спокойно, черно и густо, как масло. Оно дышало влажным, соленым ароматом и ласково звучало, плескаясь



о борта судов, о берег, чуть-чуть покачивая лодку Челкаша. На далекое пространство от берега с моря подымались темные остовы судов, вонзая в небо острые мачты с разноцветными фонарями на вершинах. Море отражало огни фонарей и было усеяно массой желтых пятен. Они красиво трепетали на его бархате, мягком, матово-черном. Море спало здоровым, крепким сном работника, который сильно устал за день.

— Едем! — сказал Гаврила, спуская весла в воду.

— Есть! — Челкаш сильным ударом руля вытолкнул лодку в полосу воды между барками, она быстро поплыла по скользкой воде, и вода под ударами весел загоралась голубоватым фосфорическим сиянием, — длинная лента его, мягко сверкая, вилась за кормой.

— Ну, что голова? болит? — ласково спросил Челкаш.

— Страсть!.. как чугун гудит... Намочу ее водой сейчас.

— Зачем? Ты, на-ко вот, нутро помочи, может, скорее очухаешься, — и он протянул Гавриле бутылку.

— Ой ли? Господи благослови!..

Послышалось тихое бульканье.

— Эй ты! рад?.. будет! — остановил его Челкаш.

Лодка помчалась снова, бесшумно и легко вертясь среди судов... Вдруг она вырвалась из их толпы, и море — бесконечное, могучее — развернулось перед ними, уходя в синюю даль, где из вод его вздымались в небо горы облаков — лилово-сизых, с желтыми пуховыми каймами по краям, зеленоватых, цвета морской воды, и тех скучных, свинцовых туч, что бросают от себя такие тоскливые, тяжелые тени. Облака ползли медленно, то сливаясь, то обгоняя друг друга, мешали свои цвета и формы, поглощая сами себя и вновь возникая в новых очертаниях, величественные и угрюмые... Что-то роковое было в этом медленном движении бездушных масс. Казалось, что там, на краю моря, их бесконечно много и они всегда будут так равнодушно взползать на небо, задавшись злой целью не позволять ему никогда больше блеснуть над сонным морем миллионами своих золотых очей — разноцветных звезд, живых и мечтательно сияющих, возбуждая высокие желания в людях, которым дорог их чистый блеск.

— Хорошо море? — спросил Челкаш.

— Ничего! Только боязно в нем, — ответил Гаврила, ровно и сильно ударяя веслами по воде. Вода чуть слышно звенела и плескалась под ударами длинных весел и все блестела теплым голубым светом фосфора.

— Боязно! Экая дура!.. — насмешливо проворчал Челкаш.

Он, вор, любил море. Его кипучая нервная натура, жадная на впечатления, никогда не пресыщалась созерцанием этой темной широты, бескрайной, свободной и мощной. И ему было обидно слышать такой ответ на вопрос о красоте того, что он любил. Сидя на корме, он резал рулем воду и смотрел вперед спокойно, полный желания ехать долго и далеко по этой бархатной глади.

На море в нем всегда поднималось широкое, теплое чувство, — охватывая всю его душу, оно немного очищало ее от житейской скверны. Он ценил это и любил видеть себя лучшим тут, среди воды и воздуха, где думы о жизни и сама жизнь всегда теряют — первые — остроту, вторая — цену. По ночам над морем плавно носится мягкий шум его сонного дыхания, этот необъятный звук вливает в душу человека спокойствие и, ласково укрощая ее злые порывы, родит в ней могучие мечты...

— А снасть-то где? — вдруг спросил Гаврила, беспокойно оглядывая лодку.

Челкаш вздрогнул.

— Снасть? Она у меня на корме.

Но ему стало обидно лгать пред этим мальчишкой, и ему было жаль тех дум и чувств, которые уничтожил этот парень своим вопросом. Он рассердился. Знакомое ему острое жжение в груди и у горла передернуло его, он внушительно и жестко сказал Гавриле:

— Ты вот что, — сидишь, ну и сиди! А не в свое дело носа не суй. Наняли тебя грести, и греби. А коли будешь языком трепать, будет плохо. Понял?..

На минуту лодка дрогнула и остановилась. Весла остались в воде, вспенивая ее, и Гаврила беспокойно завожился на скамье.

— Греби!

Резкое ругательство потрясло воздух. Гаврила взмахнул веслами. Лодка точно испугалась и пошла быстрыми, нервными толчками, с шумом разрезая воду.

— Ровней!..

Челкаш привстал с кормы, не выпуская весла из рук и воткнув свои холодные глаза в бледное лицо Гаврилы. Изогнувшийся, наклоняясь вперед, он походил на кошку, готовую прыгнуть. Слышно было злое скрипение зубов и робкое пощелкивание какими-то костяшками.

— Кто кричит? — раздался с моря суровый окрик.

— Ну, дьявол, греби же!.. тише!.. убью, собаку!.. Ну же, греби!.. Раз, два! Пикни только!.. Р-разорву!.. — шипел Челкаш.

— Богородице... дево... — шептал Гаврила, дрожа и изнемогая от страха и усилий.

Лодка плавно повернулась и пошла назад к гавани, где огни фонарей столпились в разноцветную группу и видны были стволы мачт.

— Эй! кто орет? — донеслось снова.

Теперь голос был дальше, чем в первый раз. Челкаш успокоился.

— Сам ты и орешь! — сказал он по направлению криков и затем обратился к Гавриле, все еще шептавшему молитву:

— Ну, брат, счастье твое! Кабы эти дьяволы погнались за нами — конец тебе. Чуешь? Я бы тебя сразу — к рыбам!..

Теперь, когда Челкаш говорил спокойно и даже добродушно, Гаврила, все еще дрожащий от страха, взмолился:

— Слушай, отпусти ты меня! Христом прошу, отпусти! Высади куда-нибудь! Ай-ай-ай!.. Про-опал я совсем!.. Ну, вспомни бога, отпусти! Что я тебе? Не могу я этого!.. Не бывал я в таких делах... Первый раз... Господи! Пропаду ведь я! Как ты это, брат, обошел меня? а? Грешно тебе!.. Душу ведь губишь!.. Ну, дела-а...

— Какие дела? — сурово спросил Челкаш. — А? Ну, какие дела?

Его забавлял страх парня, и он наслаждался и страхом Гаврилы и тем, что вот какой он, Челкаш, грозный человек.

— Темные дела, брат... Пусти для бога!.. Что я тебе?.. а?.. Милый...

— Ну, молчи! Не нужен был бы, так я тебя не брал бы. Понял? — ну и молчи!

— Господи! — вздохнул Гаврила.

— Ну-ну!.. кукусь у меня! — оборвал его Челкаш.

Но Гаврила теперь уже не мог удержаться и, тихо всхлипывая, плакал, сморкался, ерзал по лавке, но греб сильно, отчаянно. Лодка мчалась стрелой. Снова на дороге встали темные корпуса судов, и лодка потерялась в них, волчком вертясь в узких полосах воды между бортами.

— Эй ты! слушай! Буде спросит кто о чем — молчи, коли жив быть хочешь! Понял?

— Эхма!.. — безнадежно вздохнул Гаврила в ответ на суровое приказание и горько добавил: — Судьбина моя пропадающая!..

— Не ной! — внушительно шепнул Челкаш.

Гаврила от этого шепота потерял способность соображать что-либо и помертвел, охваченный холодным предчувствием беды. Он машинально опускал весла в воду, откидывался назад, вынимал их, бросал снова и все время упорно смотрел на свои лапти.

Сонный шум волн гудел угрюмо и был страшен. Вот гавань... За ее гранитной стеной слышались людские голоса, плеск воды, песня и тонкие свистки.

— Стой! — шепнул Челкаш. — Бросай весла! Упирайся руками в стену! Тише, черт!..

Гаврила, цепляясь руками за скользкий камень, повел лодку вдоль стены. Лодка двигалась без шороха, скользя бортом по наростам на камне слизи.

— Стой!.. Дай весла! Дай сюда! А паспорт у тебя где? В котомке? Дай котомку! Ну, давай скорей! Это, мил друг, для того, чтобы ты не удрал... Теперь не удерешь. Без весел-то ты бы кое-как мог удрать, а без паспорта побоишься. Жди! Да смотри, коли ты пикнешь — на дне моря найду!..

И вдруг, уцепившись за что-то руками, Челкаш поднялся на воздух и исчез на стене.

Гаврила вздрогнул... Это вышло так быстро. Он почувствовал, как с него сваливается, сползает та проклятая тяжесть и страх, который он чувствовал при этом усатом, худом воре... Бежать теперь!.. И он, свободно вздохнув, оглянулся кругом. Слева

возвышался черный корпус без мачт, — какой-то огромный гроб, безлюдный и пустой... Каждый удар волны в его бок родил в нем глухое, гулкое эхо, похожее на тяжелый вздох. Справа над водой тянулась сырая каменная стена мола, как холодная, тяжелая змея. Сзади виднелись тоже какие-то черные остовы, а спереди, в отверстие между стеной и бортом этого гроба, видно было море, молчаливое, пустынное, с черными над ним тучами. Они медленно двигались, огромные, тяжелые, источая из тьмы ужас и готовые раздавить человека тяжестью своей. Все было холодно, черно, зловеще. Гавриле стало страшно. Этот страх был хуже страха, навеянного на него Челкашом; он охватил грудь Гаврилы крепким объятием, сжал его в робкий комок и приковал к скамье лодки...

А кругом все молчало. Ни звука, кроме вздохов моря. Тучи ползли по небу так же медленно и скучно, как и раньше, но их все больше вздымалось из моря, и можно было, глядя на небо, думать, что и оно тоже море, только море взволнованное и опрокинутое над другим, сонным, покойным и гладким. Тучи походили на волны, ринувшиеся на землю вниз кудрявыми седыми хребтами, и на пропасти, из которых вырваны эти волны ветром, и на зарождавшиеся валы, еще не покрытые зеленоватой пеной бешенства и гнева.

Гаврила чувствовал себя раздавленным этой мрачной тишиной и красотой и чувствовал, что он хочет видеть скорее хозяина. А если он там останется?... Время шло медленно, медленнее, чем ползли тучи по небу... И тишина, от времени, становилась все зловещей... Но вот за стеной мола слышался плеск, шорох и что-то похожее на шепот. Гавриле показалось, что он сейчас умрет...

— Эй! Спишь? Держи!.. осторожно!.. — раздался глухой голос Челкаша.

Со стены спускалось что-то кубическое и тяжелое. Гаврила принял это в лодку. Спустилось еще одно такое же. Затем поперек стены вытянулась длинная фигура Челкаша, откуда-то явились весла, к ногам Гаврилы упала его котомка, и тяжело дышавший Челкаш уселся на корме.

Гаврила радостно и робко улыбался, глядя на него.

— Устал? — спросил он.

— Не без того, теля! Ну-ка, гребни добре! Дуй во всю силу!.. Хорошо ты, брат, заработал! Полдела сделали. Теперь только у чертей между глаз проплыть, а там — получай денежки и ступай к своей Машке. Машка-то есть у тебя? Эй, дитятко?

— Н-нету! — Гаврила старался во всю силу, работая грудью, как мехами, и руками, как стальными пружинами. Вода под лодкой рокотала, и голубая полдса за кормой теперь была шире. Гаврила весь облился потом, но продолжал грести во всю силу. Пережив дважды в эту ночь такой страх, он теперь боялся пережить его в третий раз и желал одного: скорей кончить эту

проклятую работу, сойти на землю и бежать от этого человека, пока он в самом деле не убил или не завел его в тюрьму. Он решил не говорить с ним ни о чем, не противоречить ему, делать все, что велит, и, если удастся благополучно развязаться с ним, завтра же отслужить молебен Николаю-чудотворцу. Из его груди готова была вылиться страстная молитва. Но он сдерживался, пытался, как паровик, и молчал, исподлобья кидая взгляды на Челкаша.

А тот, сухой, длинный, нагнувшийся вперед и похожий на птицу, готовую лететь куда-то, смотрел во тьму вперед лодки ястребиными очами и, поводя хищным, горбатым носом, одной рукой цепко держал ручку руля, а другой теребил ус, вздрагивавший от улыбок, которые кривили его тонкие губы. Челкаш был доволен своей удачей, собой и этим парнем, так сильно запуганным им и превратившимся в его раба. Он смотрел, как старался Гаврила, и ему стало жалко, захотелось ободрить его.

— Эй! — усмехаясь, тихо заговорил он. — Что, здорово ты перепугался? а?

— Н-ничего!.. — выдохнул Гаврила и крикнул.

— Да уж теперь ты не очень наваливайся на весла-то. Теперь шабаш. Вот еще только одно бы место пройти... Отдохни-ка...

Гаврила послушно приостановился, вытер рукавом рубахи пот с лица и снова опустил весла в воду.

— Ну, гребь тише. Чтобы вода не разговаривала. Воротца одни надо миновать. Тише, тише... А то, брат, тут народы серьезные... Как раз из ружья пошालить могут. Такую шишку на лбу набьют, что и не охнешь.

Лодка теперь кралась по воде почти совершенно беззвучно. Только с весел капали голубые капли, и когда они падали в море, на месте их падения вспыхивало ненадолго тоже голубое пятнышко. Ночь становилась все темнее и молчаливей. Теперь небо уже не походило на взволнованное море — тучи расплылись по нем и покрыли его ровным, тяжелым пологом, низко опустившимся над водой и неподвижным. А море стало еще спокойней, черней, сильнее пахло теплым, соленым запахом и уж не казалось таким широким, как раньше.

— Эх, кабы дождь пошел! — прошептал Челкаш. — Так бы мы и проехали, как за занавеской.

Слева и справа от лодки из черной воды поднялись какие-то здания — баржи, неподвижные, мрачные и тоже черные. На одной из них двигался огонь, кто-то ходил с фонарем. Море, глядя их бока, звучало просительно и глухо, а они отвечали ему эхом, гулким и холодным, точно спорили, не желая уступить ему в чем-то.

— Кордоны!.. — чуть слышно шепнул Челкаш.

С момента, когда он велел Гавриле грести тише, Гаврилу снова охватило острое выжидательное напряжение. Он весь подался вперед, во тьму, и ему казалось, что он растет, — кости и

жилы вытягивались в нем с тупой болью, голова, заполненная одной мыслью, болела, кожа на спине вздрагивала, а в ноги вонзались маленькие, острые и холодные иглы. Глаза ломило от напряженного рассматриваенья тьмы, из которой — он ждал — вот-вот встанет нечто и гаркнет на них: «Стой, воры!..»

Теперь, когда Челкаш шепнул «кордоны!», Гаврила дрогнул: острая, жгучая мысль прошла сквозь него, прошла и задела по туго натянутым нервам, — он хотел крикнуть, позвать людей на помощь к себе... Он уже открыл рот и привстал немного на лавке, выпятил грудь, вобрал в нее много воздуха и открыл рот, — но вдруг, пораженный ужасом, ударившим его, как плетью, закрыл глаза и свалился с лавки.

... Впереди лодки, далеко на горизонте, из черной воды моря поднялся огромный огненно-голубой меч, поднялся, рассек тьму ночи, скользнул своим острием по тучам в небе и лег на грудь моря широкой, голубой полосой. Он лег, и в полосу его сияния из мрака выплыли невидимые до той поры суда, черные, молчаливые, обвешенные пышной ночной мглой. Казалось, они долго были на дне моря, увлеченные туда могучей силой бури, и вот теперь поднялись оттуда по велению огненного меча, рожденного морем, — поднялись, чтобы посмотреть на небо и на все, что поверх воды... Их такелаж обнимал собой мачты и казался цепкими водорослями, поднявшимися со дна вместе с этими черными гигантами, опутанными их сетью. И он опять поднялся кверху из глубин моря, этот страшный голубой меч, поднялся, сверкая, снова рассек ночь и снова лег уже в другом направлении. И там, где он лег, снова всплыли остовы судов, невидимых до его появления.

Лодка Челкаша остановилась и колебалась на воде, как бы недоумевая. Гаврила лежал на дне, закрыв лицо руками, а Челкаш толкал его ногой и шипел бешено, но тихо:

— Дурак, это крейсер таможенный. Это фонарь электрический!.. Вставай, дубина! Ведь на нас свет бросят сейчас!.. Погубишь, черт, и себя и меня! Ну!..

И, наконец, когда один из ударов каблуком сапога сильнее других опустился на спину Гаврилы, он вскочил, все еще боясь открыть глаза, сел на лавку и, ощупью схватив весла, двинул лодку.

— Тише! Убью ведь! Ну, тише!.. Эка дурак, черт тебя возьми!.. Чего ты испугался? Ну? Харя!.. Фонарь — только и всего. Тише веслами!.. Кислый черт!.. За контрабандой это следят. Нас не заденут — далеко отплыли они. Не бойся, не заденут. Теперь мы... — Челкаш торжествующе оглянулся кругом. — Кончено, выплыли!.. Фу-у!.. Н-ну, счастлив ты, дубина стоеростовая!..

Гаврила молчал, греб и, тяжело дыша, искаса смотрел туда, где все еще поднимался и опускался этот огненный меч. Он никак не мог поверить Челкашу, что это только фонарь. Холодное голубое сияние, разрубавшее тьму, заставляя море светиться

серебряным блеском, имело в себе нечто необъяснимое, и Гаврила опять впал в гипноз тоскливого страха. Он греб, как машина, и все сжимался, точно ожидал удара сверху, и ничего, никакого желания не было уже в нем — он был пуст и бездушен. Волнения этой ночи выглодали наконец из него все человеческое.

А Челкаш торжествовал. Его привычные к потрясениям нервы уже успокоились. У него сладострастно вздрагивали усы и в глазах разгорался огонек. Он чувствовал себя великолепно, пошвыстывал сквозь зубы, глубоко вдыхал влажный воздух моря, оглядывался кругом и добродушно улыбался, когда его глаза оставались на Гавриле.

Ветер пронесся и разбудил море, вдруг заигравшее частой зыбью. Тучи сделались как бы тоньше и прозрачней, но все небо было обложено ими. Несмотря на то что ветер, хотя еще легкий, свободно носился над морем, тучи были неподвижны и точно думали какую-то серую, скучную думу.

— Ну ты, брат, очухайся, пора! Ишь тебя как — точно из кожи-то твоей весь дух выдавили, один мешок костей остался! Конiec уж всему. Эй!..

Гавриле все-таки было приятно слышать человеческий голос, хоть это и говорил Челкаш.

— Я слышу, — тихо сказал он.

— То-то! Мякиш... Ну-ка, садись на руль, а я — на весла, устал, поди!

Гаврила машинально переменял место. Когда Челкаш, меняясь с ним местами, взглянул ему в лицо и заметил, что он шатается на дрожащих ногах, ему стало еще больше жаль парня. Он хлопнул его по плечу.

— Ну, ну, не робы! Заработал зато хорошо. Я те, брат, награжу богато. Четвертной билет хочешь получить? а?

— Мне — ничего не надо. Только на берег бы...

Челкаш махнул рукой, плюнул и принялся грести, далеко назад забрасывая весла своими длинными руками.

Море проснулось. Оно играло маленькими волнами, рождая их, украшая бахромой пены, сталкивая друг с другом и разбивая в мелкую пыль. Пена, тая, шипела и вздыхала, — и все кругом было заполнено музыкальным шумом и плеском. Тьма как бы стала живее.

— Ну, скажи мне, — заговорил Челкаш, — придешь ты в деревню, женишься, начнешь землю копать, хлеб сеять, жена детей народит, кормов не будет хватать; ну, будешь ты всю жизнь из кожи лезть... Ну, и что? Много в этом смаку?

— Какой уж смак! — робко и вздрагивая ответил Гаврила.

Кое-где ветер прорывал тучи, и из разрывов смотрели голубые кусочки неба с одной-двумя звездочками на них. Отраженные играющим морем, эти звездочки прыгали по волнам, то исчезая, то вновь блестя.



— Правее держи! — сказал Челкаш. — Скоро уж приедем. Н-да!.. Кончили. Работа важная! Вот видишь как?.. Ночь одна — и полтысячи я тяпнул!

— Полтысячи?! — недоверчиво протянул Гаврила, но сейчас же испугался и быстро спросил, толкая ногой тюки в лодке: — А это что же будет за вещь?

— Это — дорогая вещь. Все-то, коли по цене продать, так и за тысячу хватит. Ну, я не дорожусь... Ловко?

— Н-да-а?.. — вопросительно протянул Гаврила. — Кабы мне так-то вот! — вздохнул он, сразу вспомнив деревню, убогое хозяйство, свою мать и все то далекое, родное, ради чего он ходил на работу, ради чего так измучился в эту ночь. Его охватила волна воспоминаний о своей деревеньке, сбегавшей по крутой горе вниз, к речке, скрытой в роще берез, ветел, рябин, черемухи... — Эх, важно бы!.. — грустно вздохнул он.

— Н-да!.. Я думаю, ты бы сейчас по чугушке домой... Уж и полюбили бы тебя девки дома, а-ах как!.. Любую бери! Дом бы себе сгрозил — ну, для дома денег, положим, маловато...

— Это верно... для дому нехватка. У нас дорог лес-то.

— Ну что ж? Старый бы поправил. Лошадь как? есть?

— Лошадь? Она и есть, да больно стара, черт.

— Ну, значит, лошадь. Ха-арошую лошадь! Корову... Овец... Птицы разной... А?

— Не говори!.. Ох ты, господи! вот уж пожил бы!

— Н-да, брат, житьишко было бы ничего себе... Я тоже понимаю толк в этом деле. Было когда-то свое гнездо... Отец-то был из первых богатеев в селе...

Челкаш греб медленно. Лодка колыбалась на волнах, шаловливо плескавшихся о ее борта, еле двигалась по темному морю, а оно играло все резвей и резвей. Двое людей мечтали, покачиваясь на воде и задумчиво поглядывая вокруг себя. Челкаш начал наводить Гаврилу на мысль о деревне, желая немного ободрить и успокоить его. Сначала он говорил, посмеиваясь себе в усы, но потом, подавая реплики собеседнику и напоминая ему о радостях крестьянской жизни, в которых сам давно разочаровался, забыл о них и вспоминал только теперь, — он постепенно увлекся и вместо того, чтобы расспрашивать парня о деревне и ее делах, незаметно для себя стал сам рассказывать ему:

— Главное в крестьянской жизни — это, брат, свобода! Хозяин ты есть сам себе. У тебя твой дом — грош ему цена — да он твой. У тебя земля своя — и того ее горсть — да она твоя! Король ты на своей земле!.. У тебя есть лицо... Ты можешь от всякого требовать уважения к себе... Так ли? — воодушевленно закончил Челкаш.

Гаврила глядел на него с любопытством и тоже воодушевлялся. Он во время этого разговора успел уже забыть, с кем имеет дело, и видел перед собой такого же крестьянина, как и сам он, прилепленного навеки к земле потом многих поколений, связанного с ней воспоминаниями детства, самовольно отлучившегося



от нее и от забот о ней и понесшего за эту отлучку должное наказание.

— Это, брат, верно! Ах, как верно! Вот гляди-ка на себя, что ты теперь такое без земли? Землю, брат, как мать, не забудешь надолго.

Челкаш одумался... Он почувствовал это раздражающее жжение в груди, являвшееся всегда, чуть только его самолюбие — самолюбие бесшабашного удалца — бывало задето кем-либо, и особенно тем, кто не имел цены в его глазах.

— Замолол!..— сказал он свирепо,— ты, может, думал, что я все это всерьез... Держи карман шире!

— Да чудак-человек!..— снова оробел Гаврила.— Разве я про тебя говорю? Чай, таких-то, как ты,— много! Эх, сколько несчастного народу на свете!.. Шатающихся.

— Садись, тюлень, в весла! — кратко скомандовал Челкаш, почему-то сдержав в себе целый поток горячей ругани, хлынувшей ему к горлу.

Они опять переменились местами, причем Челкаш, перелезая на корму через тюки, ощутил в себе острое желание дать Гавриле пинка, чтобы он слетел в воду.

Короткий разговор смолк, но теперь даже от молчания Гаврилы на Челкаша веяло деревней... Он вспоминал прошлое, забывая править лодкой, повернутой волнением и плывшей куда-то в море. Волны точно понимали, что эта лодка потеряла цель, и, все выше подбрасывая ее, легко играли ею, вспыхивая под веслами своим ласковым голубым огнем. А перед Челкашом быстро неслись картины прошлого, далекого прошлого, отделенного от настоящего целой стеной из одиннадцати лет босяцкой жизни. Он успел посмотреть себя ребенком, свою деревню, свою мать, краснощекую, пухлую женщину, с добрыми серыми глазами, отца — рыжебородого гиганта с суровым лицом; видел себя женихом и видел жену, черноглазую Анфису, с длинной косой, полную, мягкую, веселую, снова себя, красавцем, гвардейским солдатом; снова отца, уже седого и согнутого работой, и мать, морщинистую, осевшую к земле; посмотрел и картину встречи его деревней, когда он возвратился со службы; видел, как гордился перед всей деревней отец своим Григорием, усатым, здоровым солдатом, ловким красавцем... Память, этот бич несчастных, оживляет даже камни прошлого и даже в яд, выпитый некогда, подливает капли меда...

Челкаш чувствовал себя овечьим примиряющей, ласковой струей родного воздуха, донесшего с собой до его слуха и ласковые слова матери, и солидные речи истового крестьянина-отца, много забытых звуков и много сочного запаха матушки-земли, только что оттаявшей, только что вспаханной и только что покрытой изумрудным шелком озими... Он чувствовал себя одиноким, вырванным и выброшенным навсегда из того порядка жизни, в котором выработалась та кровь, что течет в его жилах.

— Эй! а куда же мы едем? — спросил вдруг Гаврила.

Челкаш дрогнул и оглянулся тревожным взором хищника.

— Ишь черт занес!.. Гребни-ка погуще...

— Задумался? — улыбаясь, спросил Гаврила.

— Устал...

— Так теперь мы, значит, уж не попадемся с этим? — Гаврила ткнул ногой в тюки.

— Нет... Будь покоен. Сейчас вот сдам и денежки получу...  
Н-да!

— Пять сотен?

— Не меньше.

— Это, тово,— сумма! Кабы мне, горюну!.. Эх, и сыграл бы я песенку с ними!..

— По крестьянству?

— Никак больше! Сейчас бы...

И Гаврила полетел на крыльях мечты. А Челкаш молчал. Усы у него обвисли, правый бок, захлестанный волнами, был мокр, глаза ввалились и потеряли блеск. Все хищное в его фигуре обмякло, стухшее, приниженное задумчивостью, смотревшей даже из складок его грязной рубахи.

Он круто повернул лодку и направил ее к чему-то черному, высовывавшемуся из воды.

Небо снова все покрылось тучами, и посыпался дождь, мелкий, теплый, весело звякавший, падая на хребты волн.

— Стой! Тише! — скомандовал Челкаш.

Лодка стукнулась носом о корпус барки.

— Спят, что ли, черти?..— ворчал Челкаш, цепляясь багром за какие-то веревки, спускавшиеся с борта.— Трап давай!.. Дождь пошел еще, не мог раньше-то! Эй вы, губки!.. Эй!..

— Селкаш это? — раздалось сверху ласковое мурлыканье.

— Ну, спускай трап!

— Калимера, Селкаш!

— Спускай трап, копченый дьявол! — взревел Челкаш.

— О, сердытый пришел сегодня... Элоу!

— Лезь, Гаврила! — обратился Челкаш к товарищу.

В минуту они были на палубе, где три темных бородатых фигуры, оживленно болтая друг с другом на странном сюсюкающем языке, смотрели за борт в лодку Челкаша. Четвертый, завернутый в длинную хламиду, подошел к нему и молча пожал ему руку, потом подозрительно оглянул Гаврилу.

— Припаси к утру деньги,— коротко сказал ему Челкаш.— А теперь я спать иду. Гаврила, идем! Есть хочешь?

— Спать бы...— ответил Гаврила и через пять минут храпел, а Челкаш, сидя рядом с ним, примерял себе на ногу чей-то сапог и, задумчиво сплевывая в сторону, грустно свистел сквозь зубы. Потом он вытянулся рядом с Гаврилой, заложив руки под голову, поводя усами.

Барка тихо покачивалась на игравшей воде, где-то поскрипывало дерево жалобным звуком, дождь мягко сыпался на палубу, и плескались волны о борта... Все было грустно и звучало, как колыбельная песнь матери, не имеющей надежд на счастье своего сына...

Челкаш, оскалив зубы, приподнял голову, огляделся вокруг и, прошептав что-то, снова улегся... Раскинув ноги, он стал похож на большие ножницы.

### III

Он проснулся первым, тревожно оглянулся вокруг, сразу успокоился и посмотрел на Гаврилу, еще спавшего. Тот сладко всхрапывал и во сне улыбался чему-то всем своим детским, здоровым, загорелым лицом. Челкаш вздохнул и полез вверх по узкой веревочной лестнице. В отверстие трюма смотрел свинцовый кусок неба. Было светло, но по-осеннему скучно и серо.

Челкаш вернулся часа через два. Лицо у него было красно, усы лихо закручены кверху. Он был одет в длинные крепкие сапоги, в куртку, в кожаные штаны и походил на охотника. Весь его костюм был потерт, но крепок, и очень шел к нему, делая его фигуру шире, скрадывая его костлявость и придавая ему воинственный вид.

— Эй, теленок, вставай!.. — толкнул он ногой Гаврилу.

Тот вскочил и, не узнавая его со сна, испуганно уставился на него мутными глазами. Челкаш захохотал.

— Ишь ты какой!.. — широко улыбнулся наконец Гаврила. — Барином стал!

— У нас это скоро. Ну и пуглив же ты! Сколько раз умирать-то вчера ночью собирался?

— Да ты сам посуди, впервой я на такое дело! Ведь можно было душу загубить на всю жизнь!

— Ну, а еще раз поехал бы? а?

— Еще?.. Да ведь это — как тебе сказать? Из-за какой корысти?.. вот что!

— Ну, ежели бы две радужных?

— Два ста рублей, значит? Ничего... Это можно...

— Стой! А как душу-то загубишь?..

— Да ведь, может... и не загубишь! — улыбнулся Гаврила.

— Не загубишь, а человеком на всю жизнь сделаешься.

Челкаш весело хохотал.

— Ну, ладно! будет шутки шутить. Едем на берег...

И вот они снова в лодке. Челкаш на руле, Гаврила на веслах. Над ними небо, серое, ровно затянутое тучами, и лодкой играет мутно-зеленое море, шумно подбрасывая ее на волнах, пока еще мелких, весело бросающих в борта светлые, соленые брызги. Далеко по носу лодки видна желтая полоса песчаного берега, а за кормой уходит вдаль море, изрытое стаями волн, убранных

пышной белой пеной. Там же, вдали, видно много судов; далеко влево — целый лес мачт и белые груды домов города. Оттуда по морю льется глухой гул, рокошущий и вместе с плеском волн создающий хорошую, сильную музыку... И на все наброшена тонкая пелена пепельного тумана, отдаляющего предметы друг от друга...

— Эх, разыграется к вечеру-то добре! — кивнул Челкаш головой на море.

— Буря? — спросил Гаврила, мощно бороздя волны веслами. Он был уже мокр с головы до ног от этих брызг, разбрасываемых по морю ветром.

— Эге!.. — подтвердил Челкаш.

Гаврила пытливо посмотрел на него...

— Ну, сколько ж тебе дали? — спросил он наконец, видя, что Челкаш не собирается начать разговора.

— Вот! — сказал Челкаш, протягивая Гавриле что-то, вынутое из кармана.

Гаврила увидал пестрые бумажки, и все в его глазах приняло яркие, радужные оттенки.

— Эх!.. А я ведь думал: врал ты мне!.. Это — сколько?

— Пятьсот сорок!

— Л-ловко!.. — прошептал Гаврила, жадными глазами провожая пятьсот сорок, снова спрятанные в карман. — Э-эх-ма!.. Кабы такие деньги!.. — И он угнетенно вздохнул.

— Гульнем мы с тобой, парнюга! — с восхищением вскрикнул Челкаш. — Эх, хватим... Не думай, я тебе, брат, отделю... Сорок отделю! а? Доволен? Хочешь, сейчас дам?

— Коли не обидно тебе — что же? Я приму!

Гаврила весь трепетал от ожидания, острого, сосавшего ему грудь.

— Ах ты, чертова кукла! Приму! Прими, брат, пожалуйста! Очень я тебя прошу, прими! Не знаю я, куда мне такую кучу денег девать! Избавь ты меня, прими-ка, на!..

Челкаш протянул Гавриле несколько бумажек. Тот взял их дрожащей рукой, бросил весла и стал прятать куда-то за пазуху, жадно сощутив глаза, шумно втягивая в себя воздух, точно пил что-то жгучее. Челкаш с насмешливой улыбкой поглядывал на него. А Гаврила уже снова схватил весла и греб нервно, торопливо, точно пугаясь чего-то и опустив глаза вниз. У него вздрагивали плечи и уши.

— А жаден ты!.. Нехорошо... Впрочем, что же?.. Крестьянин... — задумчиво сказал Челкаш.

— Да ведь с деньгами-то что можно сделать!.. — воскликнул Гаврила, вдруг весь вспыхивая страстным возбуждением. И он отрывисто, торопясь, точно догоняя свои мысли и с лету хватая слова, заговорил о жизни в деревне с деньгами и без денег. Почет, довольство, веселье!..

Челкаш слушал его внимательно, с серьезным лицом и с глазами, сощуренными какой-то думой. По временам он улыбался довольной улыбкой.

— Приехали! — прервал он речь Гаврилы.

Волна подхватила лодку и ловко ткнула ее в песок.

— Ну, брат, теперь кончено. Лодку нужно вытащить подальше, чтобы не смыло. Придут за ней. А мы с тобой — прощай!.. Отсюда до города верст восемь. Ты что, опять в город вернешься?а?

На лице Челкаша сияла добродушно-хитрая улыбка, и весь он имел вид человека, задумавшего нечто весьма приятное для себя и неожиданное для Гаврилы. Засунув руку в карман, он шелестел там бумажками.

— Нет... я... не пойду... я... — Гаврила задыхался и давился чем-то.

Челкаш посмотрел на него.

— Что это тебя корчит? — спросил он.

— Так... — Но лицо Гаврилы то краснело, то делалось серым, и он мялся на месте, не то желая броситься на Челкаша, не то разрывааемый иным желанием, исполнить которое ему было трудно.

Челкашу стало не по себе при виде такого возбуждения в этом парне. Он ждал, чем оно разразится.

Гаврила начал как-то странно смеяться смехом, похожим на рыдание. Голова его была опущена, выражения его лица Челкаш не видал, смутно видны были только уши Гаврилы, то красневшие, то бледневшие.

— Ну ты к черту! — махнул рукой Челкаш. — Влюбился ты в меня, что ли? Мнется, как девка!.. Али расставанье со мной тошно? Эй, сосун! Говори, что ты? А то уйду я!..

— Уходишь?! — звонко крикнул Гаврила.

Песчаный и пустынный берег дрогнул от его крика, и намытые волнами моря желтые волны песку точно всколыхнулись. Дрогнул и Челкаш. Вдруг Гаврила сорвался с своего места, бросился к ногам Челкаша, обнял их своими руками и дернул к себе. Челкаш пошатнулся, грузно сел на песок и, скрипнув зубами, резко взмахнул в воздухе своей длинной рукой, сжатой в кулак. Но он не успел ударить, остановленный стыдливым и просительным шепотом Гаврилы:

— Голубчик!.. Дай ты мне эти деньги! Дай, Христа ради! Что они тебе?.. Ведь в одну ночь — только в ночь... А мне — года нужны... Дай — молиться за тебя буду! Вечно — в трех церквях — о спасении души твоей!.. Ведь ты их на ветер... а я бы — в землю! Эх, дай мне их! Что в них тебе?.. Али тебе дорого? Ночь одна — и богат! Сделай доброе дело! Пропавший ведь ты... Нет тебе пути... А я бы — ох! Дай ты их мне!

Челкаш, испуганный, изумленный и озлобленный, сидел на песке, откинувшись назад и упираясь в него руками, сидел, молчал и страшно таращил глаза на парня, уткнувшегося

головой в его колени и шептавшего, задыхаясь, свои мольбы. Он оттолкнул его, наконец вскочил на ноги и, сунув руку в карман, бросил в Гаврилу бумажки.

— Нá! Жри... — крикнул он, дрожа от возбуждения, острой жалости и ненависти к этому жадному рабу. И, бросив деньги, он почувствовал себя героем.

— Сам я хотел тебе больше дать. Разжалобился вчера я, вспомнил деревню... Подумал: дай помогу парню. Ждал я, что ты сделаешь, попросишь — нет? А ты... Эх, войлок! Нищий!.. Разве из-за денег можно так истязать себя? Дурак! Жадные черти!.. Себя не помнят... За пятак себя продаете!..

— Голубчик!.. Спаси Христос тебя! Ведь это теперь у меня что?.. я теперь... богач!.. — визжал Гаврила в восторге, вздрагивая и пряча деньги за пазуху. — Эх ты, милый!.. Вовек не забуду!.. Никогда!.. И жене и детям закажу — молись!

Челкаш слушал его радостные вопли, смотрел на сиявшее, искаженное восторгом жадности лицо и чувствовал, что он — вор, гуляка, оторванный от всего родного — никогда не будет таким жадным, низким, не помнящим себя. Никогда не станет таким!.. И эта мысль и ощущение, наполняя его сознанием своей свободы, удерживали его около Гаврилы на пустынном морском берегу.

— Осчастливил ты меня! — кричал Гаврила и, схватив руку Челкаша, тыкал ею себе в лицо.

Челкаш молчал и по-волчьи скалил зубы. Гаврила все изливался:

— Ведь я что думал? Едем мы сюда... думаю... хвачу я его — тебя — веслом... рраз!.. денежки — себе, его — в море... тебя-то... а? Кто, мол, его хватится? И найдут, не станут допытываться — как да кто. Не такой, мол, он человек, чтоб из-за него шум подымать!.. Ненужный на земле! Кому за него встать?

— Дай сюда деньги!.. — рявкнул Челкаш, хватая Гаврилу за горло...

Гаврила рванулся раз, два, — другая рука Челкаша змеей обвилась вокруг него... Треск разрываемой рубахи — и Гаврила лежал на песке, безумно вытаращив глаза, цапаясь пальцами рук за воздух и взмахивая ногами. Челкаш, прямой, сухой, хищный, зло оскалив зубы, смеялся дробным, едким смехом, и его усы нервно прыгали на угловатом, остром лице. Никогда, за всю жизнь его не били так больно, и никогда он не был так озлоблен.

— Что, счастлив ты? — сквозь смех спросил он Гаврилу и, повернувшись к нему спиной, пошел прочь, по направлению к городу. Но он не сделал пяти шагов, как Гаврила кошкой изогнулся, вскочил на ноги и, широко размахнувшись в воздухе, бросил в него круглый камень, злобно крикнув:

— Рраз!..

Челкаш крикнул, схватился руками за голову, качнулся вперед, повернулся к Гавриле и упал лицом в песок. Гаврила замер, глядя на него. Вот он шевельнул ногой, попробовал поднять

голову и вытянулся, вздрогнув, как струна. Тогда Гаврила бросился бежать вдаль, где над туманной степью висела мохнатая черная туча и было темно. Волны шуршали, избегая на песок, сливаясь с ним и снова избегая. Пена шипела, и брызги воды летали по воздуху.

Посыпался дождь. Сначала редкий, он быстро перешел в плотный, крупный, лившийся с неба тонкими струйками. Они сплетали целую сеть из ниток воды — сеть, сразу закрывшую собой даль степи и даль моря. Гаврила исчез за ней. Долго ничего не было видно, кроме дождя и длинного человека, лежавшего на песке у моря. Но вот из дождя снова появился бегущий Гаврила, он летел птицей; подбежав к Челкашу, упал перед ним и стал ворочать его на земле. Его рука окунулась в теплую красную слизь... Он дрогнул и отшатнулся с безумным, бледным лицом.

— Брат, встань-кося! — шептал он под шум дождя в ухо Челкашу.

Челкаш очнулся и толкнул Гаврилу от себя, хрипло сказав:

— Поди прочь!..

— Брат! Прости!.. дьявол это меня... — дрожа шептал Гаврила, целуя руку Челкаша.

— Иди... Ступай... — хрипел тот.

— Сними грех с души!.. Родной! Прости!..

— Про... уйди ты!.. уйди к дьяволу! — вдруг крикнул Челкаш и сел на песке. Лицо у него было бледное, злое, глаза мутны и закрывались, точно он сильно хотел спать. — Чего тебе еще? Сделал свое дело... иди! Пошел! — И он хотел толкнуть убитого горем Гаврилу ногой, но не смог и снова свалился бы, если бы Гаврила не удержал его, обняв за плечи. Лицо Челкаша было теперь в уровень с лицом Гаврилы. Оба были бледны и страшны.

— Тыфу! — плюнул Челкаш в широко открытые глаза своего работника.

Тот смиренно вытерся рукавом и прошептал:

— Что хошь делай... Не отвечу словом. Прости для Христа!

— Гнус!.. И блудить-то не умеешь!.. — презрительно крикнул Челкаш, сорвал из-под своей куртки рубаху и молча, изредка поскрипывая зубами, стал обвязывать себе голову. — Деньги взял? — сквозь зубы процедил он.

— Не брал я их, брат! Не надо мне!.. беда от них!..

Челкаш сунул руку в карман своей куртки, вытащил пачку денег, одну радужную бумажку положил обратно в карман, а все остальные кинул Гавриле.

— Возьми и ступай!

— Не возьму, брат... Не могу! Прости!

— Бери, говорю!.. — взревел Челкаш, страшно вращая глазами.

— Прости!.. Тогда возьму... — робко сказал Гаврила и пал в ноги Челкаша на сырой песок, щедро поливаемый дождем.



— Врешь, возьмешь, гнус! — уверенно сказал Челкаш, и, с усилием подняв его голову за волосы, он сунул ему деньги в лицо.

— Бери! бери! Не даром работал! Бери, не бойсь! Не стыдись, что человека чуть не убил! За таких людей, как я, никто не взыщет. Еще спасибо скажут, как узнают. Н<sup>а</sup>, бери!

Гаврила видел, что Челкаш смеется, и ему стало легче. Он крепко сжал деньги в руке.

— Брат! а простишь меня? Не хошь? а? — слезливо спросил он.

— Родимой!.. — в тон ему ответил Челкаш, подымаясь на ноги и покачиваясь. — За что? Не за что! Сегодня ты меня, завтра я тебя...

— Эх, брат, брат!.. — скорбно вздохнул Гаврила, качая головой.

Челкаш стоял перед ним и странно улыбался, а тряпка на его голове, понемногу краснея, становилась похожей на турецкую феску.

Дождь лил, как из ведра. Море глухо роптало, волны бились о берег бешено и гневно.

Два человека помолчали.

— Ну, прощай! — насмешливо сказал Челкаш, пускаясь в путь.

Он шатался, у него дрожали ноги, и он так странно держал голову, точно боялся потерять ее.

— Прости, брат!.. — еще раз попросил Гаврила.

— Ничего! — холодно ответил Челкаш, пускаясь в путь.

Он пошел, пошатываясь и все поддерживая голову ладонью левой руки, а правой тихо дергая свой бурый ус.

Гаврила смотрел ему вслед до поры, пока он не исчез в дожде, все гуще лившем из туч тонкими, бесконечными струйками и окутывавшем степь непроницаемой стального цвета мглой.

Потом Гаврила снял свой мокрый картуз, перекрестился, посмотрел на деньги, зажатые в ладони, свободно и глубоко вздохнул, спрятал их за пазуху и широкими, твердыми шагами пошел берегом в сторону, противоположную той, где скрылся Челкаш.

Море выло, швыряло большие, тяжелые волны на прибрежный песок, разбивая их в брызги и пену. Дождь ретиво сек воду и землю... ветер ревел... Все кругом наполнялось воем, ревом, гулом... За дождем не видно было ни моря, ни неба.

Скоро дождь и брызги волн смыли красное пятно на том месте, где лежал Челкаш, смыли следы Челкаша и следы молодого парня на прибрежном песке... И на пустынном берегу моря не осталось ничего в воспоминание о маленькой драме, разыгравшейся между двумя людьми.



## МОЙ СПУТНИК

### I

Встретил я его в одесской гавани. Дня три кряду мое внимание привлекала эта коренастая, плотная фигура и лицо восточного типа, обрамленное красивой бородкой. Он то и дело мелькал предо мной: я видел, как он по целым часам стоял на граните мола, засунув в рот набалдашник трости и тоскливо разглядывая мутную воду гавани черными миндалевидными глазами; десять раз в день он проходил мимо меня походкой беспечного человека. Кто он?.. Я стал следить за ним. Он же, как бы нарочно поддразнивая меня, все чаще и чаще попадался мне на глаза, и наконец я привык различать издали его модный, клетчатый, светлый костюм и черную шляпу, его ленивую походку и тупой, скучный взгляд. Он был положительно необъясним здесь, в гавани, среди свиста пароходов и локомотивов, звона цепей, криков рабочих, в бешено-нервной сутолоке порта, охватывавшей человека со всех сторон. Все люди были озабочены, утомлены, все бегали, в пыли, в поту, кричали, ругались. Среди трудовой сутолоки медленно расхаживала эта странная фигура с мертвенно-скучным лицом, равнодушная ко всему, всем чужая.

Наконец, уже на четвертый день, в обед, я натолкнулся на него и решил во что бы то ни стало узнать, кто он. Расположившись неподалеку от него с арбузом и хлебом, я стал есть и рассматривать его, придумывая, — как бы поделикатнее завязать с ним беседу?

Он стоял, прислонясь к гряде цыбиков чая, и, бесцельно поглядывая вокруг себя, барабанил пальцами по своей трости, как по флейте.

Мне, человеку в костюме босяка, с лямкой грузчика на спине и перепачканному в угольной пыли, трудно было вызвать его, франта, на разговор. Но, к моему удивлению, я увидел, что он не отрывает глаз от меня и они разгораются у него неприятным,

жадным, животным огнем. Я решил, что объект моих наблюдений голоден, и, быстро оглянувшись вокруг, спросил его тихонько:

— Хотите есть?

Он вздрогнул, алчно оскалил чуть не сотню плотных, здоровых зубов и тоже подозрительно оглянулся.

На нас никто не обращал внимания. Тогда я сунул ему поларбуза и кусок пшеничного хлеба. Он схватил все это и исчез, присев за груды товара. Иногда оттуда высовывалась его голова в шляпе, сдвинутой на затылок, открывавшей смуглый, потный лоб. Его лицо блестело от широкой улыбки, и он почему-то подмигивал мне, ни на секунду не переставая жевать. Я сделал ему знак подождать меня, ушел купить мяса, купил, принес, отдал ему и стал около ящиков так, что совершенно скрыл франта от посторонних взглядов. До этого он ел и все хищно оглядывался, точно боялся, что у него отнимут кусок; теперь он стал есть спокойнее, но все-таки так быстро и жадно, что мне стало больно смотреть на этого изголодавшегося человека, и я повернулся спиной к нему.

— Благодарю! Очэн благодарю! — Он потряс меня за плечо, потом схватил мою руку, стиснул ее и тоже жестоко стал трясти.

Через пять минут он уже рассказывал мне, кто он.

Грузин, князь Шакро Птадзе, один сын у отца, богатого кутаисского помещика, он служил конторщиком на одной из станций Закавказской железной дороги и жил вместе с товарищем. Этот товарищ вдруг исчез, захватив с собой деньги и ценные вещи князя Шакро, и вот князь пустился догонять его. Как-то случайно он узнал, что товарищ взял билет до Батума; князь Шакро отправился туда же. Но в Батуме оказалось, что товарищ поехал в Одессу. Тогда князь Шакро взял у некоего Вано Сванидзе, парикмахера, — тоже товарища, одних лет с собой, но не похожего по приметам, — паспорт и двинулся в Одессу. Тут он заявил полиции о краже, ему обещали найти, он ждал две недели, проел все свои деньги и вот уже вторые сутки не ел ни крошки.

Я слушал его рассказ, перемешанный с ругательствами, смотрел на него, верил ему, и мне было жалко мальчика, — ему шел двадцатый год, а по наивности можно было дать еще меньше. Часто и с глубоким негодованием он упоминал о крепкой дружбе, связывавшей его с вором-товарищем, укравшим такие вещи, за которые суровый отец Шакро наверное «зарэжет» сына «кынжалом», если сын не найдет их. Я подумал, что, если не помочь этому малому, жадный город засосет его. Я знал, какие иногда ничтожные случайности пополняют класс босяков; а тут для князя Шакро были налицо все шансы попасть в это почтенное, но не чтимое сословие. Мне захотелось помочь ему. Я предложил Шакро пойти к полицеймейстеру просить билет, он замаялся и сообщил мне, что не пойдет. Почему? Оказалось, что он не заплатил денег хозяину номеров, в которых стоял, а когда с него потребовали

денег, он ударил кого-то; потом он скрылся и теперь справедливо полагает, что полиция не скажет ему спасибо за неплатеж этих денег и за удар; да, кстати, он и нетвердо помнит — один удар или два, три или четыре нанес он.

Положение осложнилось. Я решил, что буду работать, пока не заработаю достаточно денег для него на проезд до Батума, но — увы! — оказалось, что это случилось бы не очень скоро, ибо проголодавшийся Шакро ел за троих и больше.

В то время, вследствие наплыва «голодающих», поденные цены в гавани стояли низко, и из восьмидесяти копеек заработка мы вдвоем проедали шестьдесят. К тому же, еще до встречи с князем, я решил пойти в Крым, и мне не хотелось оставаться надолго в Одессе. Тогда я предложил князю Шакро пойти со мной пешком на таких условиях: если я не найду ему попутчика до Тифлиса, то сам доведу его, а если найду, мы распустимся.

Князь посмотрел на свои щегольские ботинки, на шляпу, на брюки, погладил курточку, подумал, вздохнул не раз и наконец согласился. И вот мы с ним отправились из Одессы в Тифлис.

## II

Когда мы пришли в Херсон, я знал моего спутника как мало-го наивно-дикого, крайне неразвитого, веселого — когда он был сыт, унылого — когда голоден, знал его как сильное, добродушное животное.

Дорогой он рассказывал мне о Кавказе, о жизни помещиков грузин, о их забавах и отношении к крестьянам. Его рассказы были интересны, своеобразно красивы, но рисовали предо мной рассказчика крайне нелестно для него. Рассказывает он, например, такой случай:

К одному богатому князю съехались соседи на пирушку; пили вино, ели чурек и шашлык, ели лаваш и пилав, и потом князь повел гостей в конюшню. Оседлали коней. Князь взял себе лучшего и пустил его по полю. Горячий конь был! Гости хвалят его стати и быстроту, князь снова скачет, но вдруг в поле выносятся крестьянин на белой лошади и обгоняет коня князя, — обгоняет и... гордо смеется. Стыдно князю перед гостями!.. Сдвинул он сурово брови, подозвал жестом крестьянина, и когда тот подъехал к нему, то ударом шашки князь срубил ему голову и выстрелом из револьвера в ухо убил коня, а потом объявил о своем поступке властям. И его осудили в каторгу...

Шакро передает мне это тоном сожаления о князе. Я пытаюсь ему доказать, что жалеть тут нечего, но он поучительно говорит мне:

— Кназей мало, крестьян много. За одного крестьянина нельзя судить князя. Что такое крестьянин? Вот! — Шакро показывает мне комок земли. — А князь — как звезда!

Мы спорим, он сердится. Когда он сердится, то оскаливает зубы, как волк, и лицо у него делается острым.

— Молчи, Максим! Ты не знаешь кавказской жизни! — кричит он мне.

Мои доводы бессильны пред его непосредственностью, и то, что для меня было ясно, ему — смешно. Когда я ставил его в тупик доказательствами превосходства моих взглядов, он не задумывался, а говорил мне:

— Ступай на Кавказ, живи там. Увидишь, что я сказал правду. Все так делают, значит — так нужно. Зачем я буду тебе верить, если ты один только говоришь — это не так, а тысячи говорят — это так?

Тогда я молчал, понимая, что нужно возражать не словами, а фактами человеку, который верит в то, что жизнь, какова она есть, вполне законна и справедлива. Я молчал, а он с восхищением, чмокая губами, говорил о кавказской жизни, полной дикой красоты, полной огня и оригинальности. Эти рассказы, интересующая и увлекающая меня, в то же время возмущали и бесили своей жестокостью, поклонением богатству и грубой силе. Как-то раз я спросил его: знает ли он учение Христа?

— Канэчно! — пожав плечами, ответил он.

Но далее оказалось, что он знает столько: был Христос, который восстал против еврейских законов, и евреи распяли его за это на кресте. Но он был бог и потому не умер на кресте, а вознесся на небо и тогда дал людям новый закон жизни...

— Какой? — спросил я.

Он посмотрел на меня с насмешливым недоумением и спросил:

— Ты христиэнин? Ну! Я тоже христиэнин. На зэмлэ почти все христиэне. Ну, что ты спрашиваешь? Видишь, как все живут?.. Это и есть закон Христа.

Я, возбужденный, стал рассказывать ему о жизни Христа. Он слушал сначала со вниманием, потом оно постепенно ослабевало и наконец заключилось зевком.

Видя, что меня не слушает его сердце, я снова обращался к его уму и говорил с ним о выгодах взаимопомощи, о выгодах знания, о выгодах законности, о выгодах, все о выгодах... Но мои доводы разбивались в пыль о каменную стену его миропонимания.

— Кто силен, тот сам себе закон! Ему не нужно учиться, он, и слепой, найдет свой дорога! — лениво возразил мне князь Шакро.

Он умел быть верным самому себе. Это возбуждало во мне уважение к нему; но он был дик, жесток, и я чувствовал, как у меня иногда вспыхивала ненависть к Шакро. Однако я не терял надежды найти точку соприкосновения между нами, почву, на которой мы оба могли бы сойтись и понять друг друга.

Мы прошли Перекоп и подходили к Яйле. Я мечтал о южном берегу Крыма, князь, напевая сквозь зубы странные песни, был хмур. У нас вышли все деньги, заработать пока было негде. Мы

стремились в Феодосию, там в то время начинались работы по устройству гавани.

Князь говорил мне, что и он тоже будет работать и что, заработав денег, мы поедем морем до Батума. В Батуме у него много знакомых, и он сразу найдет мне место дворника или сторожа. Он хлопал меня по плечу и покровительственно говорил, сладко прищелкивая языком:

— Я тэбэ устрою т-такую жизнь! Цце, цце! Вино будэшъ пить — сколько хочэшъ, баранины — сколько хочэшъ! Жэнишъся на грузынкэ, на толстой грузынкэ, цце, цце, цце!.. Она тэбэ будэт лаваш печь, дэтэй родить, много дэтэй, цце, цце!

Это «цце, цце!» сначала удивляло меня, потом стало раздражать, потом уже доводило до тоскливого бешенства. В России таким звуком подманивают свиней, на Кавказе им выражают восхищение, сожаление, удовольствие, горе.

Шакро уже сильно потрепал свой модный костюм, и его ботинки лопнули во многих местах. Трость и шляпу мы продали в Херсоне. Вместо шляпы он купил себе старую фуражку железнодорожного чиновника.

Когда он в первый раз надел ее на голову, — надел сильно набекрень, — то спросил меня:

— Идэт на мэна? Красыво?

### III

И вот мы в Крыму, прошли Симферополь и направились к Ялте.

Я шел в немом восхищении перед красотой природы этого куса земли, ласкаемого морем. Князь вздыхал, горевал и, бросая вокруг себя печальные взгляды, пытался набивать свой пустой желудок какими-то странными ягодами. Знакомство с их питательными свойствами не всегда сходило ему с рук благополучно, и часто он со злым юмором говорил мне:

— Если мэна вывэрнэт наизнанку, как пойду далшэ? а? Скажи — как?

Возможности что-либо заработать нам не представлялось, и мы, не имея ни гроша на хлеб, питались фруктами и надеждами на будущее. А Шакро начинал уже упрекать меня в лени и в «роторазэвайствэ», как он выражался. Он вообще становился тяжел, но больше всего угнетал меня рассказами о своем баснословном аппетите. Оказывалось, что он, позавтракав в двенадцать часов «маленьким барашкэм», с тремя бутылками вина, в два часа мог без особых усилий съесть за обедом три тарелки какой-то «чахахбили» или «чихиртмы», миску пилава, шампур <sup>1</sup> шашлыка,

<sup>1</sup> Ш а м п у р — железный прут, на котором жарят шашлык. (Прим. М. Горького.)

«сколки хочишь толмы» и еще много разных кавказских яств и при этом выпивал вина — «сколко хотэл». Он по целым дням рассказывал мне о своих гастрономических наклонностях и познаниях, — рассказывал чмокая, с горящими глазами, оскаливая зубы, скрипя ими, звучно втягивая в себя и глотая глотную слюну, в изобилии брызгавшую из его красноречивых уст.

Как-то раз, около Ялты, я нанялся вычистить фруктовый сад от срезанных сучьев, взял вперед за день плату и на всю полтину купил хлеба и мяса. Когда я принес купленное, меня позвал садовник, и я ушел, сдав покупки эти Шакро, который отказался от работы под предлогом головной боли. Возвратившись через час, я убедился, что Шакро, говоря о своем аппетите, не выходил из границ правды: от купленного мной не осталось ни крошки. Это был нетоварищеский поступок, но я смолчал, — на мое горе, как оказалось впоследствии.

Шакро, заметив мое молчание, воспользовался им по-своему. С этого времени началось нечто удивительно нелепое. Я работал, а он, под разными предложениями отказываясь от работы, ел, спал и понукал меня. Мне было смешно и грустно смотреть на него, здорового парня; когда я, усталый, возвращался, кончив работу, к нему, где-нибудь в тенистом уголке ожидавшемуся меня, он так жадно шупал меня глазами! Но еще грустнее и обиднее было видеть, что он смеется надо мной за то, что я работаю. Он смеялся, потому что выучился просить Христа ради. Когда он начал собирать милостыню, то сначала конфузился меня, а потом, когда мы подходили к татарской деревушке, он стал на моих глазах приготавливаться к сбору. Для этого он опирался на палку и волочил ногу по земле, как будто она у него болела, зная, что скупые татары не подадут здоровому парню. Я спорил с ним, доказывая ему постыдность такого занятия...

— Я нэ умею работать! — кратко возражал он мне.

Ему подавали скудно. Я в то время начинал прихварывать. Путь становился труднее день ото дня, и мои отношения с Шакро все тяжелей. Он теперь уж настоятельно требовал, чтоб я его кормил.

— Ты мэнэ вэдешь? Вэди! Разве можно так далеко мэнэ идти пэшком? Я нэ привык. Я умэрэть могу от этого! Что ты мэнэ мучаишь, убиваишь? Эсли я вумру, как будит всэ? Мать будит плакать, атэц будит плакать, товарищи будут плакать! Сколько это слез?

Я слушал такие речи, но не сердился на них. В то время во мне начала закрадываться странная мысль, побуждавшая меня выносить все это. Бывало — спит он, а я сижу рядом с ним и, рассматривая его спокойное, неподвижное лицо, повторяю про себя, как бы догадываясь о чем-то: «Мой спутник... спутник мой...»

И в сознании моем порою смутно возникала мысль, что Шакро только пользуется своим правом, когда он так уверенно и смело

требует от меня помощи ему и забот о нем. В этом требовании был характер, была сила. Он меня поработал, я ему поддавался и изучал его, следил за каждой дрожью его физиономии, пытаюсь представить себе, где и на чем он остановится в этом процессе захвата чужой личности. Он же чувствовал себя прекрасно, пел, спал и подсмеивался надо мной, когда ему этого хотелось. Иногда мы с ним расходились дня на два, на три в разные стороны; я снабжал его хлебом и деньгами, если они были, и говорил, где ему ожидать меня. Когда мы сходились снова, то он, проводивший меня подозрительно и с грустной злобой, встречал так радостно, торжествуя и всегда, смеясь, говорил:

— Я думал, ты убэжал адын, бросил мэня! Ха, ха, ха!..

Я давал ему есть, рассказывал о красивых местах, которые видел, и раз, говоря о Бахчисарае, кстати рассказал о Пушкине и привел его стихи. На него не производило все это никакого впечатления.

— Э, стихи! Это пэсни, не стихи! Я знал одного человэка, грузына, тот пэл пэсни! Это пэсни!.. Запоет — ай, ай, ай!.. Громко... очэн громко пэл! Точно у него в горлэ кинжалом ворочают!.. Он зарэзал одного духанщика, Сибирь тепэр пошел.

После каждого возвращения к нему я все больше и ниже падал в его мнению, и он не умел скрывать этого от меня.

Дела наши шли нехорошо. Я еле находил возможность заработать рубль-полтора в неделю, и, разумеется, этого было менее чем мало двоим. Сборы Шакро не делали экономии в пище. Его желудок был маленькою пропастью, поглощавшей все без разбора — виноград, дыни, соленую рыбу, хлеб, сушеные фрукты, — и от времени она как бы все увеличивалась в объеме и все больше требовала жертв.

Шакро стал торопить меня уходить из Крыма, резонно заявляя мне, что уже — осень, а путь еще далек. Я согласился с ним. К тому же я успел посмотреть эту часть Крыма, и мы пошли на Феодосию, в чаянии «зашибить» там «деньгу», которой у нас все-таки не было.

Отойдя верст двадцать от Алушты, мы остановились ночевать. Я уговорил Шакро идти берегом, хотя это был длиннейший путь, но мне хотелось надышаться морем. Мы разожгли костер и лежали около него. Вечер был дивный. Темно-зеленое море билось о скалы внизу под нами; голубое небо торжественно молчаловерху, а вокруг нас тихо шумели кустарники и деревья. Выходила луна. От узорчатой зелени чинар пали тени. Пела какая-то птица, задорно и звучно. Ее серебряные трели таяли в воздухе, полном тихого и ласкового шума волн, и, когда они исчезали, слышалось нервное стрекотанье какого-то насекомого. Костер горел весело, и его огонь казался большим пылающим букетом красных и желтых цветов. Он тоже рождал тени, и эти тени весело прыгали вокруг нас, как бы рисуясь своею живостью пред ленивыми теньями луны. Широкий горизонт моря был пустынен, небо над ним



безоблачно, и я чувствовал себя на краю земли, созерцающим пространство — эту чарующую душу загадку... Пугливое чувство близости к чему-то великому наполняло мою душу, и сердце трепетно замирало.

Вдруг Шакро громко расхохотался:

— Ха, ха, ха!.. Какой тебе глупая рожа! Савсэм как у барана! А, ха, ха, ха!..

Я испугался, точно надо мной внезапно грянул гром. Но это было хуже. Это было смешно, да, но — как же это было обидно!.. Он, Шакро, плакал от смеха; я чувствовал себя готовым плакать от другой причины. У меня в горле стоял камень, я не мог говорить и смотрел на него дикими глазами, чем еще больше усиливал его смех. Он катался по земле, поджав живот; я же все еще не мог прийти в себя от нанесенного мне оскорбления... Мне была нанесена тяжкая обида, и те немногие, которые, я надеюсь, поймут ее, — потому что, может быть, сами испытали нечто подобное, — те снова взвешают в своей душе эту тяжесть.

— Перестань!! — бешено крикнул я.

Он испугался, вздрогнул, но все еще не мог сдержаться, пароксизмы смеха все еще схватывали его, он надувал щеки, тарасил глаза и вдруг снова разражался хохотом. Тогда я встал и пошел прочь от него. Я шел долго, без дум, почти без сознания, полный жгучим ядом обиды. Я обнимал всю природу и молча, всей душой объяснял ей в любви, в горячей любви человека, который немножко поэт... а она, в лице Шакро, расхохоталась надо мной за мое увлечение! Я далеко зашел бы в составлении обвинительного акта против природы, Шакро и всех порядков жизни, но за мной раздали быстрые шаги.

— Не сэрдысь! — сконфуженно произнес Шакро, тихонько касаясь моего плеча. — Ты молился? Я нэ знал.

Он говорил робким тоном нашалившего ребенка, и я, несмотря на мое возбуждение, не мог не видеть его жалкой физиономии, смешно искривленной смущением и страхом.

— Я тебя нэ трону болше. Вэрно! Ныкогда!

Он отрицательно тряс головой.

— Я выжу, ты смырный. Работаешь. Мэня не заставляешь. Думаю — почэму? Значит — глупый он, как баран...

Это он меня утешал! Это он извинялся предо мной! Конечно, после таких утешений и извинений мне ничего не оставалось более, как простить ему не только прошлое, но и будущее.

Через полчаса он крепко спал, а я сидел рядом с ним и смотрел на него. Во сне даже сильный человек кажется беззащитным и беспомощным, — Шакро был жалок. Толстые губы, вместе с поднятыми бровями, делали его лицо детским, робко удивленным. Дышал он ровно, спокойно, но иногда возился и бредил, говоря просительно и торопливо по-грузински. Вокруг нас царила та напряженная тишина, от которой всегда ждешь чего-то и которая, если б могла продолжаться долго, сводила бы с ума человека



своим совершенным покоем и отсутствием звука, этой яркой тени движения. Тихий шорох волн не долетал до нас, — мы находились в какой-то яме, поросшей цепкими кустарниками и казавшейся мохнатым зевом окаменевшего животного. Я смотрел на Шакро и думал:

«Это мой спутник... Я могу бросить его здесь, но не могу уйти от него, ибо имя ему — легион... Это спутник всей моей жизни... он до гроба проводит меня...»

Феодосия обманула наши ожидания. Когда мы пришли, там было около четырехсот человек, чаявших, как и мы, работы и тоже принужденных удовлетвориться ролью зрителей постройки мола. Работали турки, греки, грузины, смоленцы, полтавцы. Всюду — и в городе, и вокруг него — бродили группами серые, удрученные фигуры «голодающих» и рыскали волчьей рысью азовские и таврические босяки.

Мы пошли в Керчь.

Мой спутник держал свое слово и не трогал меня; но он сильно голодал и прямо-таки по-волчьи щелкал зубами, видя, как кто-нибудь ел, приводя меня в ужас описаниями количеств разной пищи, которую он готов был поглотить. С некоторых пор он начал вспоминать о женщинах. Сначала вскользь, со вздохами сожаления, потом чаще, с алчными улыбками «восточного члэвэка», он, наконец, дошел до того, что не мог уже пропустить мимо себя ни одной особы женского пола, каких бы лет и наружности она ни была, чтоб не поделиться со мной какой-нибудь практически-философской сальностью по поводу той или другой ее статьи. Он трактовал о женщинах так свободно, с таким знанием предмета и смотрел на них с такой удивительно прямой точки зрения, что я только отплевывался... Однажды я попробовал доказать ему, что женщина — существо ничем не худшее его, но, видя, что он не только обижается на меня за мои взгляды, а даже готов прийти в бешенство за унижение, каковому, по его мнению, я подвергал его, — оставил мои попытки до поры, пока он будет сыт.

На Керчь мы шли уже не берегом, а степью, в видах сокращения пути, в котомке у нас была всего только одна ячменная лепешка фунта в три, купленная у татарина на последний наш пятак. Попытки Шакро просить хлеба по деревням не приводили ни к чему, везде кратко отвечали: «Много вас!..» Это была великая истина: действительно до ужаса много было людей, искавших куска хлеба в этот тяжелый год.

Мой спутник терпеть не мог «голодающих» — конкурентов ему в сборе милостыни. Запас его жизненных сил, несмотря на трудность пути и плохое питание, не позволял ему приобрести такого испитого и жалкого вида, каким они по справедливости могли гордиться как некоторым совершенством, и он, еще издали видя их, говорил:

— Опэт идут! Фу, фу, фу! Чэго ходят? Чэго едут? Развэ Россыя тэсна? Нэ понымаю! Очень глупый народ России!

И когда я объяснял ему причины, побудившие глупый русский народ ходить по Крыму в поисках хлеба, он, недоверчиво качая головой, возражал:

— Нэ понимаю! Каки можно!.. У нас в Грузии нэ бывает таких глупостэй!

Мы пришли в Керчь поздно вечером и принуждены были ночевать под мостками с пароходной пристани на берег. Нам не мешало спрятаться: мы знали, что из Керчи, незадолго до нашего прихода, был вывезен весь лишний народ — босяки, мы побаивались, что попадем в полицию; а так как Шакро путешествовал с чужим паспортом, то это могло повести к серьезным осложнениям в нашей судьбе.

Волны пролива всю ночь щедро осыпали нас брызгами, на расвете мы вылезли из-под мостков мокрые и иззябшие. Целый день ходили мы по берегу, и все, что удалось заработать, — это гривенник, полученный мною с какой-то пощады, которой я отнес мешок дынь с базара.

Нужно было переправиться через пролив в Тамань. Ни один лодочник не соглашался взять нас гребцами на тот берег, как я ни просил об этом. Все были восстановлены против босяков, незадолго перед нами натворивших тут много геройских подвигов, а нас, не без основания, причисляли к их категории.

Когда настал вечер, я, со зла на свои неудачи и на весь мир, решился на несколько рискованную штуку и с наступлением ночи привел ее в исполнение.

#### IV

Ночью я и Шакро тихонько подошли к таможенной брандвахте, около которой стояли три шлюпки, привязанные цепями к кольцам, ввинченным в каменную стену набережной. Было темно, дул ветер, шлюпки толкались одна о другую, цепи звенели... Мне было удобно раскатать кольцо и выдернуть его из камня.

Над нами, на высоте аршин пяти, ходил таможенный солдат-часовой и насвистывал сквозь зубы. Когда он останавливался близко к нам, я прекращал работу, но это было излишней осторожностью; он не мог предположить, что внизу человек сидит по горло в воде. К тому же цепи звучали непрерывно и без моей помощи. Шакро уже растянулся на дне шлюпки и шептал мне что-то, чего я не мог разобрать за шумом волн. Кольцо в моих руках... Волна подхватила лодку и отбросила ее от берега. Я держался за цепь и плыл рядом с ней, потом влез в нее. Мы сняли две настоящие доски и, укрепив их в уключинах вместо весел, поплыли...

Играли волны, и Шакро, сидевший на корме, то пропадал из моих глаз, проваливаясь вместе с кормой, то подымался высоко надо мной и, крича, почти падал на меня. Я посоветовал ему не кричать, если он не хочет, чтобы часовой услышал его. Тогда он

замолчал. Я видел белое пятно на месте его лица. Он все время держал руль. Нам некогда было перемениться ролями, и мы боялись переходить по лодке с места на место. Я кричал ему, как ставить лодку, и он, сразу понимая меня, делал все так быстро, как будто родился моряком. Доски, заменявшие весла, мало помогали мне. Ветер дул в корму нам, и я мало заботился о том, куда нас несет, стараясь только, чтобы нос стоял поперек пролива. Это было легко установить, так как еще были видны огни Керчи. Волны заглядывали к нам через борта и сердито шумели; чем дальше выносило нас в пролив, тем они становились выше. Вдали слышался уже рев, дикий и грозный... А лодка все неслась — быстрее и быстрее, было очень трудно держать курс. Мы то и дело проваливались в глубокие ямы и взлетали на водяные бугры, а ночь становилась все темней, тучи опускались ниже. Огни за кормой пропали во мраке, и тогда стало страшно. Казалось, что пространство гневной воды не имело границ. Ничего не было видно, кроме волн, летевших из мрака. Они вышибли одну доску из моей руки, я сам бросил другую на дно лодки и крепко схватился обеими руками за борта. Шакро выл диким голосом каждый раз, как лодка подпрыгивала вверх. Я чувствовал себя жалким и бессильным в этом мраке, окруженный разгневанной стихией и оглушаемый ее шумом. Без надежды в сердце, охваченный злым отчаянием, я видел вокруг только эти волны с беловатыми гривами, рассыпавшимися в соленые брызги, и тучи надо мной, густые, лохматые, тоже были похожи на волны... Я понимал лишь одно: все, что творится вокруг меня, может быть неизмеримо сильнее и страшнее, и мне было обидно, что оно сдерживается и не хочет быть таким. Смерть неизбежна. Но этот бесстрастный, все нивелирующий закон необходимо чем-нибудь скрашивать — уж очень он тяжел и груб. Если бы мне предстояло сгореть в огне или утонуть в болотной трясине, я постарался бы выбрать первое — все-таки как-то приличнее.

.....  
— Поставим парус! — крикнул Шакро...

— Где он? — спросил я.

— Из моего чекмэня...

— Бросай его сюда! Не выпускай руля!..

Шакро молча завозился на корме.

— Держы!..

Он бросил мне свой чекмень. Кое-как ползая по дну лодки, я оторвал от наста еще доску, надел на нее рукав плотной одежды, поставил ее к скамье лодки, припер ногами и только что взял в руки другой рукав и полу, как случилось нечто неожиданное... Лодка прыгнула как-то особенно высоко, потом полетела вниз, и я очутился в воде, держа в одной руке чекмень, а другой уцепившись за веревку, протянутую по внешней стороне борта. Волны с шумом прыгали через мою голову, я глотал солено-горькую воду. Она наполнила мои уши, рот, нос... Крепко вцепившись

руками в веревку, я поднимался и опускался на воде, стучаясь головой о борт, и, вскинув чекмень на дно лодки, старался вспрыгнуть на него сам. Одно из десятка моих усилий удалось, я оседлал лодку и тотчас же увидел Шакро, который кувыркался в воде, уцепившись обеими руками за ту же веревку, которую я только что выпустил. Она, оказалось, обходила всю лодку кругом, продетая в железные кольца бортов.

— Жив! — крикнул я ему.

Он высоко подпрыгнул над водой и также брякнулся на дно лодки. Я подхватил его, и мы очутились лицом к лицу друг с другом. Я сидел на лодке, точно на коне, всунув ноги в бечевки, как в стремя, — но это было ненадежно: любая волна легко могла выбить меня из седла. Шакро уцепился руками за мои колени и ткнулся головой мне в грудь. Он весь дрожал, и я чувствовал, как тряслись его челюсти. Нужно было что-то делать! Дно было скользко, точно смазанное маслом. Я сказал Шакро, чтоб он спускался снова в воду, держась за веревки с одного борта, а я так же устроюсь на другом. Вместо ответа он начал толкать меня головой в грудь. Волны в дикой пляске то и дело прыгали через нас, и мы еле держались; одну ногу мне страшно резало веревкой. Всюду в поле зрения рождались высокие бугры воды и с шумом исчезали.

Я повторил сказанное уже тоном приказания. Шакро еще сильнее стал стучать меня своей головой в грудь. Медлить было нельзя. Я оторвал от себя его руки одну за другой и стал толкать его в воду, стараясь, чтоб он задел своими руками за веревки. И тут произошло нечто, испугавшее меня больше всего в эту ночь.

— Топишь мэня? — прошептал Шакро и взглянул мне в лицо.

Это было действительно страшно! Страшен был его вопрос, еще страшнее тон вопроса, в котором звучала и робкая покорность, и просьба пощады, и последний вздох человека, потерявшего надежду избежать рокового конца. Но еще страшнее были глаза на мертвенно-бледном мокром лице!..

Я крикнул ему:

— Держись крепче! — и спустился в воду сам, держась за веревку. Я ударился о что-то ногой и в первый момент не мог ничего понять от боли. Но потом понял. Во мне вспыхнуло что-то горячее, я опьянел и почувствовал себя сильным, как никогда...

— Земля! — крикнул я.

Может быть, великие мореплаватели, открывавшие новые земли, кричали при виде их это слово с большим чувством, чем я, но сомневаюсь, чтоб они могли кричать громче меня. Шакро завыл и бросился в воду. Но оба быстро охладели: воды было еще по грудь нам, и нигде не виделось каких-либо более существенных признаков сухого берега. Волны здесь были слабее и уже не прыгали, а лениво перекачивались через нас. К счастью, я не выпустил из рук шлюпки. И вот мы с Шакро стали по ее бортам и, держась за спасательные веревки, осторожно пошли куда-то, ведя за собой лодку.

Шакро бормотал что-то и смеялся. Я озабоченно поглядывал вокруг. Было темно. Сзади и справа от нас шум волн был сильнее, впереди и влево — тише; мы пошли влево. Почва была твердая, песчаная, но вся в ямах; иногда мы не доставали дна и гребли ногами и одной рукой, другой держась за лодку; иногда воды было только по колено. На глубоких местах Шакро выл, а я дрожал в страхе. И вдруг — спасение! — впереди нас засверкал огонь...

Шакро заорал что есть мочи; но я твердо помнил, что лодка казенная, и тотчас же заставил его вспомнить об этом. Он замолчал, но через несколько минут раздались его рыдания. Я не мог успокоить его — нечем было.

Воды становилось все меньше... по колено... по щиколотки... Мы всё тащили казенную лодку; но тут у нас не стало сил, и мы бросили ее. На пути у нас лежала какая-то черная коряга. Мы перепрыгнули через нее — и оба босыми ногами попали в какую-то колючую траву. Это было больно и со стороны земли — негостеприимно, но мы не обращали на это внимания и побежали на огонь. Он был в версте от нас и, весело пылая, казалось, смеялся навстречу нам.

## V

...Три громадные, кудлатые собаки, выскочив откуда-то из тьмы, бросились на нас. Шакро, все время судорожно рыдавший, взвыл и упал на землю. Я швырнул в собак мокрым чекменем и наклонился, шаря рукой камня или палки. Ничего не было, только трава колола руки. Собаки дружно наскakивали. Я засвистал что есть мочи, вложив в рот два пальца. Они отскочили, и тотчас же послышался топот и говор бегущих людей.

Через несколько минут мы были у костра в кругу четырех чабанов, одетых в овчины шерстью вверх.

Двое сидели на земле и курили, один — высокий, с густой черной бородой и в казацкой папахе — стоял сзади нас, опершись на палку с громадной шишкой из корня на конце; четвертый, молодой русский парень, помогал плакавшему Шакро раздеваться. Саженья в пяти от нас земля на большом пространстве была покрыта толстым пластом чего-то густого, серого и волнообразного, похожего на весенний, уже начавший таять снег. Только долго и пристально всматриваясь, можно было разобрать отдельные фигуры овец, плотно прильнувших одна к другой. Их было тут несколько тысяч, сдавленных сном и мраком ночи в густой, теплый и толстый пласт, покрывавший степь. Иногда они блеяли жалобно и пугливо...

Я сушил чекмень над огнем и говорил чабанам все по правде, рассказал и о способе, которым добыл лодку.

— Где ж она, та лодка? — спросил меня суровый седой старик, не сводивший с меня глаз.

Я сказал.

— Пойди, Михал, взглянь!..

Михал — тот, чернобородый — вскинул палку на плечо и отправился к берегу.

Шакро, дрожавший от холода, попросил меня дать ему теплый, но еще мокрый чекмень, но старик сказал:

— Годи! Побегай прежде, чтоб разогреть кровь. Беги круг костра, ну!

Шакро сначала не понял, но потом вдруг сорвался с места и, голый, начал танцевать дикий танец, мячиком перелетая через костер, кружась на одном месте, топая ногами о землю, крича во всю мочь, размахивая руками. Это была уморительная картина. Двое чабанов покатывались по земле, хохоча во все горло, а старик с серьезным, невозмутимым лицом старался отбивать ладонями такт пляски, но не мог его уловить, присматривался к танцу Шакро, качая головой и шевеля усами, и все покрикивал густым басом:

— Гай-га! Так, так! Гай-га! Буц, буц!

Освещенный огнем костра, Шакро извивался змеей, прыгал на одной ноге, выбивал дробь обеими, и его блестящее в огне тело покрывалось крупными каплями пота, они казались красными, как кровь.

Теперь уже все трое чабанов били в ладони, а я, дрожа от холода, сушился у костра и думал, что переживаемое приключение сделало бы счастливым какого-нибудь поклонника Купера и Жюля Верна: кораблекрушение, и гостеприимные аборигены, и пляска дикаря вокруг костра...

Вот Шакро уже сидит на земле, закутанный в чекмень, и ест что-то, поглядывая на меня черными глазами, в которых искрилось нечто, возбуждавшее во мне неприятное чувство. Его одежда сушилась, повешенная на палки, воткнутые в землю около костра. Мне тоже дали есть хлеба и соленого сала.

Пришел Михал и молча сел рядом со стариком.

— Ну? — спросил старик.

— Есть лодка! — кратко сказал Михал.

— Ее не смое?

— Нет!

И они все замолчали, разглядывая меня.

— Что ж, — спросил Михал, ни к кому, собственно, не обращаясь, — свести их в станицу к атаману? А может, — прямо к таможенным?

Ему не ответили. Шакро ел спокойно.

— Можно к атаману свести... и к таможенным тоже... И то гарно, и другое, — сказал, помолчав, старик.

— Погоди, дед... — начал я.

Но он не обратил на меня никакого внимания.

— Вот так-то! Михал! Лодка там?

— Эге, там...

— Что ж... ее не смое вода?

— Ни... не смает.

— Так и пускай ее стоит там. А завтра лодочники поедут до Керчи и захватят ее с собой. Что ж бы им не захватить пустую лодку? Э? Ну вот... А теперь вы... хлопцы-рванцы... того... як его?.. Не боялись вы оба? Нет? Те-те!.. А еще бы полверсты, то и быть бы вам в море. Что ж бы вы поделали, коли б выкинуло в море? А? Утонули бы, как топоры, оба!.. Утонули бы, и — все тут.

Старик замолчал и с насмешливой улыбкой в усах взглянул на меня.

— Что ж ты молчишь, парнюга?

Мне надоели его рассуждения, которые я, не понимая, принимал за издевательство над нами.

— Да вот слушаю тебя! — сказал я довольно сердито.

— Ну, и что ж? — поинтересовался старик.

— Ну, и ничего.

— А чего ж ты дразнишься? Разве то порядок дразнить старшего, чем сам ты?

Я промолчал.

— А есть ты не хочешь еще? — продолжал старик.

— Не хочу.

— Ну, не ешь. Не хочешь — и не ешь. А может, на дорогу взял бы хлеба?

Я вздрогнул от радости, но не выдал себя.

— На дорогу взял бы... — спокойно сказал я.

— Эге!.. Так дайте ж им на дорогу хлеба и сала там... А может, еще что есть? то и этого дайте.

— А разве ж они пойдут? — спросил Михал.

Остальные двое подняли глаза на старика.

— А чего ж бы им с нами делать?

— Да ведь к атаману мы их хотели... а то — к таможенным... — разочарованно заявил Михал.

Шакро завозился около костра и любопытно высунул голову из чекменя. Он был спокоен.

— Что ж им делать у атамана? Нечего, пожалуй, им у него делать. После уж они пойдут к нему... коли захотят.

— А лодка как же? — не уступал Михал.

— Лодка? — переспросил старик. — Что ж лодка? Стоит она там?

— Стоит... — ответил Михал.

— Ну, и пусть ее стоит. А утром Ивашка сгонит ее к пристани... там ее возьмут до Керчи. Больше и нечего делать с лодкой.

Я пристально смотрел на старого чабана и не мог уловить ни малейшего движения на его флегматичном, загорелом и обветренном лице, по которому прыгали тени от костра.

— А не вышло бы греха какого часом... — начал сдаваться Михал.

— Коли ты не дашь воли языку, то греха не должно бы, пожалуй, выйти. А если их довести до атамана, то это, думаю я,



беспокойно будет и нам и им. Нам надо свое дело делать, им — идти. Эй! Далеко еще вам идти? — спросил старик, хотя я уже говорил ему, как далеко.

— До Тифлиса...

— Много пути! Вот видишь, а атаман задержит их; а коли он задержит, когда они придут? Так уж пусть же они идут себе, куда им дорога. А?

— А что ж? Пускай идут! — согласились товарищи старика, когда он, кончив свои медленные речи, плотно сжал губы и вопросительно оглянул всех их, крутя пальцами свою сивую бороду.

— Ну, так идите же к богу, ребята! — махнул рукой старик. — А лодку мы отправим на место. Так ли?

— Спасибо тебе, дед! — скинул я шапку.

— А за что ж спасибо?

— Спасибо, брат, спасибо! — взволнованно повторил я.

— Да за что ж спасибо? Вот чудно! Я говорю — идите к богу, а он мне — спасибо! Разве ты боялся, что я к дьяволу тебя пошлю, э?

— Был грех, боялся!.. — сказал я.

— О!.. — И старик поднял брови. — Зачем же мне направлять человека по дурному пути? Уж лучше я его по тому пошлю, которым сам иду. Может быть, еще встретимся, так уж — знакомы будем. Часом помочь друг другу придется... До свидки!..

Он снял свою мохнатую баранью шапку и поклонился нам. Поклонились и его товарищи. Мы спросили дорогу на Анапу и пошли. Шакро смеялся над чем-то...

## VI

— Ты что смеешься? — спросил я его.

Я был в восхищении от старого чабана и его жизненной морали, я был в восхищении и от свежего предрассветного ветерка, веявшего прямо нам в грудь, и оттого, что небо очистилось от туч, скоро на ясное небо выйдет солнце и родится блестящий красавец день...

Шакро хитро подмигнул мне глазом и расхохотался еще сильнее. Я тоже улыбался, слыша его веселый, здоровый смех. Два-три часа, проведенные нами у костра чабанов, и вкусный хлеб с салом оставили от утомительного путешествия только легонькую ломоту в костях; но это ощущение не мешало нашей радости.

— Ну, чего ж ты смеешься? Рад, что жив остался, да? Жив, да еще и сыт?

Шакро отрицательно мотнул головой, толкнул меня локтем в бок, сделал мне гримасу, снова расхохотался и наконец заговорил своим ломаным языком:

— Нэ панымайш, почему смэшно? Нэт? Сэчас будишь знать! Знаишь, что я сдэлал бы, когда бы нас павэли к этому атаману-



таможану? Нэ знаишь? Я бы сказал про тэбя: он мэня утопигь хотэл! И стал бы плакать. Тогда бы мэня стали жалэть и не посадыли бы в турму! Панымаишь?

Я хотел сначала понять это как шутку, но — увы! — он сумел меня убедить в серьезности своего намерения. Он так основательно и ясно убеждал меня в этом, что я, вместо того чтобы взбеситься на него за этот наивный цинизм, преисполнился к нему чувством глубокой жалости. Что иное можно чувствовать к человеку, который с светлейшей улыбкой и самым искренним тоном рассказывает тебе о своем намерении убить тебя? Что с ним делать, если он смотрит на этот поступок как на милую, остроумную шутку?

Я с жаром пустился доказывать Шакро всю безнравственность его намерения. Он очень просто возражал мне, что я не понимаю его выгод, забываю о проживании по чужому билету и о том, что за это — не хвалят...

Вдруг у меня блеснула одна жестокая мысль...

— Погоди,— сказал я,— да ты веришь в то, что я действительно хотел топить тебя?

— Нэт!.. Когда ты мэня в воду толкал — взрил, когда сам ты пошел — нэ взрил!

— Слава богу! — воскликнул я. — Ну, и за это спасибо!

— Нэт, нэ гавари спасибо! Я тэбэ скажу спасибо! Там, у костра, тэбэ холодно было, мне холодно было... Чэкмэнь твой,— ты нэ взял его сэбэ. Ты его высушил, дал мне. А сэбэ ничэго нэ взял. Вот тэбэ спасибо! Ты очэнь хароший чэловэк — я панымаю. Придем в Тыфлыс,—за все получишь. К отцу тэбя павэду. Скажу отцу— вот чэловэк! Карми его, пои его, а мэня — к ишакам в хлэв! Вот как скажу! Жить у нас будэшь, садовником будэшь, пить будэшь вино, есть чэго хочэшь!.. Ах, ах, ах!.. Очэнь харашо будэт тэбе жить! Очэнь просто!.. Пей, ешь из адной чашка со мной!..

Он долго и подробно рисовал прелести жизни, которую собирался устроить мне у себя в Тифлисе. А я под его говор думал о великом несчастье тех людей, которые, вооружившись новой моралью, новыми желаниями, одиноко ушли вперед и встречаются на дороге своей спутников, чуждых им, неспособных понимать их... Тяжела жизнь таких одиноких! Они — над землей, в воздухе... Но они носятся в нем, как семена добрых злаков, хотя и редко сгнивают в почве плодотворной...

Светало. Даль моря уже блестела розоватым золотом.

— Я спать хочу! — сказал Шакро.

Мы остановились. Он лег в яму, вырытую ветром в сухом песке недалеко от берега, и, с головой закутавшись в чекмень, скоро заснул. Я сидел рядом с ним и смотрел в море.

Оно жило своей широкой жизнью, полной мощного движения. Стаи волн с шумом катились на берег и разбивались о песок, он слабо шипел, впитывая воду. Взмахивая белыми гривами, передо-

вые волны с шумом ударялись грудью о берег и отступали, отраженные им, а их уже встречали другие, шедшие поддержать их. Обнявшись крепко, в пене и брызгах, они снова катились на берег и били его в стремлении расширить пределы своей жизни. От горизонта до берега, на всем протяжении моря, рождались эти гибкие и сильные волны и всё шли, шли плотной массой, тесно связанные друг с другом единством цели... Солнце все ярче освещало их хребты, у далеких волн, на горизонте, они казались кроваво-красными. Ни одной капли не пропадало бесследно в этом титаническом движении водной массы, которая, казалось, воодушевлена какой-то сознательной целью и вот — достигает ее этими широкими, ритмичными ударами. Увлекательна была красивая храбрость передовых, задорно прыгавших на молчаливый берег, и хорошо было смотреть, как вслед за ними спокойно и дружно идет все море, могучее море, уже окрашенное солнцем во все цвета радуги и полное сознания своей красоты и силы...

Из-за мыса, рассекая волны, выплыл громадный пароход и, важно качаясь на взволнованном лоне моря, понесся по хребтам волн, бешено бросавшихся на его борта. Красивый и сильный, блестящий на солнце своим металлом, в другое время он, пожалуй, мог бы навести на мысль о гордом творчестве людей, поработающих стихии... Но рядом со мной лежал человек-стихий.

## VII

Мы шли по Терской области. Шакро был растрепан и оборван на диво и был чертовски зол, хотя уже не голодал теперь, так как заработка было достаточно. Он оказался неспособным к какой-либо работе. Однажды попробовал стать к молотилке отгребать солому и через полдня сошел, натерев граблями кровавые мозоли на ладонях. Другой раз стали корчевать держидерево, и он сорвал себе мотыгой кожу с шеи.

Шли мы довольно медленно, — два дня работаешь, день идешь. Ел Шакро крайне несдержанно, и, по милости его чревоугодия, я никак не мог скопить столько денег, чтоб иметь возможность приобрести ему какую-либо часть костюма. А у него все части — были сонмищем разнообразных дыр, кое-как связанных разноцветными заплатами.

Однажды в какой-то станице он вытащил из моей котомки с большим трудом, тайно от него скопленные пять рублей и вечером явился в дом, где я работал в огороде, пьяный и с какой-то толстой бабой-казачкой, которая поздоровалась со мной так:

— Здравствуй, еретик проклятый!

А когда я, удивленный таким эпитетом, спросил ее, — почему же я еретик? — она с апломбом ответила мне:

— А потому, дьявол, что запрещаешь парню женский пол любить! Разве ты можешь запрещать, коли закон позволяет?.. Анафема ты!..

Шакро стоял рядом с ней и утвердительно кивал головой. Он был очень пьян, и когда делал какое-либо движение, то весь развинченно качался. Нижняя губа у него отвисла. Тусклые глаза смотрели мне в лицо бессмысленно-упорно.

— Ну, ты, чего ж вытаращил zenки на нас? Давай его деньги! — закричала храбрая баба.

— Какие деньги? — изумился я.

— Давай, давай! А то я тебя в войсковую сведу! Давай те полтора ста рублей, что взял у него в Одессе!

Что мне было делать? Чертова баба с пьяных глаз в самом деле могла пойти в войсковую избу, и тогда станичное начальство, строгое к разному странствующему люду, арестовало бы нас. Кто знает, что могло выйти из этого ареста для меня и Шакро! И вот я начал дипломатически обходить бабу, что, конечно, стоило не больших усилий. Кое-как при помощи трех бутылок вина я умиротворил ее. Она свалилась на землю между арбузов и заснула. Я уложил Шакро, а рано утром другого дня мы с ним вышли из станицы, оставив бабу с арбузами.

Полубольной с похмелья, с измятым и опухшим лицом, Шакро ежеминутно плевался и тяжело вздыхал. Я пробовал разговаривать с ним, но он не отвечал мне и только поматывал своей кудлатой головой, как баран.

Мы шли узкой тропинкой, по ней взад и вперед ползали маленькие красные змейки, извиваясь у нас под ногами. Тишина, царившая вокруг, погружала в мечтательно-дремотное состояние. Следом за нами по небу медленно двигались черные стаи туч. Сливаясь друг с другом, они покрыли все небо сзади нас, тогда как впереди оно было еще ясно, хотя уже клочья облаков выбежали в него и резво неслись куда-то вперед, обгоняя нас. Далеко где-то рокотал гром, его ворчливые звуки всё приближались. Падали капли дождя. Трава металлически шелестела.

Нам негде было укрыться. Вот стало темно, и шелест травы зазвучал громче, испуганно. Грянул гром — и тучи дрогнули, охваченные синим огнем. Крупный дождь полился ручьями, и один за другим удары грома начали непрерывно рокотать в пустынной степи. Трава, сгибаемая ударами ветра и дождя, ложилась на землю. Все дрожало, волновалось. Молнии, слепя глаза, рвали тучи... В голубом блеске их вдали вставала горная цепь, сверкая синими огнями, серебряная и холодная, а когда молнии гасли, она исчезала, как бы проваливаясь в темную пропасть. Все гремело, вздрагивало, отталкивало звуки и родило их. Точно небо, мутное и гневное, огнем очищало себя от пыли и всякой мерзости, поднявшейся до него с земли, и земля, казалось, вздрагивала в страхе пред гневом его.

Шакро ворчал, как испуганная собака. А мне было весело, я как-то приподнялся над обыкновенным, наблюдая эту могучую мрачную картину степной грозы. Дивный хаос увлекал и настраивал на героический лад, охватывая душу грозной гармонией...

И мне захотелось принять участие в ней, выразить чем-нибудь переполнившее меня чувство восхищения перед этой силой. Голубое пламя, охватывавшее небо, казалось, горело и в моей груди; и — чем мне было выразить мое великое волнение и мой восторг? Я запел — громко, во всю силу. Ревел гром, блистали молнии, шуршала трава, а я пел и чувствовал себя в полном родстве со всеми звуками... Я — безумствовал; это прости-тельно, ибо не вредило никому, кроме меня. Буря на море и гро-за в степи! Я не знаю более грандиозных явлений в природе.

Итак, я кричал, будучи твердо уверен, что не обеспокою никого таким поведением и никого не поставлю в необходимость подвергнуть строгой критике мой образ действий. Но вдруг меня сильно дернуло за ноги, и я невольно сел в лужу...

В лицо мне смотрел Шакро серьезными и гневными глазами.

— Ты сошел с ума? Нэ сошел? Нэт? Ну, за-амалчи! Нэ кры-чи! Я тэбэ разорву глотку! Панымаишь?

Я изумился и сначала спросил его, чем я ему мешаю...

— Пугаишь! Понял? Гром гремит — бог гаворит, а ты арэшь... Что ты думаишь?

Я заявил ему, что я имею право петь, если хочу, равно как и он.

— А я нэ хачу! — категорически сказал он.

— Не пой! — согласился я.

— И ты нэ пой! — строго внушал Шакро.

— Нет, я уж лучше буду...

— Послушай, — что ты думаишь? — гневно заговорил Ша-кро. — Кто ты такой? Есть у тэбэ дом? Есть у тэбэ мать? Отэц? Есть родные? Зэмли? Кто ты на зэмле? Ты — человек, думаишь? Это я человек! У менэ все ест!.. — Он постукал себя в грудь. — Я князь!.. А ты... ты — нычего! Нычего нэт! А мэнэ знаит Кутаис, Тыфлыс!.. Панымаишь? Ты нэ иди протыв мэнэ! Ты мне служишь? — Будышь доволен! Я заплачу тэбэ дэсять раз! Ты так дэлаешь мне? Ты нэ можишь дэлать иное; ты сам гаварыл, что бог взелел служить всем бэз награда! Я тэбэ награжу! Зачэм ты мэнэ мучаишь! Учишь, пугаишь? Хочешь, чтобы я был как ты? Это нэ харашо! Эх, эх, эх!.. Фу, фу!..

Он говорил, чмокал, фыркал, вздыхал... Я смотрел ему в лицо, разинув рот от изумления. Он, очевидно, выливал предо мной все возмущения, обиды и недовольства мною, накопленные за все время нашего путешествия. Для вящей убедительности он тыкал мне пальцем в грудь и тряс меня за плечо, а в особенно сильных местах налезал на меня всей своей тушей. Нас поливал дождь, над нами непрерывно грохотал гром, и Шакро, чтоб быть услышанным мною, кричал во все горло.

Трагикомизм моего положения выступил предо мной яснее всего и заставил меня расхохотаться что было моих сил...

Шакро, плюнув, отвернулся от меня.

...Чем ближе мы подходили к Тифлису, тем Шакро становился сосредоточеннее и угрюмее. Что-то новое появилось на его исхудалом, но все-таки неподвижном лице. Недалеко от Владикавказа мы зашли в черкесский аул и подрались там собирать кукурузу.

Проработав два дня среди черкесов, которые, почти не говоря по-русски, беспрестанно смеялись над нами и ругали нас по-своему, мы решили уйти из аула, испуганные все возраставшим среди аульников враждебным отношением к нам. Отойдя верст десять от аула, Шакро вдруг вытащил из-за пазухи сверток лезгинской кисеи и с торжеством показал мне, воскликнув:

— Больши нэ надо работать! Продадим — купим всего! Хватит до Тыфлыса! Панымаишь?

Я был возмущен до бешенства, вырвав кисею, бросил ее в сторону и оглянулся назад. Черкесы не шутят. Незадолго пред этим мы слышали от казаков такую историю: один босяк, уходя из аула, где работал, захватил с собой железную ложку. Черкесы догнали его, обыскали, нашли при нем ложку и, распоров ему кинжалом живот, сунули глубоко в рану ложку, а потом спокойно уехали, оставив его в степи, где казаки подняли его полуживым. Он рассказал это им и умер на дороге в станицу. Казаки не однажды строго предостерегали нас от черкесов, рассказывая поучительные истории в этом духе, — не верить им я не имел основания.

Я стал напоминать Шакро об этом. Он стоял предо мной, слушал и вдруг, молча, оскалив зубы и сощурив глаза, кошкой бросился на меня. Минут пять мы основательно колотили друг друга, и наконец Шакро с гневом крикнул мне:

— Будэт!..

Измученные, мы долго молчали, сидя друг против друга... Шакро жалко посмотрел туда, куда я швырнул краденую кисею, и заговорил:

— За что дрались? Фа, фа, фа!.. Очэнь глупо. Развэ я у тэбэ украл? Что тэбэ — жалко? Минэ тэбэ жалко, патаму и украл... Работаишь ты, я нэ умюю... Что минэ делать? Хотэл помочь тэбэ...

Я попытался объяснить ему, что есть кража...

— Пожалуйста, ма-алчи! У тэбэ галава как дерево... — презрительно отнесся он ко мне и объяснил: — Умирать будишь — воровать будишь? Ну! А развэ это жизнь? Малчи!

Боясь снова раздражить его, я молчал. Это был уже второй случай кражи. Еще раньше, когда мы были в Черноморье, он стащил у греков-рыбаков карманные весы. Тогда мы тоже едва не подрались.

— Ну, — идем далшэ? — сказал он, когда оба мы несколько успокоились, примирились и отдохнули.

Пошли дальше. Он с каждым днем становился все мрачней и смотрел на меня странно, исподлобья. Как-то раз, когда мы уже прошли Дарьяльское ущелье и спускались с Гудаура, он заговорил:

— Дзэнь-два пройдет — в Тыфлыс придем. Цце; цце! — почмокал он языком и расцвел весь. — Приду домой, — гдэ был? Путэществовал! В баню пайду... ага! Есть буду много... ах, много! Скажу матери — очэнь хачу есть! Скажу отцу — просты мэнэ! Я видэл мынога горя, жизнь видэл, — разный! Босяки очэнь харроший народ! Встрэчу когда, дам рубль, павэду в духан, скажу — пей вино, я сам был босяк! Скажу отцу про тэбэ... Вот человек, — был минэ как старший брат... Учил мэнэ. Бил мэнэ, собака!.. Кормил. Тэперь, скажу, корми ты его за это. Год корми! Год корми — вот сколько! Слышишь, Максим?

Я любил слушать, когда он говорил так; он приобретал в такие моменты нечто простое и детское. Такие речи были мне и потому интересны, что я не имел в Тифлисе ни одного человека знакомого, а близилась зима — на Гудауре нас уже встретила вьюга. Я надеялся немного на Шакро.

Мы шли быстро. Вот и Мцхет — древняя столица Иберии. Завтра придем в Тифлис.

Еще издали, верст за пять, я увидел столицу Кавказа, сжатую между двух гор. Конец пути! Я был рад чему-то, Шакро — равнодушен. Он тупыми глазами смотрел вперед и сплевывал в сторону голодную слюну, то и дело с болезненной гримасой хватаясь за живот. Это он неосторожно поел сырой моркови, нарванной по дороге.

— Ты думаешь, я — грузински дыварянин — пайду в мой город днем такой, рванный, грязный? Нэ-эт!.. Мы падаждем вэчера. Стой!

Мы сели у стены какого-то пустого здания и, свернув по последней папироске, дрожа от холода, покурили. С Военно-Грузинской дороги дул резкий и сильный ветер. Шакро сидел, напевая сквозь зубы грустную песню... Я думал о теплой комнате и других преимуществах оседлой жизни пред жизнью кочевой.

— Идем! — поднялся Шакро с решительным лицом.

Стемнело. Город зажигал огни. Это было красиво: огоньки постепенно, один за другим, выпрыгивали откуда-то во тьму, окутавшую долину, в которую спрятался город.

— Слушай! ты дай мэнэ этот башлык, чтоб я закрыл лицо... а то узнают мэнэ знакомые, может быть...

Я дал башлык. Мы идем по Ольгинской улице. Шакро навистывает нечто решительное.

— Максим! Видишь станцию конки — Верийский мост? Сыди тут, жди! Пожалуста, жди! Я зайду в адын дом, спрошу товарища про своих, отца, мать...

— Ты недолго?

— Сэйчас! Адын момент!..

Он быстро сунулся в какой-то темный и узкий переулок и исчез в нем — навсегда.

Я никогда больше не встречал этого человека — моего спутника в течение почти четырех месяцев жизни, но я часто вспоминаю о нем с добрым чувством и веселым смехом.

Он научил меня многому, чего не найдешь в толстых фолиантах, написанных мудрецами,— ибо мудрость жизни всегда глубже и обширнее мудрости людей.

## О Ш И Б К А

Сельский учитель не у дел, Кирилл Ярославцев, опершись локтями о стол и туго сжав виски ладонями, смотрел тупыми глазами на рассыпанные пред ним статистические карточки и пытался выдавить из своих утомленных работой мозгов представление о том, что же надлежит теперь делать с этими четырехугольными листами бумаги.

Это никак не удавалось ему. В голове глухо шумело, и ему казалось, что она налита чем-то густым и тяжелым, что больно давит изнутри на глаза, стремясь излиться наружу. Цифры с карточек то вдруг исчезали, то появлялись и снова холодно и сухо свидетельствовали о чем-то; иногда они уменьшались до крохотных, неясных каракулек и вдруг вырастали в крупные, странные и поджарые фигуры. Ярославцев следил за их игрой и чувствовал, что в нем, где-то глубоко, вырастает и формируется тяжелая и беспокойная мысль. Она еще была неясна ему, но она непременно появится, и тогда ему будет еще хуже и больнее, чем теперь.

Последнее время его стали все чаще и чаще преследовать эти мысли, гнетущие душу. Окрашивая все в темный цвет, сырые и холодные, точно осенние тучи, они оставляли за собой на душе ржавчину тоски и тупого равнодушия ко всему. Было что-то роковое в медленности, с которой они формировались в сознании, и никогда и ничем ему не удавалось задержать их рост и развитие. Он делал такие попытки: вставал из-за стола, ходил по комнате и пел или шел к кому-нибудь из знакомых, но они заглушали песню и всюду ползли за ним, не оставляя его и вне дома.

Сначала он упорно боролся с ними, но потом увидел, что эта борьба не влечет за собой никаких последствий, кроме утомления души, и всегда ведет к тому, что они давят его сильнее, становясь образнее и ярче от его сопротивления им. Тогда он уступал,



и уж если чувствовал, что вот они идут, то валился на диван и, заложив руки под голову, отдавал себя во власть им.

Так оставался он часа по два, по три, а иногда и целые ночи, как бы расколотый на две части, причем одна, от времени становившаяся все меньше, жалобно и беспомощно следила за другой, которою овладели эти тяжелые думы, перетиравшие, подобно жерновам, все хорошее и светлое, что есть в жизни, и все, чем наделяет ее мечта, в сухую, бесцветную, едкую пыль.

Он лежал, упорно глядя в потолок да слушая биение своего сердца и звук маятника часов в комнате квартирной хозяйки. Так-так! Так-так! — мерно бил маятник и точно подтверждал своим уверенным и твердым звуком справедливость того, что навязывали думы сознанию Кирилла Ивановича. Наконец он привык к ним и только чувствовал смутный страх, когда они давали знать о том, что идут на него. Потом этот страх временно исчезал, подавленный их работой, и вдруг через некоторое время являлся снова.

Но он являлся уже в новой форме — в форме тоскливой, ожидающей, неотвязной боязни, которая все возрастала и все напряженнее ждала какого-то страшного факта. Кириллу Ивановичу казалось, что вот появится нечто суровое и торжествующее, появится, станет у дивана и, грозя, ехидно скажет:

— А ведь я вижу, о чем вы думаете! Вижу. Я всевижу; самомалейший изгиб вашего мозга мне ясен. Как же вы решаетесь думать о том, что не подлежит ведению вашему, — ведению человека, к жизни непричастного и от нее отторгнутого, а? Как же это вы, государь мой? А вы знаете, что за это вас можно... — И он покажет, что за «это» можно сделать с человеком.

Представляя себе такую картину, Ярославцев вздрагивал и жалобно смотрел на дверь.

Дверь была тоненькая и хлибкая, а крючок проволоочный. От посещения этого всезнающего существа она не оградит и — ничто не оградит от его посещения. Ярославцеву казалось, что оно проникло бы и сквозь каменные стены. И в ожидании его он страдал, вздрагивая при каждом шуме, и чувствовал, что эта тоскливая боязнь с каждым своим возрождением становится все сильнее, охватывает его все крепче и вот-вот она возрастет, поглотит его... и тут уж воображение останавливалось перед чем-то темным, полным ледящего душу ужаса.

«Как избавиться от всего этого? — думал он в более светлые моменты и отвечал себе: — Подчиниться. Пусть оно совершенно охватит меня, и тогда я перестану его чувствовать...»

И в этот раз он тоже хотел лечь на диван, но вдруг услышал торопливый скрип двери за своею спиной, быстрые шаги и утомленный голос:

— Вы дома? Ну, наконец нашел одного!.. Ф-фу!

Кирилл Иванович обернулся на стуле и увидел одного из знакомых статистиков, которого в бюро прозвали Минорным.

Он сел на стул и, держа в одной руке белую фуражку, другою вытирал со лба крупный пот. Лицо у него было бледно и измято, глаза воспалены, и весь он производил впечатление человека, крайне уставшего.

Ярославцев крепко, молча, с удовольствием пожал ему руку. Этот человек своим появлением отдалял приступ дум.

— Бегал по жаре, как сумасшедший, — никого! — говорил Минорный, с неудовольствием поджимая губы, и, зажмурив глаза, нервно провел по ним пальцем, как бы смахивая с ресниц что-то.

— А кого вам нужно? — хотел спросить Кирилл Иванович, но не успел.

— Вот видите что... вы только, пожалуйста, не отказывайтесь... потому что я больше не могу! Две ночи напролет возился, будет! Это свинство со стороны всех. Да, ведь я не сказал вам, в чем дело... Этот... как его?... Кравцов! Сошел с ума... да! Третий день... Все, знаете, говорит, говорит, черт не разберет, что такое! Впрочем, иногда очень сознательные и умные вещи. Ну, так вот... я был при нем кряду два дня и больше не могу... Страшно устал. Он буен, если ему противоречить, лезет драться. Ерундит страшно! Начал мазать стены ваксой... Разделся донага и давай себе чистить щеткой голую грудь. Воображает себя гением добра и дерется. Смешно и жалко... Бывает доктор. Хлопочут о помещении в больницу, но всё так медленно. А главное, возмутительно формальны и черствы мы все! Приходят, знаете, посмотрят на него в дверную щель, посочувствуют и удерут. Всем некогда, у всех какие-то дела явились. Я больше не могу, уверяю вас! Пойдите вы, голубчик, а? Там теперь, Лыжин... Вы, я знаю, мало знакомы были с этим несчастным; но разве это теперь не все равно? Не так ли? Вы пойдете?

— Да, я — конечно. Я могу — хоть сейчас! — медленно протянул Кирилл Иванович.

— Именно сейчас! — внушительно и торопливо воскликнул Минорный и пояснил: — Этот Лыжин и остался там только на условии, что его часа через два сменят... Вот и прекрасно... идите-ка! Вы сильный, вам это будет нетрудно. И как это я не догадался давеча прямо к вам махнуть?.. Не измаялся бы так... Ну, так вы идете?

— Хорошо... идемте.

Минорный поднялся со стула, быстрым жестом бросил себе на голову фуражку, поправил ее и, отворив дверь, оглянулся на Ярославцева.

Последний задумчиво и медленно натягивал на себя пальто, закусив нижнюю губу и упорно глядя на ноги Минорного.

— Знаете что? — живо заговорил тот. — Ведь вам известна его квартира? Так идите, милый, один, а я домой прямо, а? Хорошо? Ну, и спасибо! Не поверите, ну, черт знает, до чего я...

Заключительные слова фразы Минорный унес с собой в глубь сеней, и там они были заглушены тонким визгом двери. От этого визга Ярославцев вздрогнул, скорчил болезненную гримасу и опустил на стул, побужденный к этому гнетущей тяжестью сообщения Минорного.

Как только Минорный сказал фамилию Кравцова, Кирилл Иванович воспроизвел перед собой фигуру человека среднего роста, сухого, угловатого, нервного, с черными, всегда вздрагивавшими усами и с горящим, блуждающим взглядом миндалевидных черных же глаз. По морщинистому белому лбу этого человека страшно двигались густые брови, то всползая к жестким, ершистым волосам, то вдруг спрыгивая вниз и совершенно закрывая впадины глаз. В разговоре он иногда удерживал одну бровь — левую, прижимая ее длинным пальцем левой же руки; это не мешало другой брови всползать к волосам, и тогда все лицо говорившего перекашивалось и принимало мучительно острое выражение напряженного желания проникнуть куда-то недостигаемое для других, глубоко, и постичь что-то непостижимое никому. Глаза же в это время метали искры, и в них было целое море не то тоски, не то мучительного восторга.

Давно уже все считали его человеком ненормальным, и он каждый день подтверждал этот взгляд, высказывая сегодня желание учиться математике, чтобы постичь тонкости астрономии; завтра — уйти в деревню, чтобы обрести там равновесие души; уехать в Америку и бродить в степях, конвоируя гурты скота; поступить на фабрику, чтобы развивать среди рабочих теории социализма; учиться музыке, ремеслу, рисованию. Необходимость для себя всего этого он доказывал всегда уверенно и ясно, а если его оспаривали — с бешеной горячностью. Главным источником своим желаний он выставлял чувство самосохранения.

«Ничего не делая, погибнешь чересчур глупо для человека. Все скоты делают нечто, я же человек и должен творить!» — вспомнил Кирилл Иванович две его фразы. Принято было называть его «метафизиком» за такие и другие, в этом же роде, речи. Он никогда не умел привести строго логических доводов в пользу того или другого из своих воззрений, поступков, желаний и всегда отделялся краткими афоризмами в догматическом тоне, и за пристрастие к таким афоризмам считался человеком, живущим прежде всего для громкого слова. К нему привыкли и не обращали на него особенного внимания. Ярославцев, встречаясь с ним, никогда не пытался представить себе, с кем он имеет дело, вполне полагаясь на чуткость и верность взгляда тех людей, которые дали Кравцову эпитет ненормального и психопата.

Но теперь этот Кравцов вдруг стал мучительно интересен. Дней пять тому назад Кирилл Иванович вместе с ним катался в лодке и ничего особенного не заметил за ним. Они сидели в лодке рядом, и он своим отрывистым стилем, но веско и вполне ясно для него, Кирилла Ивановича, доказывал, что демонизм,

символизм и иные болезненные формы мысли есть бешеная, но необходимая реакция против распространения материализма и что кредит материализма скоро и непременно будет подорван в глазах всех мыслящих людей. Кирилл Иванович снова вспомнил металлически звеневшие фразы:

«Причина современного шатания мысли — в оскудении идеализма. Те, что изгнали из жизни весь романтизм, раздели нас донага; вот отчего мы стали друг к другу сухи, друг другу гадки. Еще мы не настолько психически окрепли, чтоб без вреда для себя до конца выслушивать правду. Кто знает, может быть, высшая истина не только не выгодна, но и прямо-таки вредна нам?»

«А что же теперь говорит этот человек, — теперь, когда он сумасшедший? И что такое быть сумасшедшим?»

Ярославцев вспомнил, что кто-то определил сумасшествие, как преобладание деятельности какого-нибудь одного из свойств психики над всеми другими, а еще кто-то — как поражение памяти каким-либо одним фактом или мыслью.

Ему представилась внутренность какого-то пружинного механизма: массы спиральных пружин сокращаются и расширяются, взаимно сообщая друг другу силу и движение, и из этого движения рождается мысль. Вдруг одна из пружин почему-то начинает сокращаться сильнее других — полная путаница среди остальных, пока они не возьмут нового такта или пока она не возьмет старого такта. Или вдруг в их систему вторгается извне нечто тяжелое, поражающее и падает как раз на ту пружину, что записывает прошедшее, и вот она, пораженная ударом, не может уж больше отметить чего-либо иного и вечно пишет одну и ту же мысль, воспроизводит одно и то же впечатление.

«Все это очень просто и очень жалко. Зачем нужно, чтоб человек сходил с ума? Разве на его долю мало всех иных болезней и несчастий?» — подумал Ярославцев и вспомнил, что ему нужно идти туда, к больному.

Но он не встал и не пошел, а продолжал думать, сидя на стуле, в пальто и фуражке.

«А вдруг он стал теперь гением?.. Ведь было доказано, что гении — сумасшедшие. Никто не рассказал, как создаются гении. Может быть, сходя с ума, отдаваясь в рабство идее...»

Кирилл Иванович ощущал в себе желание повторять каждое слово по нескольку раз, но почему-то боялся делать это. Слова казались ему разноцветными пятнами, вроде легких облаков, рассеянных в безграничном пространстве. Он летает за ними, ловит их и сталкивает друг с другом; от этого получается радужная полоса, которая и есть мысль. Если ее вобрать в себя вместе с воздухом и затем выдохнуть, то она зазвучит, и от этого получается речь.

— Однако как это все просто! — Он засмеялся. — Декаденты — тонкие люди. Тонкие и острые, как иглы, — они глубоко

вонзаются в неизвестное,— с удовольствием, щелкнув пальцами, произнес он.

Дверь отворилась, и в отверстие просунулась голова квартирной хозяйки.

— Сидит одетый, смеется и разговаривает сам с собой... Тоже занятие! Самовар подавать, али уходите куда?

Хозяйка говорила ворчливо, а смотрела ласково. Глаза у нее были маленькие, но живые; от них к вискам легли складки тонких морщинок, и это придавало им улыбающийся блеск.

От ее речи Ярославцев почувствовал себя как бы только что возвратившимся откуда-то и очень утомленным.

— Самовар? Нет... не надо! — Он махнул рукой. — Я ухажу... может быть, до утра. Знаете, один мой знакомый сошел с ума. Как вы полагаете, это что такое?

— Чтой-то, господи! Один недавно пристрелился, другой сошел с ума... ну друзья у вас!.. ай-ай!.. Что такое — говорите? Известно что — божья воля.

— Божья воля? — задумчиво произнес Кирилл Иванович и зачем-то снял с головы фуражку. — Это странно, знаете... очень странно... да!

— Который это сошел, русский, трепанный, в серых штанах, или тот — веселый, в золотом пенсне? — спросила хозяйка.

На ее толстом, морщинистом лице и в тоне ее вопроса звучало много жалости, отчего Кириллу Ивановичу стало грустно.

— Нет, не эти, а знаете — черный, в крылатке, с тростью и с прыгающими бровями, — серьезно и тихо отвечал Кирилл Иванович и почувствовал, что у него щекочет в горле и на глаза наворачиваются слезы.

— Не приметила такого. Видно, редко бывал, не встречала. Идите. Да долго-то не надо там торчать... Сам-то вон какой желтый стал! — сурово говорила хозяйка.

Ярославцев снова надел фуражку, встал и молча пошел из комнаты, полный грустного чувства и утомления.

— Дверь-то закройте! — крикнула вслед ему хозяйка.

— Не надо! — печально кивнул он головой.

Было уже около шести часов вечера, но июльский зной еще не растаял — им дышали и камни мостовой, и стены зданий, и безоблачное небо. Пыльные листья деревьев, перевешиваясь через заборы, не шелестели; все было неподвижно и казалось ожидающим какого-то толчка.

Из открытых окон белого дома хлынула волна растрепанных и негармоничных звуков рояля; они бестолково запрыгали в воздухе, Ярославцев вздрогнул и оглянулся вокруг, желая посмотреть, что делается с улицей от этого шума. Но все оставалось неподвижным, а звуки уже исчезли так же бессмысленно, как и явились.

«Кратко бытие звука!» — мелькнула у Кирилла Ивановича посторонняя мысль, и, как бы в виде эха ее, в нем разлилось

острое желание взять высоким фальцетом несколько нот — а-о-э-о-а! — как делают певцы. Но он подавил в себе это желание и пошел дальше, наклонив голову под наплывом стаи новых мыслей и стараясь формировать их в слова, сообразно тактом шагов. От этого каждое слово раздавалось где-то внутри его, как удар в большой барабан. Эти думы в такт шагов вызывали за собой ощущение приятной легкости и пустоты в груди, в животе, во всем теле. Казалось, что мускулы растаяли от жары и остались только тонкие, упругие нервы, настроенные меланхолически, но выжидательно, как и всё кругом.

«О чем он теперь говорит и как думает? — размышлял Ярославцев о Кравцове. — И что я с ним буду делать? Понимать его, наверно, нельзя... Зачем же я при нем буду?.. И с какими моральными фондами? Слюбопытством? Сумасшествие — это почти смерть. Если он еще не совсем сошел с ума, то я буду присутствовать при его агонии. Замечательно, почему человек возбуждает к себе больше внимания, когда он погибает, а не тогда, когда он здоров и в безопасности? Иногда мы при жизни совершенно не замечаем человека, нимало не интересуемся им и вдруг, услышав, что он при смерти или помер уже, жалеем, говорим о нем... Точно смерть или ее приближение сближают и нас друг с другом. Тут, наверное, есть глубокий смысл... Если только тут нет крупной лжи, исстари привычной нам и поэтому незаметной для нас. А может, наблюдая чужую гибель, мы вспоминаем о необходимости погибнуть и самим нам и жалеем себя в лице другого. В этом есть нечто хитрое и, пожалуй, постыдное... А впрочем, и все обыденное в этой жизни — хитрое и постыдное... А вот сожаление — жестоко... Жалость и жестокость!.. Да ведь это два совершенно однородные слова!.. Удивительно, как этого до сей поры никто не замечал! Надо написать об этом статью... Пусть одною ошибкой будет меньше».

Вместе с этим открытием Кирилл Иванович восстановил в памяти случай из своей жизни в деревне: упала в овраг телка, сломав себе обе передние ноги. Чуть не вся деревня сбегалась смотреть на нее... А она, такая жалкая, лежала на дне оврага и, жалобно мыча, смотрела на всех большими влажными глазами и все пыталась встать, но снова падала. Толпа стояла вокруг нее и больше с любопытством, чем с состраданием, наблюдала за ее движениями и слушала ее стоны. И он тоже смотрел, хотя это было неинтересно и очень грустно. Вдруг откуда-то появился кузнец Матвей, высокий, суровый, выпачканный углями. Рукава у него были засучены, и в одной руке он держал тяжелую полосу железа. Вот он обвел всех строгим, тяжело укоряющим взглядом черных глаз, нахмурил брови и, качнув головой, громко сказал: — Дураки! чем любуетесь?

А потом взмахнул своею железной и ударил телку по голове! Удар прозвучал глухо и мягко, но череп все-таки раскололся, и это было очень страшно. Телка больше не мычала и не жалова-



лась на боль своими большими и влажными глазами... А Матвей спокойно ушел.

«Вот он как жалел, этот Матвей! Может быть, он так же бы поступил и с человеком безнадежно больным. Морально это или не морально?»

— Ярославцев! стойте, вы куда? — раздался звучный окрик.

Он вздрогнул: на крыльце хорошенького домика стоял Лыжин, засунув руки в карманы. Ярославцев вспомнил, что тут именно и живет Кравцов.

— Я к вам... то есть к нему...

— Ага! Ну, вот спасибо, что поторопились, а то у меня, знаете, работищи без конца. Это Минорный вытащил меня, соскучившись, слушать премудрости Кравцова. Все, знаете, говорит! Только сейчас задремал. Доктор определил, что пока это не опасно, просто сильное нервное возбуждение, по-моему — тоже. Говорит он, право, не бессмысленнее, чем всегда говорил, но вот много чересчур — это так. Ну, так вы мне позвольте улетучиться. Придет Ляхов, скажите ему: доктор был и рекомендовал кали, кали и кали... До свидания.

Он протянул Ярославцеву руку, тот молча стиснул ее и, держав в своей руке, шепотом спросил:

— Отчего это он, по-вашему?

— Отчего? Гм... Как это скажешь? Знаете, всегда ведь он был с зайцем в голове... Захочет пить — давайте из бутылки на окне, это тоже какая-то умиротворяющая специя, вроде кали. Ну-с, иду! Addio!<sup>1</sup>

Он перекинул на руку пальто и пошел.

Ярославцев посмотрел вслед ему и стал соображать, что теперь делать: идти в комнату, где лежит тот, или ожидать здесь, когда он проснется и заговорит? Ему представлялось, что как только Кравцов проснется, так сейчас же выкрикнет высокую, звонкую ноту, вслед за ней начнет говорить быстро и громко, так, как говорят бойкие бабы-торговки, и это будет походить на барабанную дробь.

Он думал и шел, наклонив голову, не отдавая себе отчета в том, куда идет. Все его думы вдруг как бы сгорели, на душу осыпался их пепел, — осыпался и покрыл ее теплым пластом тихой печали.

Скверный аптечный запах заставил его очнуться. Он стоял перед дверью в маленькую комнату, в ней царил хаос: стулья были сдвинуты на середину и стояли неправильным полукругом перед койкой; на полу валялись рваные бумажки, книги, черепки тарелки, красный вязаный шарф. Перед койкой стоял круглый стол со стаканом жидкого чая. Из-за доски стола не видно было головы человека, спокойно вытянувшегося, вверх грудью, на койке. Одно из двух окон комнаты было завешено синею тряп-

<sup>1</sup> Прощай! (итал.)

кой, другое заставлено банками цветов, и сквозь них видны были кусты шиповника, акации и сирени в палисаднике.

Осмотрев все это, Ярославцев поднялся на цыпочки, подняв сверху указательный палец правой руки, как бы предостерегая от чего-то сам себя, и двинулся к койке, плавно взмахивая в такт своих движений левой рукой. Подойдя к столу, он нагнулся через него и, удерживая дыхание, заглянул в лицо больного.

Оно очень похудело с той поры, как Ярославцев видел его в последний раз, но и только. Вообще же оно было спокойно, как у всех спящих людей. Ярославцев облегченно вздохнул. Он представлял себе, что болезнь наложила на лицо Кравцова какой-нибудь уродливый отпечаток, искривила, изломала его. И он отошел прочь, улыбаясь, в высшей степени довольный своей ошибкой.

Но вдруг, обернувшись в сторону, он увидел, что со стены на него смотрит чье-то искривленное странной улыбкой лицо, бледное, с прищуренными глазами и все дрожащее от сдерживаемого возбуждения. В уровень с этим лицом была поднята рука с вытянутым указательным пальцем, — она как бы грозила и, вместе с лицом, была полна ехидного торжества.

По жилам Ярославцева пролилась холодная тоска, сжав ему сердце предчувствием чего-то неотразимого, рокового, и, подавленный ею, он тихо опустился на стул. Потом он почувствовал, что под кожей левого бока у него вздуваются и тотчас же лопаются какие-то пузырьки, отчего ему стало тоскливо-неприятно. Он снова встал, стараясь не смотреть на ту стену, с которой ему грозили, и с гнетущим ужасом вспоминая, где он видел раньше это исковерканное лицо, в котором есть черты, знакомые ему?

«Неужели это оно, — то существо, которому все известно?»

Перед Ярославцевым вдруг распахнулась темная пропасть без дна и края, полная бесформенного, гнетущего мрака. Он отшатнулся, крепко зажмурил глаза. Его тянуло вниз, и он почувствовал, что если не откроет глаз, то сейчас же полетит туда и будет лететь без конца, замирая от страха и с каждой секундой все сильнее ощущая его.

Он дрогнул, быстро взглянул перед собой и вздохнул свободно и легко: он был тут, в комнате Кравцова, и под ногами у него был твердый пол, в чем Кирилл убедился, сильно надавив его ногой. Тогда ему снова страстно захотелось еще раз взглянуть туда, на стену... Осторожно приподнимаясь со стула и в то же время поворачиваясь назад, он увидел его, это лицо; но теперь оно было только жалко и, выражая напряженное и боязливое ожидание чего-то, замерло в этой мине. Он узнал себя.

«Это зеркало... Д-да-а!» — догадался он и увидел, что рама зеркала была сверху; справа и слева закрыта повешенным на него белым полотенцем, а снизу ее скрывали рамки карточек; обои комнаты были тоже белые, — вот почему зеркало было незаметно и так напугало его. Но это открытие не убило в нем тоскливого предчувствия, даже еще принесло с собой нечто, подчеркивающее



это предчувствие. Кирилл Иванович, глядя на свое отражение, задумался.

«А ведь это я сам схожу с ума!» — вдруг проникся он весь острою мыслью, вызвавшею во всем его существе тихую, ноющую боль, точно все его мускулы сразу напитались промозглою и влажною сыростью погребов. Ему захотелось кричать, звать на помощь, он чувствовал, что уже оторвался от земли и падает куда-то сквозь палящие зноем слои воздуха. В его груди нестерпимо ныло, — он схватился за нее руками и стал крепко растирать ее, — в голове билась уничтожающая мысль и, не затемняя ее, кружились еще какие-то обрывки мыслей, воспоминаний, целый вихрь, точно в его мозгах все было разорвано, разбито, исковеркано и в ужасе разбегалось перед этою мыслью о безумии. Он открыл рот, глубоко вздохнул и, вобрав в себя страшно много пахучего воздуха комнаты, напряг грудь, чтобы крикнуть.

— Дурак! Противная рожа! — раздался презрительный и насмешливый голос. — Что ты строишь себе гримасы, когда ты сам не более, как гнусная гримаса природы? Шпион! Ф-фа!..

Кирилл Иванович быстро обернулся с выпяченною вперед грудью. С койки, упершись локтями в подушку и подпирая подбородок ладонями, смотрел на него Кравцов глазами, полными ядовитой иронии и лихорадочного блеска. Усы его ехидно вздрагивали, а брови всползли к щетинистым волосам, стоявшим на голове ершом. Губы были искривлены в сардоническую улыбку; он поводил ноздрями; все лицо его неустанно содрогалось, образуя тут и там кривые узоры морщин, — он был уродлив и страшен.

«Вот кто сумасшедший! Он, — не я!» — вспыхнул новою мыслью Ярославцев, и эта новая мысль уничтожила ту, которая угнетала его.

Он выдохнул из себя целый столб воздуха и почувствовал, что холод и ужас, сковавшие его мозг, исчезли. Ему было невыразимо приятно смотреть на искаженное лицо Кравцова, и чем больше он смотрел, тем полнее сознавал себя.

«Вот что значит — сумасшедший! — воскликнул он внутренне. — На кого он похож?.. На дьявола, которого один святой поймал в своем рукомошнике и запечатал его там своим крестным знаменем!»

Это сравнение еще более подняло Кирилла Ивановича в своих глазах, и он сейчас же, вслед за ним, с глубокою верою в себя и с восхищением подумал:

«Разве это не верно? Разве человек с мыслью, затемненной безумием, способен на такой широкий шаг в прошлое за образом, нужным его мысли?»

А Кравцов все говорил едкие слова, не сводя с него пылающих глаз.

— Слушай, ты — шпион!

Ярославцев подвинул стул ближе к койке и с приятной улыбкой, протянув руку Кравцову, сказал:

— Марк Данилович, что с вами? это я!

— Ну да, это ты! Я знаю, ты шпион и пришел наблюдать, как я думаю. Ты не узнаешь, не откроешь ни одной моей мысли. А я спасу их всех, я знаю, что им нужно... Я понял!

— Марк Данилович! — убедительно, ласково и радостно говорил Ярославцев. — Разве вы меня забыли?

— Тебя? Забыть? Нет, вас нельзя забыть, вы всюду... Вы — это мухи, вы — это тараканы, клопы, блохи, пыль, камни стен! Вам прикажут — и вы принимаете на себя все формы, воплощаетесь во все, исследуете все, — и следите, как, о чем и зачем люди думают. Но вы все-таки слабы! Я же — могуч! Во мне пылает бессмертный огонь желания подвига! И вот я, как Моисей из Египта, выведу вас из жизни, из помойной ямы, где вам так хорошо дышится. Выведу, и придем мы в обетованную страну, где воздух слишком чист для вас и где поэтому вы не можете жить. Там я напою моих братьев из кастальского источника свободы, и воспрянут души их к жизни творчества... к жизни подвигов... к жизни всепрощения и воссоздания человека! А вы, как египтяне, погонитесь за нами и исчезнете, потонете, захлебнетесь в море собственной гнусности, найдете смерть! Ибо вы в себе носите смерть!

«Это он о чем?» — думал Ярославцев, теряя свою радость под торжественные и громкие речи. Глаза Кравцова испускали острые, светлые лучи, коловшие лицо и грудь тонкими, палящими уколами.

«А! он ведь читал отцов церкви... Августина... и Златоуста... Зачем он это читал? Разве нечего читать кроме? Значит, он давно уж... Очень смешной человек!.. О чем он говорит? Ба! — просял Ярославцев. — Он меня называет шпионом, — значит, у него мания преследования! Он говорит про себя: «Я как Моисей!» — значит, у него мания величия! Господи, как все это просто! Наука! Вот наука! Она всегда как факел. Бедный человек!»

Он почувствовал, что сейчас заплачет от жалости к Кравцову, снова охваченный теплым и радостным сознанием правильности своей мысли.

А с его бедною мыслью творилось что-то странное: то она опускалась в какой-то мрачный ухаб, теряя горизонты; то вдруг поднималась куда-то высоко и свободно, охватывая огромное пространство; то текла медленно и лениво, как бы изнемогая; то быстро стремилась к чему-то, задевая по дороге массу разнородных предметов, и снова точно падала вниз, исчезала. Тогда Кирилл Иванович чувствовал только тревожное биение своего сердца и больше ничего.

Кравцов вдруг весь извился змеей и сел на койке, в одном белье, с раскрытою грудью, возбужденный и мрачно торжественный.

— Ты, слушай! Я пойду и созову всех их в поле. Там соберемся все мы, нищие духом, и грустно уйдем от жизни, нищие духом! Но — не радуйся! И все твои — пусть они не радуются нашему поражению, хотя мы и признаем его, ибо уходим с разбитыми щитами надежд в руках и без брони веры, потерянной нами в битвах. Мы воротимся богатые силой творить и вооруженные крепкою верой в себя, ее же нет крепче оружия! Ты понял? Тыпустишь меня на этот подвиг? Зато я, по возвращении в жизнь, прощу тебя первого. Эй ты!пусти меня!

«Кого он хочет спасти и обновлять?» — медленно вертелись мысли в голове Кирилла Ивановича.

Ему уже снова не жалко было Кравцова, он даже немного злился на него за то, что он, не переставая, говорил торжественные слова и они, звеня в голове, мешают уловить некоторую важную мысль. Дело в том, что в голове Ярославцева все вдруг окрасилось в разные цвета, он ясно почувствовал и видел это: перед его глазами плавали и кружились круглые пятна — желтые, синие, красные. Их было много, все они быстро вертелись, из них выбивалось и никак не могло выбиться одно, ярко-зеленое и многообещающее. Это непременно что-нибудь о вере. Но голос Кравцова сотрясал воздух, и все дрожало, сливалось, путалось между собой.

«Ах, как он громко! — с тоской воскликнул про себя Ярославцев. — Чего он хочет? Э, урод! Что такое — вон из жизни?»

Он вспомнил картинку: человек, с дудочкой во рту, стоял на берегу реки и играл на своей дудочке, а к нему со всех сторон бежали крысы и мыши. В этом человеке было что-то общее с Марком Кравцовым. Смешно! И Ярославцев вдруг расхохотался, качаясь на стуле из стороны в сторону.

Больной откинулся назад, оперся спиной о стену и замолчал, наклонив на грудь голову.

— Вот — торжествует Иуда! — громко прошептал он.

Они долго молча рассматривали друг друга, Кирилл — выжидательно и робко, а Кравцов — пытливо и угрюмо. Ярославцев почувствовал, что лучистые глаза больного притягивают его к себе, и, наклонясь на стуле, облокотился у ног Кравцова о койку.

Стало тихо. На улице уже стемнело, от кустов палисадника на стекла окон и подоконники легли вечерние тени. Наконец Кравцов вдруг улыбнулся и тихо сказал:

— А ведь я вас знаю!

— Конечно! — утвердительно кивнул головой Ярославцев и добавил почти шепотом: — Вы бы говорили. А то очень страшно... уже ночь.

— Говорить? С вами? Ведь я вас знаю! Вы — Ярославцев, статистик? Вам теперь стыдно?

— Мне? Нет, ничего. Но — страшно.

— Да! Это так! Страшно! Бойтесь будущего!

Они оба теперь говорили шепотом, и оба старались сказать каждую новую фразу еще тише, чем предыдущую. Несмотря на сумрак в комнате, Кирилл еще видел лицо больного и улыбку на нем. Его все сильнее тянуло к этому человеку с лучистыми глазами.

— Вы думаете, что вашею статистикой и ограничивается все, да? — внушительно прошептал Кравцов. — Нет, вы ошиблись! Есть еще статистика совести, ею управляю — я! Я не даю пощады, — и знаю цену факта! Я вас уже подсчитал!

— Не надо пугать человека! — жалобно попросил Кирилл Иванович собеседника.

— Человека — да, но шпиона — надо! Зачем вы шпион? Зачем вы следите, как я думаю? Боже мой, ведь я только думаю! От этого вредно мне, только мне! Думать — это даже благонамеренно, потому что от дум человек погибает сам, и вы не тратите своих копеек на то, чтобы погубить его!

Шепот Кравцова вдруг порвался, и металлически звякнуло громкое слово:

— День-ги! А, да! Вы хотите денег за мою свободу думать? Вы продаетесь? Сколько?

— Послушай! — сказал убедительно, но все-таки шепотом Ярославцев. — Не кричи, услышат! Они всегда близко!

— Услышат?.. А ты тоже боишься? Почему же? Ведь ты мерзавец, и тебе можно говорить громко. Слушай,пусти меня! Я иду делать простое и полезное дело. Оно легально, уверяю тебя. Я хочу вывести вон из жизни всех тех людей, которые, несмотря на свои пятна, есть все-таки самые светлые люди в жизни... Они погибают от тоски одиночества и вашего гонения на них. Они задыхаются в смраде жизни, которым ты дышишь легко. Это твоя стихия — но они... Дай мне спасти их! — крикнул он громко.

Ярославцева охватила волна едкой злобы. Он встал перед койкой и тихо, оскорбительно ясно зашипел в лицо Кравцову:

— Ты не кричи! Я тебе скажу... Ты — сумасшедший, вот что! Понимаешь? Ты сошел с ума! Да... Спасти!.. кого? Я — Ярославцев, Кирилл Ярославцев, а ты — сошел с ума!.. Ляг! Понял?! Ну?! и всё...

Он снова опустился на стул, тяжело дыша, часто моргая глазами. Кравцов схватил себя за голову и страшно закачался из стороны в сторону.

Снова стало внушительно и пугающе тихо. Взошла луна, в душный сумрак комнаты через окно влился голубой свет и лег полосой на полу.

Вспышка злобы ослабила Кирилла Ярославцева, а страх перед будущей минутой все рос в нем. В тишине и глубоком полумраке комнаты безмолвно совершалось нечто таинственное и стройное — происходила какая-то разрушительная работа.

На голубую полосу лунного света на полу пали узоры теней от цветов на окне, и вместе это походило на некоторую хартию,

исчерченную гieroглифами, говорившими о глубоких тайнах жизни и о бессилии ума перед ними. Кирилл взглянул на это и быстро отвернулся, ощущая в груди какие-то толчки.

— Все кончается! — тихо прошептал он, и ему стало невыразимо грустно.

Кравцов поднял голову и молча посмотрел на него, двинув бровями. Кирилл вдруг заплакал, обнял его ноги, крепко сжал их и ткнулся в них головой, всхлипывая, как ребенок.

— Мне... страшно...

— Будущего? — тихим и торжествующим восклицанием спросил Кравцов, нагибаясь над ним и весь вздрагивая мелкою дрожью.

— Говорите... говорите! — шептал Кирилл.

— Ага! Я победил еще одного! — тоже шептал Кравцов, отдирая его голову от своих ног. — Это хорошо... Победа... с первого шага!.. Ты каешься, да?.. Садись... иди сюда, я расскажу тебе все.

Он пытался отнять руки Кирилла от своих ног, стиснутых ими, и поднять его голову, но тот не уступал ему, все крепче прижимаясь и что-то бормоча сквозь рыдания.

Наконец Кравцов оставил его в покое; наклонясь над ним, уперся руками в койку и заговорил тихо, но торжественно и важно:

— Ты знаешь людей в плену у жизни? Это те люди, которые хотели быть героями, а стали статистиками и учителями. Они некогда боролись с жизнью, но были побеждены ею и взяты в плен ее мелочами... Вот о них-то говорю я и это их хочу спасти... Ты понял? Они погибают, ибо гонимы, ибо все смотрят на них как на врагов, а сами они враги себе. Рассеянные повсюду, они погибают от сомнения и тоски... от невозможности свободно ходить, говорить и думать... И вот их я соберу воедино, и выведу вон из жизни в пустыню, и там устрою им будку всеобщего спасения. Ты видишь — будка, а не коммуна, не фаланстер, будка — это легально, не правда ли? А я один стану над всеми ими и научу их всему, что знаю. Я знаю много, больше, чем есть материала для знания, ибо я знаю все, плюс — мое знание!.. Мы источим по капле соки наши на песок пустыни и оживим ее, застроив зданиями счастья! Среди нас будет возвышаться над всеми будка всеобщего спасения, и на вершине ее, под стеклянным колпаком, буду вечно вращаться я сам и смотреть за порядком среди тех, что вручены мне судьбой. Я буду строг, но не по-человечески справедлив. Я знаю высшую справедливость. Я наложу на всех одну обязанность — творить. «Твори, ибо ты человек!» — прикажу я каждому. Это будет грандиозно! И когда мы создадим свое царство, в котором все будет в гармонии, то созовем всех шпионов и всех сильных земли, и все глупые народы созовем, и скажем им: «Вот — вы гнали нас, а мы создали вам вечный образец жизни! Вот он, следуйте ему! Мы же, возрожденные из пепла,

идем творить, вечно творить... Вот наша задача». И мы, бывшие бедняки, уйдем, обогатив бывших крезов богатством духа и силы жить. Победа!.. Тогда я скажу всему миру: «Люди, оденьтесь в светлое, ибо ночь исчезла и не придет больше». Вот какую идею родил я из несчастий и мук моей жизни, я, гонимый и затравленный, я, измученный. Ты хочешь быть? — твори новое! Дай что-нибудь людям, дай им, ибо они — жалки и бедны! Тогда как ты — со мной, значит — ты объединился с истиной. Ты будешь первый ученик мой — не плачь! Эй ты, ребенок, ты слаб еще! Ты тоже оскорблен? Ничего! Скоро ты возродишься к жизни новой, к жизни, в которой мы наконец будем принимать участие и будем вслух, громко, без боязни говорить о всем, о чем хотим! Ты не веришь мне? Верь!.. Хотя это кажется и несбыточным, но — верь все-таки. Я твой добрый гений, я орел будущего! Ручаюсь тебе, что все слова твоего сердца и ума получают жизнь, их услышат, над ними будут думать, их поймут, и ты получишь должное — славу человека, который жил для жизни и людей. Верь мне, мы напьемся из полной чаши жизни, и все наши чувства будут удовлетворены. Знаешь ты, что сказал Григорий Богослов о Юлиане, который и есть отвлеченная формула отступления от истины и угнетения веры? И ты, может быть, как все, тоже думал, что Юлиан — это цезарь? Голубчик! Не верь этой пошлой истине, она стара; возьми из нее идею, но забудь о ней. Жизнь — в будущем, и там она наша. В прошлом только идеи, там нет лиц. А мы с тобой — лица и потому возьмем идеи, которые нужны нам для ступенек к лестнице счастья, по которой мы войдем в вечное блаженство, как ангелы во сне Иакова, как творцы жизни, обновители духа!

Его торжественный шепот превратился наконец в поток слов, все реже и реже оживлявшийся мыслью, и, наконец, просто в слова без смысла, связанные между собой, казалось, только единством звука.

— Спасение... Паскаль... пока...

Кирилл давно уже поднял голову и стал перед койкой на колени, все обнимая ноги Кравцова. Теперь он закинул голову немного назад и с восхищением смотрел в лицо больного, не отрываясь ни на секунду от него.

На полу еще лежала эта голубая хартия луны и теней, но начертанные на ней гieroглифы изменились, стали проще формой, но еще темнее цветом. Вся комната была заполнена волнующимися звуками торжественного шепота. Тихая и темная ночь смотрела в окно.

Две человеческие фигуры, лицом к лицу друг с другом, не обращали внимания на то, что в дверь поочередно заглядывали то голова женщины в черном платке, то голова мужчины в шапке и с черной бородой. За дверью тоже слышался шепот. А Кравцов, все так же упираясь руками в койку, склонился к лицу Кирилла и все говорил, говорил. Это продолжалось почти до рассвета.

И уже когда мгла за окном посерела, он, измученный, свалился на подушку и сразу замер.

Кирилл Иванович быстро встал, пугливо оглянулся и подскокил к нему. Рассветало. Он сдернул с себя пальто, занавесил им окно и, снова подойдя к койке, прошептал:

— Ничего, говори!

Но Кравцов, должно быть, уже не мог говорить; он только кивнул головой и, вздохнув, отвернулся к стене. Тогда Кирилл сел у него в ногах на койку и, обняв свои колени руками, стал смотреть глазами любви и восторга на создателя будки всеобщего спасения.

В четырехугольном белом пятне подушки его черная голова сначала выделялась резко, а потом стала таять и растаяла. Тогда на месте ее появилась желтая, безбрежная и сухая пустыня, и в ней всё трупы, — много трупов людей, лежащих в разных позах и отдыхающих от утомления в пути. А далеко на краю пустыни сиял кроваво-красный шар, спускаясь куда-то вниз, а с неба падали мягкие и темные тени, окутывая усталых людей... Потом наступила ночь, явился сон, и раздался в тишине пустыни бред спящих. Среди них один человек не спал, стоя посреди спящих, зорко глядя в небо, где было много звезд, а ниже их неподвижно стояли в воздухе три черные точки. Это были орлы пустыни, и человек смотрел на них подозрительно и в ожидании.

И потом Кирилл видел дорогу, заполненную людьми, исходящими из плена жизни. Их было много. Среди них были и дети; они плакали на руках матерей и отцов. А отцы и матери молча шли в пыли и в рубищах, и через их глаза Кирилл видел их души в тоске и в лохмотьях, — изорванные, изношенные души много страдавших людей. Впереди всех шел он, великий человек, которого все слушались и на которого смотрели с надеждой, а рядом с ним Кирилл видел себя. Являлась тьма и все скрывала собой.

Кирилл Ярославцев видел работу созидания будки всеобщего спасения... и снова тьму... И видел торжественное возвращение в жизнь... И снова тьму... И, наконец, только тьму, которой не было края и дна и которая дышала на него — в лицо ему и в душу — печальным холодом. От дуновения тьмы он качался, чувствовал, что вот сейчас он оторвется от земли и полетит куда-то, и жил этим острым чувством, мешавшим ему сделать малейшее движение. И ему было тоскливо-больно, холодно, страшно...

Все крепче сжимаясь в комок, он широко раскрывал глаза, стараясь увидеть вдали тьмы то, что должно было случиться с ним, ибо он чувствовал, что уже скоро, сейчас, в будущую секунду явится нечто освободить его из власти ужаса.

Лучи солнца упали ему в лицо. Он вздрогнул, зажмурил глаза и улыбнулся бледною улыбкой больного ребенка:

И затем, так же неподвижно, как и раньше, но уже с закрытыми глазами, сидел долго...



Поутру, часов в семь, пришли Ляхов, Минорный и человек в золотых очках и с самоуверенным лицом. Они вошли в дверь тихо, по одному, и за ними в сенях остались какие-то странные фигуры людей.

— Ну, что? Не буянил? — сказал Ляхов, высокий человек с печальным и бледным лицом, Кириллу, который при их появлении спустил ноги с койки и смотрел на них с ясною улыбкой.

Кирилл пожал протянутую ему руку Ляхова и с тихим восторгом посмотрел ему в лицо.

— Вы уже пришли?.. Значит, пора?

— Да... — произнес Ляхов и пристально посмотрел в лицо спящего Кравцова.

— Как же, дождемся, когда проснется? — спросил Минорный господина в очках.

— Я полагаю, прямо так взять и в карету. Идите сюда!

Он махнул рукой к себе, и в дверь вошли двое здоровых ребят в белых фартуках.

— Возьмите осторожно больного!

Тут Кирилл Иванович подошел к койке, стал у ее изголовья так, что закрыл лицо Кравцова, удивленно посмотрел на всех и тихо, но внушительно спросил:

— Куда взять?.. Его взять? Куда взять?

— В дом, конечно, — сказал Минорный.

— В лечебницу, — одновременно произнес доктор и пристально уставился чрез очки в лицо Ярославцева.

Тот крепко потер себе лоб, как бы с усилием вспоминая что-то.

— Д-да!.. В лечебницу!.. А зачем же, собственно?.. И кто вы? — И Кирилл тихонько дотронулся до рукава доктора.

— Я — доктор, заведующий домом для душевнобольных, — сказал господин в очках, не переставая рассматривать его.

«Интеллигентный человек, значит!» — сообразил Кирилл и протянул ему руку.

— Мне приятно видеть вас... и я рад, что вы тоже идете за ним, — сказал он, кивнув на Кравцова.

— Мы приехали в карете, — вмешался Минорный, тоже подозрительно оглядывая Кирилла.

— Ну, это напрасно, — махнул рукой Ярославцев, — мы пойдем все пешком, он — особенно.

— Да ведь он буянить будет на улице! — тихо воскликнул Минорный.

— То есть как это? — удивился Кирилл.

— Да вы что, батенька?.. Образумьтесь! Или вы тоже как он, с ума сошли?..

— Позвольте! — остановил доктор Минорного.

Кирилл вспыхнул и оглянул всех с улыбкой недоверия, со страхом в глазах. Трое людей стояли и смотрели на него с боязливым любопытством и догадкой. Кирилл то краснел, то бледнел



от внутренней работы. Улыбка исчезла из его глаз, и они, странно расширяясь, вдруг ярко вспыхнули мыслью.

— Господа! — просительно зашептал он, сжимая руки и хрустя пальцами. — Господа! Что вы? Это ошибка! Вы считаете его безумным? Это обидная ошибка, господа! Оскорбительная ошибка! Послушайте меня — оставьте его так, как он есть. Дайте ему исполнить задуманное им дело. Это великое, необходимое дело! Вы знакомы с его идеей? Нет? Как же вы, господа, решаетесь на такое отношение к нему?.. Это... странно! Вы послушайте! Я постиг его, я усвоил его идею. Ведь согласитесь, я же — разумный человек. Вот Бабкин засвидетельствует это и Ляхов. Да!.. Как же вы?.. Это возмутительно! Это недостойно вас! Вы вникните в суть его учения: мы подлеем, умирая морально, мы умираем смертью безумия, мы пошло умираем физически. Все это от тоски по желаниям, от скорби одиночества, от недостатка жизни, в которой нам не дают места. Разве я говорю неразумно? Господа!.. Нам запрещено жить. Почему запрещено, господа? Разве мы преступны?.. И еще скажите, разве он, предлагая нам выйти с ним за границы жизни в песчаные, необитаемые пустыни, — разве он не прав? Он приведет нас обратно сюда... когда мы воскреснем духом. Господа, господа!.. Что вы хотите делать... Ведь так у вас все сумасшедшие, все, кто хочет счастья другим и кто простирает руки помощи... кто горячо жалеет и много любит бедных, загнанных жизнью и затравленных друг другом людей...

Наконец он задохнулся и умолк, обводя всех испуганными глазами, из которых текли крупные слезы. Губы у него дрожали. Казалось, вот он сейчас зарыдает. И у Минорного тоже дрожали губы.

— Вот видите, как оно заразительно!.. а я двое суток... — шептал он доктору.

Тот почесал себе пальцем переносицу, приподняв очки, и, видимо, тоже пораженный, пробормотал:

— Д-да, знаете... Станный случай!

Ляхов стоял и смотрел на всех, странно улыбаясь и все покусывая себе губу. Все молчали. Кирилл смахивал со щек слезинки, стоя с убитым лицом. В его глазах светилось море меланхолии. Он стоял и обводил глазами комнату. За троими людьми против него стояло еще двое в белых фартуках, и за дверью в сенях виднелись еще головы... И все они упорно и молча ждали чего-то, ждали именно от него, ибо все смотрели в его сторону. Кирилл печально улыбнулся и робко сказал:

— Простите меня, господа! Вы правы, так как вас много! Я не оспариваю ваше право... я уйду... если могу?

— Подождите минуточку! — любезным жестом остановил его доктор.

— Извольте! — И Кирилл покорно сел на стул, согласно указанию доктора.

Проснулся Кравцов. Он быстро поднялся, сел на койке и, сурово оглянув публику, наполнявшую комнату, громко спросил:

— Вы кто?

— Слушай, Марк, хочешь кататься? — спросил его Ляхов.

— Не обманывай меня, иезуит! Ты хочешь чего-то... Я знаю тебя... и всех вас!.. А! Вы пришли взять меня!.. Но я не дамся без борьбы! Нет!.. Я вас рассею, как пыль!.. Меня взять! нет!..

На него накинули какой-то длинный мешок. Он барахтался в нем, пока его не спеленали, как ребенка. Вот его подняли на руки и понесли, а он, рыдая и извиваясь всем корпусом, кричал:

— Нет!.. Нет!.. Нет!..

В комнате остался Ляхов. Он подошел к стене, снял с нее какую-то фотографию и, обратясь к Кириллу, который с неподвижно до ужаса сосредоточенностью в глазах смотрел куда-то в угол, ласково сказал ему:

— Ну, пойдемте и мы!

Кирилл покорно встал и, не сказав ни слова, пошел.

— Я ворочусь через час! — сказал Ляхов какой-то женщине, запирая дверь комнаты Кравцова.

— Я ворочусь через час! — как эхо повторил за ним Кирилл Ярославцев, взглянув на него своими мертвыми глазами.

Теперь они оба в лечебнице — Кирилл Иванович Ярославцев и Марк Данилович Кравцов. На выздоровление Кравцова есть надежды, на выздоровление его ученика — нет.

Они встречаются друг с другом на прогулках в саду заведения. Когда Кирилл издали увидит черноусое и всегда пылающее возбуждением лицо Марка, он мелкими шажками бежит к нему и, снимая колпак, тихо шепчет:

— Говори, учитель!..

Кирилл говорит очень мало и всегда не иначе, как робким шепотом. Если Кравцов ходит, то Кирилл, согнувшись, подпрыгивая, бежит за ним, а если он сидит, то Ярославцев садится у его ног, жалко смотрит ему в лицо и изредка просительно шепчет:

— Говори, учитель!..

И учитель говорит своему ученику возмущенно и строго о гонениях духа и страданиях духа, торжественно и важно о будке всеобщего спасения и с гордостью о самом себе, великом учителе и пророке разбитых жизнью людей.

## ОДНАЖДЫ ОСЕНЬЮ

...Однажды осенью мне привелось стать в очень неприятное и неудобное положение: в городе, куда я только что приехал и где у меня не было ни одного знакомого человека,— я очутился без гроша в кармане и без квартиры.

Продав в первые дни все то из костюма, без чего можно было обойтись, я ушел из города в местность, называемую Устье, где стояли пароходные пристани и в навигационное время кипела бойкая трудовая жизнь, а теперь было пустынно и тихо,— дело происходило в последних числах октября.

Шлепая ногами по сырому песку и упорно разглядывая его с желанием открыть в нем какие-нибудь остатки питательных веществ, я бродил одиноко среди пустынных зданий и торговых ларей и думал о том, как хорошо быть сытым...

При данном состоянии культуры голод души можно удовлетворить скорее, чем голод тела. Вы бродите по улицам, вас окружают здания, недурные по внешности и — можно безошибочно сказать — недурно обставленные внутри; это может возбудить у вас отрадные мысли об архитектуре, о гигиене и еще о многом другом, мудром и высоком; вам встречаются удобно и тепло одетые люди,— они вежливы, всегда сторонятся от вас, деликатно не желая замечать печального факта вашего существования. Ей-богу, душа голодного человека всегда питается лучше и здоровее души сытого,— вот положение, из которого можно сделать очень остроумный вывод в пользу сытых!..

...Наступал вечер, шел дождь, с севера порывисто дул ветер. Он свистел в пустых ларях и лавчонках, бил в заколоченные досками окна гостиниц, и волны реки от его ударов пенились, шумно плескались на песок берега, высоко взметывая свои белые хребты, неслись одна за другой в мутную даль, стремительно прыгая друг через друга... Казалось, что река чувствовала близость

зимы и в страхе бежала куда-то от оков льда, которые мог в эту же ночь набросить на нее северный ветер. Небо тяжело и мрачно, с него неустанно сыпались еле видные глазом капельки дождя; печальную элегию в природе вокруг меня подчеркивали две обломанные и уродливые ветлы и опрокинутая вверх дном лодка у их корней.

Опрокинутый челн с проломанным дном и ограбленные холодным ветром деревья, жалкие и старые... Все кругом разрушено, бесплодно и мертво, а небо точит неиссякаемые слезы. Пустынно и мрачно было вокруг — казалось, все умирает, скоро останусь в живых я один, и меня тоже ждет холодная смерть.

А мне тогда было семнадцать лет — хорошая пора!

Я ходил, ходил по холодному и сырому песку, выбивая зубами трели в честь голода и холода, и вдруг, в тщетных поисках съестного, зайдя за один из ларей, — увидел за ним скорченную на земле фигуру в женском платье, мокрым от дождя и плотно приставшем к склоненным плечам. Остановившись над ней, я присмотрелся, что она делала. Оказалось, она роет руками яму в песке, подкапываясь под один из ларей.

— Это зачем тебе? — спросил я, присаживаясь на корточки около нее.

Она тихо вскрикнула и быстро вскочила на ноги. Теперь, когда она стояла и смотрела на меня широко раскрытыми серыми глазами, полными боязни, — я видел, что эта девушка моих лет, с очень миловидным личиком, к сожалению, украшенным тремя большими синяками. Это его портило, хотя синяки были расположены с замечательной пропорциональностью — по одному, равной величины, под глазами и один — побольше — на лбу, как раз над переносицей. В этой симметрии была видна работа артиста, очень изощрившегося в деле порчи человеческих физиономий.

Девушка смотрела на меня, и боязнь в ее глазах постепенно гасла... Вот она отряхнула руки от песка, поправила ситцевый платок на голове, поежилась и сказала:

— Ты, чай, тоже есть хочешь? Ну-ка, рой, у меня руки устали. Там, — она кивнула головой на ларь, — наверно, хлеб есть... Этот ларь торгует еще...

Я стал рыть. Она же, немного подождав и посмотрев на меня, присела рядом и стала помогать мне...

Мы работали молча. Я не могу сказать теперь, помнил ли я в этот момент об уголовном кодексе, о морали, собственности и прочих вещах, о которых, по мнению сведущих людей, следует помнить во все моменты жизни. Желая быть возможно ближе к истине, я должен признаться, — кажется, я был настолько углублен в дело подкопа под ларь, что совершенно позабыл о всем прочем, кроме того, что могло оказаться в этом ларе...

Вечерело. Тьма — сырая, мозглая, холодная — все более сгущалась вокруг нас. Волны шумели как-будто глуше, чем

раньше, а дождь барабанил о доски ларя все звучнее и чаще... Где-то уж продребезжала трещотка ночного сторожа...

— Есть у него пол или нет? — тихо спросила моя помощница. Я не понял, о чем она говорит, и промолчал.

— Я говорю — есть пол у ларя? Коли есть, так мы напрасно ломаемся. Подроем яму, — а там, может, толстые доски еще... Как их отдерешь? Лучше замок сломать... замок-то плохенький...

Хорошие идеи редко посещают головы женщин; но, как вы видите, они все-таки посещают их... Я всегда ценил хорошие идеи и всегда старался пользоваться ими по мере возможности.

Найдя замок, я дернул его и вырвал вместе с кольцами... Моя соучастница мгновенно изогнулась и змеей вильнула в открывшееся четырехугольное отверстие ларя. Оттуда раздался ее одобрителный возглас:

— Молодец!

Одна маленькая похвала женщины для меня дороже целого дифирамба со стороны мужчины, будь мужчина сей красноречив, как все древние ораторы взятые вместе. Но тогда я был настроен менее любезно, чем теперь, и, не обратив внимания на комплимент девушки, кратко и со страхом спросил ее:

— Есть что-нибудь?

Она монотонно принялась перечислять мне свои открытия.

— Корзина с бутылками... Мешки пустые... Зонтик... Ведро железное.

Все это было несъедобно. Я почувствовал, что мои надежды гаснут... Но вдруг она оживленно крикнула:

— Ага! вот он...

— Кто?

— Хлеб... Каравай... Только мокрый... Держи!

К ногам моим выкатился каравай и за ним она, моя доблестная соучастница. Я уже отломил кусочек, засунул его в рот и жевал...

— Ну-ка, дай мне... Да отсюда надо и уходить. Куда бы нам идти? — Она пылливо посмотрела во тьму на все четыре стороны... Было темно, мокро, шумно... — Вон там лодка опрокинута... айда-ка туда?

— Идем! — И мы пошли, обламывая на ходу нашу добычу и набивая ею рты... Дождь усиливался, река ревела, откуда-то доносился протяжный насмешливый свисток, — точно некто большой и никого не боящийся освистывал все земные порядки, и этот скверный осенний вечер, и нас, двух его героев... Сердце болезненно ныло от этого свиста; тем не менее я жадно ел, в чем мне не уступала и девушка, шедшая с левой стороны от меня.

— Как тебя зовут? — зачем-то спросил я ее.

— Наташа! — отвечала она, звучно чавкая.

Я посмотрел на нее — у меня больно сжалось сердце, я посмотрел во тьму впереди меня, и — мне показалось, что ироническая рожа моей судьбы улыбается мне загадочно и холодно...

...По дереву лодки неугомонно стучал дождь, мягкий шум его наводил на грустные мысли, и ветер свистел, влетая в проломленное дно — в щель, где билась какая-то щепочка, билась и трещала беспокойным и жалобным звуком. Волны реки плескались о берег, они звучали так монотонно и безнадежно, точно рассказывали о чем-то невыносимо скучном и тяжелом, надоевшем им до отвращения, о чем-то таком, от чего им хотелось бы убежать и о чем все-таки необходимо говорить. Шум дождя сливался с их плеском, и над опрокинутой лодкой плавал протяжный, тяжелый вздох земли, обиженной и утомленной этими вечными сменами яркого и теплого лета — осенью холодной, туманной и сырой. Ветер носился над пустынным берегом и вспененной рекой, носился и пел унылые песни...

Помещение под лодкой было лишено комфорта: в нем было тесно, сыро, в пробитое дно сыпались мелкие, холодные капли дождя, врывались струи ветра... Мы сидели молча и дрожали от холода. Мне хотелось спать, помню. Наташа прислонилась спиной к борту лодки, скорчившись в маленький комок. Обняв руками колени и положив на них подбородок, она упорно смотрела на реку, широко раскрыв свои глаза, — на белом пятне ее лица они казались громадными от синяков под ними. Она не двигалась, эта неподвижность и молчание — я чувствовал — постепенно родит во мне страх перед моей соседкой... Мне хотелось заговорить с ней, но я не знал, с чего начать.

Она заговорила сама.

— Экая окаянная жизнь!.. — внятно, отдельно, с глубоким убеждением в тоне произнесла она.

Но это не была жалоба. В этих словах было слишком много равнодушия для жалобы. Просто человек подумал, как умел, подумал и пришел к известному выводу, который и высказал вслух и на который я не мог возразить, не противореча себе. Поэтому я молчал. А она, как бы не замечая меня, продолжала сидеть неподвижно.

— Хоть бы сдохнуть, что ли... — снова проговорила Наташа, на этот раз тихо и задумчиво. И снова в ее словах не звучало ни одной ноты жалобы. Видно было, что человек, подумав про жизнь, посмотрел на себя и спокойно пришел к убеждению, что для охранения себя от издевательств жизни он не в состоянии сделать что-либо другое, кроме того, как именно — «сдохнуть».

Мне стало невыразимо тошно от такой ясности мышления, и я чувствовал, что если буду молчать еще, то наверное заплачу... А это было бы стыдно пред женщиной, тем более что вот — она не плакала. Я решил заговорить с ней.

— Кто это тебя избил? — спросил я, не придумав ничего умнее.

— Да все Пашка же... — ровно и громко ответила она.

— А он кто?..

— Любовник... Булочник один...

— Часто он тебя бьет?..

— Как напьется, так и бьет...

И вдруг, придвинувшись ко мне, она начала рассказывать о себе, Пашке и существующих между ними отношениях. Она — «девица из гуляющих, которые...», а он — булочник с рыжими усами и очень хорошо играет на гармонике. Ходил он к ней в «заведение» и ей очень понравился, потому что человек он веселый и одевается чисто. Поддевка в пятнадцать рублей и сапоги с «набором» у него... По этим причинам она в него влюбилась, и он стал ее «кредитным». А когда он стал ее «кредитным», то занялся тем, что отбирал у нее те деньги, которые ей давали другие гости на конфеты, и, напиваясь на эти деньги, стал бить ее, — это бы еще ничего, — а стал «путаться» с другими девицами на ее глазах...

— Али это мне не обидно? Я не хуже других прочих... Значит, это он издевается надо мной, подлец. Третьего дня я вот отпросилась у хозяйки гулять, пришла к нему, а у него Дунька пьяная сидит. И он тоже под шефе. Я говорю ему: «Подлец ты, подлец! Жулик ты!» Он избил меня всю. И пинками, и за волосы — всячески... Это бы еще ничего! А вот порвал всю... это как теперь? Как я к хозяйке явлюсь? Все порвал: и платье и кофточку — новенькая еще совсем... и платок сдернул с головы... Господи! Как мне теперь быть? — вдруг взвыла она тоскующим, надорванным голосом.

И ветер выл, становясь все крепче и холоднее... У меня снова зубы принялись танцевать. А она тоже ежилась от холода, придвинувшись настолько близко ко мне, что я уже видел сквозь тьму блеск ее глаз...

— Какие все вы мерзавцы, мужчины! Растоптала бы я вас всех, изувечила. Издыхай который из вас... плюнула бы в морду ему, а не пожалела! Подлые хари!.. Канючите, канючите, виляете хвостом, как подлые собаки, а поддастся вам дура, и готово дело! Сейчас вы ее и под ноги себе... Шематоны паршивые...

Ругалась она очень разнообразно, но в ругательствах ее не было силы: ни злобы, ни ненависти к «паршивым шематонам» не слышал я в них. Вообще тон ее речи был несоответственно содержанию спокоен и голос грустно беден нотами.

Но все это действовало на меня сильнее самых красноречивых и убедительных пессимистических книг и речей, которые я слышал немало и раньше, и позднее, и по сей день слышу и читаю. И это потому, видите ли, что агония умирающего всегда гораздо естественнее и сильнее самых точных и художественных описаний смерти.

Мне было скверно, — наверное, больше от холода, чем от речей моей соседки по квартире. Я тихонько застонал и заскрипел зубами.

И почти в то же мгновение ощутил на себе две холодные маленькие руки, — одна из них коснулась моей шеи, другая легла



мне на лицо, и вместе с тем прозвучал тревожный, тихий, ласковый вопрос:

— Ты что?

Я готов был подумать, что это спрашивает меня кто-то другой, а не Наташа, только что заявившая, что все мужчины мерзавцы, и желавшая всем им гибели. Но она заговорила уже быстро и торопливо...

— Что ты? а? Холодно, что ли? Смерзаешь? Ах ты какой! Сидит и молчит... как сын! Да ты бы давно сказал мне, что холодно, мол... Ну... ложись на землю... протягивайся... и я лягу... вот! Теперь обнимай меня руками... крепче... Ну вот, и должно быть тебе тепло теперь... А потом — спинами друг к другу ляжем... Как-нибудь скоротаем ночь-то... Ты что, запил, что ли? С места прогнали?... Ничего!..

Она меня утешала... Она меня ободряла...

Будь я трижды проклят! Сколько было иронии надо мной в этом факте! Подумайте. Ведь я в то время был серьезно озабочен судьбами человечества, мечтал о реорганизации социального строя, о политических переворотах, читал разные дьявольски мудрые книги, глубина мысли которых, наверное, недостижима была даже для авторов их, — я в то время всячески старался приготовить из себя «крупную активную силу». И меня-то согревала своим телом продажная женщина, несчастное, избитое, загнанное существо, которому нет места в жизни и нет цены и которому я не догадался помочь раньше, чем она мне помогла, а если б и догадался, то едва ли бы сумел помочь ей чем-либо.

Ах, я готов был подумать, что все это происходит со мной во сне, в нелепом сне, в тяжелом сне...

Но, увы! мне нельзя было этого подумать, ибо на меня сыпались холодные капли дождя, крепко к моей груди прижималась грудь женщины, в лицо мне веяло ее теплое дыхание, хотя и с легоньким букетом водки... но — такое живительное... Выл и стонал ветер, стучал дождь о лодку, плескались волны, и оба мы, крепко сжимая друг друга, все-таки дрожали от холода. Все это было вполне реально, и я уверен, никто не видал такого тяжелого и скверного сна, как эта действительность.

А Наташа все говорила о чем-то, говорила так ласково и участливо, как только женщины могут говорить. Под влиянием ее речей, наивных и ласковых, внутри меня тихо затеплился некий огонек, и от него что-то растаяло в моем сердце.

Тогда из моих глаз градом полились слезы, смывшие с сердца моего много злобы, тоски, глупости и грязи, накипевшей на нем пред этой ночью... Наташа же уговаривала меня:

— Ну, полно, миленький, не реви! Полно! Бог даст, поправишься, опять на место поступишь... и все такое...

И все целовала меня. Много, без счета, горячо...

Это были первые женские поцелуи, преподнесенные мне



жизнью, и это были лучшие поцелуи, ибо все последующие страшно дорого стоили и почти ничего не давали мне.

— Ну, не реви же, чудак! Я тебя завтра устрою, коли тебе некуда деваться... — как сквозь сон слышал я тихий, убедительный шепот...

...До рассвета мы лежали в объятиях друг друга...

А когда рассвело, вылезли из-под лодки и пошли в город... Потом дружески простились и более не встречались никогда, хотя я с полгода разыскивал по всем трущобам эту милую Наташу, с которой провел описанную мною ночь однажды осенью...

Если она уже умерла — как это хорошо для нее! — в мире да почитет! А если жива — мир душе ее! Да не проснется в душе ее сознание падения... ибо это было бы страданием излишним и бесплодным для жизни...

## ПЕСНЯ О СОКОЛЕ

Море огромное, лениво вздыхающее у берега,— уснуло и неподвижно в дали, облитой голубым сиянием луны. Мягкое и серебристое, оно слилось там с синим южным небом и крепко спит, отражая в себе прозрачную ткань перистых облаков, неподвижных и не скрывающих собою золотых узоров звезд. Кажется, что небо все ниже наклоняется над морем, желая понять то, о чем шепчут неугомонные волны, сонно всползая на берег.

Горы, поросшие деревьями, уродливо изогнутыми норд-остом, резкими взмахами подняли свои вершины в синюю пустыню над ними, суровые контуры их округлились, одетые теплой и ласковой мглой южной ночи.

Горы важно задумчивы. С них на пышные зеленоватые гребни волн упали черные тени и одевают их, как бы желая остановить единственное движение, заглушить немолчный плеск воды и вздохи пены,— все звуки, которые нарушают тайную тишину, разлитую вокруг вместе с голубым серебром сияния луны, еще скрытой за горными вершинами.

— А-ала-ах-а-акбар!..— тихо вздыхает Надыр-Рагим-оглы, старый крымский чабан, высокий, седой, сожженный южным солнцем, сухой и мудрый старик.

Мы с ним лежим на песке у громадного камня, оторвавшегося от родной горы, одетого тенью, поросшего мхом,— у камня печального, хмурого. На тот бок его, который обращен к морю, волны набросали тины, водорослей, и обвешанный ими камень кажется привязанным к узкой песчаной полоске, отделяющей море от гор. Пламя нашего костра освещает его со стороны, обращенной к горе, оно вздрагивает, и по старому камню, изрезанному частой сетью глубоких трещин, бегают тени.

Мы с Рагимом варим уху из только что наловленной рыбы и оба находимся в том настроении, когда все кажется прозрачным, одухотворенным, позволяющим проникать в себя, когда на сердце так чисто, легко и нет иных желаний, кроме желания думать.

А море ластится к берегу, и волны звучат так ласково, точно просят пустить их погреться к костру. Иногда в общей гармонии

плеска слышится более повышенная и шаловливая нота—это одна из волн, посмелее, подползла ближе к нам.

Рагим лежит грудью на песке, головой к морю, и вдумчиво смотрит в мутную даль, опершись локтями и положив голову на ладони. Мохнатая баранья шапка съехала ему на затылок, с моря веет свежестью в его высокий лоб, весь в мелких морщинах. Он философствует, не справляясь, слушаю ли я его, точно он говорит с морем:

— Верный богу человек идет в рай. А который не служит богу и пророку? Может, он — вот в этой пене... И те серебряные пятна на воде, может, он же... кто знает?

Темное, могуче размахнувшееся море светлеет, местами на нем появляются небрежно брошенные блики луны. Она уже выплыла из-за мохнатых вершин гор и теперь задумчиво льет свой свет на море, тихо вздыхающее ей навстречу, на берег и камень, у которого мы лежим.

— Рагим!.. Расскажи сказку...— прошу я старика.

— Зачем? — спрашивает Рагим, не оборачиваясь ко мне.

— Так! Я люблю твои сказки.

— Я тебе все уж рассказал... Больше не знаю...— Это он хочет, чтобы я попросил его. Я прошу.

— Хочешь, я расскажу тебе песню? — соглашается Рагим.

Я хочу слышать старую песню, и унылым речитативом, стараясь сохранить своеобразную мелодию песни, он рассказывает.

## I

«Высоко в горы вполз Уж и лег там в сыром ущелье, свернувшись в узел и глядя в море.

Высоко в небе сияло солнце, а горы зноем дышали в небо, и бились волны внизу о камень...

А по ущелью, во тьме и брызгах, поток стремился навстречу морю, гремя камнями...

Весь в белой пене, седой и сильный, он резал гору и падал в море, сердито воя...

Вдруг в то ущелье, где Уж свернулся, пал с неба Сокол с разбитой грудью, в крови на перьях...

С коротким криком он пал на землю и бился грудью в бессильном гневе о твердый камень...

Уж испугался, отполз проворно, но скоро понял, что жизни птицы две-три минуты...

Подполз он ближе к разбитой птице, и прошипел он ей прямо в очи:

— Что, умираешь?

— Да, умираю! — ответил Сокол, вздохнув глубоко.— Я славно пожил!.. Я знаю счастье!.. Я храбро бился!.. Я видел небо... Ты не увидишь его так близко!.. Эх ты, бедняга!

— Ну что же — небо? — пустое место... Как мне там ползать? Мне здесь прекрасно... тепло и сыро!

Так Уж ответил свободной птице и усмехнулся в душе над нею за эти бредни.

Итак подумал: «Летай иль ползай, конец известен: все в землю лягут, все прахом будет...»

Но Сокол смелый вдруг встрепенулся, привстал немного и по ущелью повел очами...

Сквозь серый камень вода сочилась, и было душно в ущелье темном и пахло гнилью.

И крикнул Сокол с тоской и болью, собрав все силы:

— О, если б в небо хоть раз подняться!.. Врага прижал бы я... к ранам груди и... захлебнулся б моей он кровью!.. О, счастье битвы!..

А Уж подумал: «Должно быть, в небе и в самом деле пожить приятно, коль он так стонет!..»

И предложил он свободной птице: «А ты подвинься на край ущелья и вниз бросайся. Быть может, крылья тебя поднимут и проживешь еще немного в твоей стихии».

И дрогнул Сокол и, гордо крикнув, пошел к обрыву, скользя когтями по слизи камня.

И подошел он, расправил крылья, вздохнул всей грудью, сверкнул очами и — вниз скатился.

И сам, как камень, скользя по скалам, он быстро падал, ломая крылья, теряя перья...

Волна потока его схватила и, кровь оmyвши, одела в пену, умчала в море.

А волны моря с печальным ревом о камень бились... И труп птицы не видно было в морском пространстве...

## II

В ущелье лежа, Уж долго думал о смерти птицы, о страсти к небу.

И вот взглянул он в ту даль, что вечно ласкает очи мечтой о счастье.

— А что он видел, умерший Сокол, в пустыне этой без дна и края? Зачем такие, как он, умерши, смущают душу своей любовью к полетам в небо? Что им там ясно? А я ведь мог бы узнать все это, взлетевши в небо хоть ненадолго.

Сказал и — сделал. В кольцо свернувшись, он прыгнул в воздух и узкой лентой блеснул на солнце.

Рожденный ползать — летать не может!.. Забыв об этом, он пал на камни, но не убили, а рассмеялся...

— Так вот в чем прелесть полетов в небо! Она — в паденье!.. Смешные птицы! Земли не зная, на ней тоскуя, они стремятся высоко в небо и ищут жизни в пустыне знойной. Там только пусто.

Там много света, но нет там пищи и нет опоры живому телу. Зачем же гордость? Зачем укоры? Затем, чтоб ею прикрыть безумство своих желаний и скрыть за ними свою негодность для дела жизни? Смешные птицы!.. Но не обманут теперь уж больше меня их речи! Я сам все знаю! Я — видел небо... Взлетал в него я, его измерил, познал паденье, но не разбился, а только крепче в себя я верю. Пусть те, что землю любить не могут, живут обманом. Я знаю правду. И их призывам я не поверю. Земли творенье — землей живу я.

И он свернулся в клубок на камне, гордясь собою.

Блестело море, все в ярком свете, и грозно волны о берег бились.

В их львином реве гремела песня о гордой птице, дрожали скалы от их ударов, дрожало небо от грозной песни:

«Безумству храбрых поем мы славу!

Безумство храбрых — вот мудрость жизни! О смелый Сокол! В бою с врагами истек ты кровью... Но будет время — и капли крови твоей горячей, как искры, вспыхнут во мраке жизни и много смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы, света!

Пусть ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету!

Безумству храбрых поем мы песню!..»

...Молчит опаловая даль моря, певуче плещут волны на песок, и я молчу, глядя в даль моря. На воде все больше серебряных пятен от лунных лучей... Наш котелок тихо закипает.

Одна из волн игриво вскатывается на берег и, вызывая шумя, ползет к голове Рагима.

— Куда идешь?.. Пшла! — машет на нее Рагим рукой, и она покорно скатывается обратно в море.

Мне нимало не смешна и не страшна выходка Рагима, одухотворяющего волны. Все кругом смотрит странно живо, мягко, ласково. Море так внушительно спокойно, и чувствуется, что в свежем дыхании его на горы, еще не остывшие от дневного зноя, скрыто много мощной, сдержанной силы. По темно-синему небу золотым узором звезд написано нечто торжественное, чарующее душу, смущающее ум сладким ожиданием какого-то откровения.

Все дремлет, но дремлет напряженно чутко, и кажется, что вот в следующую секунду все встрепенется и зазвучит в стройной гармонии неизъяснимо сладких звуков. Эти звуки расскажут про тайны мира, разъяснят их уму, а потом погасят его, как призрачный огонек, и увлекут с собой душу высоко в темно-синюю бездну, откуда навстречу ей трепетные узоры звезд тоже зазвучат дивной музыкой откровения...

## «ВЫВОД»

По деревенской улице, среди белых мазанок, с диким воем двигается странная процессия.

Идет толпа народа, идет густо, медленно и шумно, — движется, как большая волна, а впереди ее шагает шероховатая лошаденка, понуро опустившая голову. Поднимая одну из передних ног, она так странно встряхивает головой, точно хочет ткнуться шершавой мордой в пыль дороги, а когда она переставляет заднюю ногу, ее круп весь оседает к земле, и кажется, что она сейчас упадет.

К передку телеги привязана веревкой за руки маленькая, совершенно нагая женщина, почти девочка. Она идет как-то странно — боком, ноги ее дрожат, подгибаются, ее голова, в растрепанных темно-русых волосах, поднята вверх и немного откинута назад, глаза широко открыты, смотрят вдаль тупым взглядом, в котором нет ничего человеческого. Все тело ее в синих и багровых пятнах, круглых и продолговатых, левая упругая, девическая грудь рассечена, и из нее сочится кровь. Она образовала красную полосу на животе и ниже по левой ноге до колена, а на голени ее скрывает коричневая короста пыли. Кажется, что с тела этой женщины содрана узкая и длинная лента кожи. И, должно быть, по животу женщины долго били поленом, а может, топтали его ногами в сапогах — живот чудовищно вспух и страшно посинел.

Ноги женщины, стройные и маленькие, еле ступают по серой пыли, весь корпус изгибается, и нельзя понять, почему женщина еще держится на этих ногах, сплошь, как и все ее тело, покрытых синяками, почему она не падает на землю и, вися на руках, не волочится за телегой по теплой земле...

А на телеге стоит высокий мужик, в белой рубахе, в черной смушковой шапке, из-под которой, перерезывая ему лоб,

свесилась прядь ярко-рыжих волос; в одной руке он держит вожжи, в другой—кнут и методически хлещет им раз по спине лошади и раз по телу маленькой женщины, и без того уже добитой до утраты человеческого образа. Глаза рыжего мужика налиты кровью и блещут злым торжеством. Волосы оттеняют их зеленоватый цвет. Засученные по локти рукава рубахи обнажили крепкие руки, густо поросшие рыжей шерстью; рот его открыт, полон острых белых зубов, и порой мужик хрипло вскрикивает:

— Н-ну... ведьма! Гей! Н-ну! Ага! Раз!..

Сзади телеги и женщины, привязанной к ней, валом валит толпа и тоже кричит, воеет, свищет, смеется, улюлюкает, подзадоривает. Бегут мальчишки... Иногда один из них забегают вперед и кричит в лицо женщины циничные слова. Взрывы смеха в толпе заглушают все остальные звуки и тонкий свист кнута в воздухе. Идут женщины с возбужденными лицами и сверкающими удовольствием глазами. Идут мужчины, кричат нечто отвратительное тому, что стоит в телеге. Он оборачивается назад к ним и хохочет, широко раскрывая рот. Удар кнутом по телу женщины. Кнут, тонкий и длинный, обвивается около плеча, и вот он захлестнулся под мышкой. Тогда мужик, который бьет, сильно дергает кнут к себе; женщина визгливо вскрикивает и, опрокидываясь назад, падает в пыль спиной. Многие из толпы подскакивают к ней и скрывают ее собой, наклоняясь над нею.

Лошадь останавливается, но через минуту она снова идет, а избитая женщина по-прежнему двигается за телегой. И жалкая лошадь, медленно шагая, все мотает своей шершавой головой, точно хочет сказать:

«Вот как подло быть скотом! Во всякой мерзости люди заставляют принять участие...»

А небо, южное небо, совершенно чисто,— ни одной тучки, солнце щедро льет жгучие лучи...

.....

Это я написал не выдуманное мною изображение истязания правды — нет, к сожалению, это не выдумка. Это называется — «вывод». Так наказывают мужья жен за измену; это бытовая картина, обычай, и это я видел в 1891 году, 15 июля, в деревне Кандыбовке, Херсонской губернии, Николаевского уезда.

Я знал, что за измену у нас, в Заволжье, женщин обнажают, мажут дегтем, осыпают куриными перьями и так водят по улице. Знал, что иногда затейливые мужья или свекры в летнее время мажут «изменниц» патокой и привязывают к дереву на съедение насекомым. Слышал, что изредка изменниц, связанных, сажают на муравьиные кучи. И вот — видел, что все это возможно в среде людей безграмотных, бессовестных, одичавших от волчьей жизни в зависти и жадности.

## НА ПЛОТАХ

*Пасхальный рассказ*

### I

...Грузные тучи медленно ползут над сонной рекой; кажется, что они спускаются все ниже и ниже; кажется, что вдали их серые лохмотья коснулись поверхности быстрых и мутных весенних волн, и там, где они коснулись воды, — встала до небес непроницаемая стена облаков, заградившая собою течение реки и путь плотам.

И волны, безуспешно подмывая эту стену, бьются о нее с тихим, жалобным рокотом, бьются и, отброшенные ею, разбегаются вправо, влево, где лежит сырая тьма весенней, свежей ночи.

Но плоты плывут вперед, и даль отодвигается пред ними в пространство, полное тяжелых облачных масс.

Берегов не видать — их скрыла ночь и оттолкнули куда-то широкие волны разлива.

Река — точно море. Небо над нею окутано облаками, тяжело, сыро и скучно.

Плоты скользят по воде быстро и бесшумно, а навстречу им из тьмы выдвигается пароход, выбрасывая из трубы веселую толпу искр и глухо ударяя по воде плицами колес...

Два красных фонаря на отводах все увеличиваются, становятся ярче, а фонарь на мачте тихо покачивается из стороны в сторону и таинственно подмигивает тьме.

Пространство наполнено шумом разбиваемой воды и тяжелыми вздохами машины.

— По-оглядывай! — раздается на плотях сильный грудной оклик.



У рулевых весел, на хвосте плота, стоят двое: Митя — сын сплавщика, русский, хилый, задумчивый парень лет двадцати, и Сергей — работник, хмурый, здоровый детина в рыжей бороде; из ее рамки выдаются крепкие, крупные зубы, не закрытые верхней губой, насмешливо вздернутой кверху.

— Клади лево! — снова сотрясает тьму громкий крик спереди плотов.

— Знаем и сами, чего орешь? — недовольно ворчит Сергей и, вздыхая, наваливается грудью на весло.

— О-ух! Вороти крепчае, Митюк!

Митрий, упираясь ногами в сырые бревна, тянет к себе тонкими руками тяжелую жердь — руль — и хрипло кашляет.

— Гни... бери левей!.. Черти, дьяволы! — кричат спереди тревожно и озлобленно.

— Ори! Твой-то чахлый сын соломину о колено не переломит, а ты его на руль ставишь, да и орешь потом на всю реку. Жаль было еще работника нанять кощею-снохачу. Ну, и рви теперь глотку-то!..

Сергей ворчит уже громко, очевидно, не опасаясь, что его услышат, и даже как бы желая этого...

Пароход мчится мимо плотов, с ропотом выметывая из-под колес пенистые волны. Бревна раскачиваются на воде, и скрученные из сучьев связи скрипят жалобным и сырым звуком.

Освещенные окна парохода смотрят на реку и плоты, как ряд огненных глаз, отражаются на взволнованной воде светлыми трепещущими пятнами и исчезают.

Волны сильно плещут на плоты, бревна прыгают, и Митрий, покачиваясь на ногах, крепко прижимается к рулю, боясь упасть.

— Ну, ну! — насмешливо урчит Сергей, — заплясал! Вот отец-то гаркнет тебе опять... А то пойдет да всадит тебе в бок-то разá, тогда не так запляшешь! Бери право! Ой-ну! О-о!..

И упругими, как стальные пружины, руками Сергей мощно ворокает свое весло, глубоко разрывая им воду...

Энергичный, высокий, немного злой и насмешливый, он стоит так, точно прирос к бревнам босыми ногами, и в напряженной позе, готовый каждую секунду поворотить плоты, зорко смотрит вперед.

— Ишь отец-то у тебя, как обнимат Марьку-то! Ну и дьяволы же! Ни стыда, ни совести! И чего ты, Митрий, не уйдешь куда от них, чертей поганных?.. а? Слышь, что ли?

— Слышу! — вполголоса говорит Митрий, не глядя туда, где Сергей, сквозь тьму, видит его отца.

— Слышу-у! Эх ты, тюря! — дразнится Сергей и хохочет. — Дела! — продолжает он, подзадориваемый апатией Митрия. — Ну и старик — черт! Женил сына, отбил сноху и — прав! Старый галман!

Митрий молчит и смотрит назад по реке, где тоже образовалась стена густых облаков.

Теперь облака везде, и кажется, что плоты не плывут, а неподвижно стоят в этой густой и черной воде, подавленной тяжелыми темно-серыми горами туч,— упав в нее с неба, они заградили ей путь.

Река кажется бездонным омутом, со всех сторон окруженным горами, высокими до неба и одетыми густым покровом тумана.

Кругом— томительно тихо, и вода точно ждет чего-то, слабо поплескивая на плоты. Много грусти и какой-то робкий вопрос слышится в этом бедном звуке, единственном среди ночи и еще более оттеняющем ее тишину...

— Ветру бы теперь дунуть...— говорит Сергей.— Нет, не надоветру — ветер дождя нагонит,— возражает он сам себе, набивая трубку.

Вспыхивает спичка, слышно хрипение в засоренном чубуке, и красный огонек, то разгораясь, то угасая, освещает ныряющее во тьме широкое лицо Сергея.

— Митрий! — раздается его голос. Теперь он менее угрюм, и в нем яснее звучит насмешливая нота.

— А? — вполголоса отвечает Митрий, не отводя глаз из дали, где он пристально рассматривает что-то большими и грустными глазами.

— Как же это, брат ты мой, а?

— Чего? — отзывается Митрий недовольно.

— Женился-то?! Смехи! Как это было-то? Ну, пошли вы, значит, с женой спать? Ну, как же?!

— Эй, вы, там! По-оглядыва-ай! — угрожающе пронеслось над рекой.

— Ишь ревет, снохач анафемский! — с восхищением отмечает Сергей и снова возвращается к своей теме.— Ну, скажи, что ли? Мить! Скажи, чай! а?

— Отстань, Серега! — говорил ведь! — просительно шепчет Митрий; но, должно быть, зная, что от Сергея не отвяжешься, торопливо начинает: — Ну, пришли мы спать. Я и говорю ей: «Не могу я мужевать с тобой, Марья. Ты девка здоровая, я человек больной, хилый. И совсем я жениться не желал, а батюшка, мол, силком меня — женись, говорит, да и все! Я, мол, вашу сестру не люблю, а тебя больше всех. Бойка больно... Да... И ничего я этого не могу... понимаешь... Пакость одна да грех... Дети тоже... За них ответ богу дать надо...»

— Пакость! — взвизгивает Сергей и громогласно хохочет.— Ну и что ж она, Марья-то? а?

— Ну... «Что же, говорит, мне делать теперь?» Плачет сидит. «Чем, говорит, я тебе не по сердцу? Али, говорит, я уродина какая?» Бесстыдница она, Серега!.. «Что же, говорит, мне с моим здоровьем к свекру, что ли, идти?» Я говорю: «Как хошь, мол... Куда хошь иди. Мне, мол, супротив души невозможно поступить... Дедушка Иван говорил — смертный грех это дело. Скоты мы с тобой, что ли, мол?» Плачет все. «Загубили, говорит,

мою девичью красоту». Жалко ее было мне. «Ничего, мол, как-нибудь обойдешься. А то, мол, в монастырь иди». Она ругаться: «Дурак ты, говорит, Митька, подлец...»

— А, б-батьюшки! — восхищенным шепотом шипит Сергей. — Так ты ей и отколол — в монастырь?

— Так и сказал, — просто говорит Митя.

— А она тебя — дураком? — повышает тон Сергей.

— Да... обругала.

— За дело, брат! А-ах и за дело! Вздуть бы еще надо! — вдруг меняет тон Сергей. Теперь он говорит строго и внушительно. — Разве ты можешь супротив закону идти? А ты — пошел! Установлено — ну, значит, и шабаш! Не моги спорить. А ты накося! Эко, выворотил корягу! В монастырь! Дурья голова! Ведь девке-то что надо? Али монастырь? Ну и люди нынче! Ты подумай — что вышло? Сам ты ни бэ, ни мэ, ни ку-ка-ре-ку, девку погубил... полюбовницей стариковой стала — старика во грех снохаческий ввел. Сколько ты закона нарушил? Го-олова!

— Закон-то, Сергей, в душе. Один закон про всех: не делай такого, что против души твоей, и никакого ты худа на земле не сделаешь, — тихо и умиротворяюще проговорил Митрий, тряхнув головой.

— А ты вот сделал! — энергично возразил Сергей. — В душе! Эко, тоже... Мало ли что в душе-то есть. Всему запрета полагать — нельзя. Душа, душа... Ее, брат, понимать надо, а потом уж и того...

— Нет, ты это не так, Сергей! — горячо заговорил Митрий, точно вспыхнул вдруг. — Душа-то, брат, всегда чиста, как росинка. В скорлупке она, вот что! Глубоко она. А коли ты к ней прислушаешься, так не ошибешься. Всегда по-божески будет, коли по душе сделано. В душе ведь бог-то, и закон, значит, в ней. Богом она создана, богом в человека вдунута. Нужно только в нее заглянуть уметь. Нужно только не жалеючи себя...

— Эй, вы! Демоны сонные! Гляди в оба! — раскатисто загремело и поплыло по реке.

По силе звука чувствовалось, что кричит человек здоровый, энергичный, довольный собой, человек с большой и ясно сознанной им жизнеспособностью. Кричалось не потому, что окрик был вызван сплавщиками, а потому, что душа была полна чем-то радостным и сильным, — это радостное, сильное — просилось на волю, и вот — вырвалось в гремящем, энергичном звуке.

— Ишь как тявкнул, старый черт! — с удовольствием отметил Сергей, зорко глядя вперед. — Милуются, голубки! Завидно не быват, Митька?

Митрий равнодушно посмотрел туда, к передним веслам, где две человеческие фигуры перебежали по плотам справа налево и, останавливаясь близко друг к другу, иногда сливались в одну плотную, темную массу.

— Не завидно? — повторил Сергей.

— Что мне? Их грех — их ответ, — тихо сказал Митя.

— Та-ак! — иронически протянул Сергей и подложил табак в трубку. Снова во тьме заблестел красный огонек.

А ночь становилась все гуще, и серые тучи, черные, все ниже спускались над тихой, широкой рекой.

— Где ж это ты, Митрий, нахватал такой мудрости, а? Али уж у тебя это врожденное? Не в отца ты, браток. Герой у тебя отец-от. Смотри-ко — полсотни годов ему, а он какую кралечку милует! Сок один баба. И любит она его — что уж тут! Любит, брат. Нельзя не любить козыря такого. Король козырей, бардадын отец-от у тебя. Работает — любо глядеть, достаток большой; почета — хошь отбавляй, и голова на месте. Н-да. А ты вот ни в мать, ни в отца. Мить? А что бы отец-от сделал, кабы покойница Анфиса жива была? Чудно! Посмотрел бы я, как она его... Тоже баба была — бой, матка-то твоя... Под пару Силану-то.

Митрий молчал, облокотясь на весло и глядя в воду.

Сергей тоже замолчал. Спереди плотов доносился звонкий женский смех. Ему вторил басовитый смех мужчины. Затканые мглой, их фигуры были еле видны Сергею, с любопытством смотревшему на них сквозь тьму. Можно было видеть, что мужчина высок и стоит у весла, широко расставив ноги, вполоборота к кругленькой, маленькой женщине, прислонившейся грудью к другому веслу, саженьях в полутора от первого. Она грозит мужчине пальцем, рассыпчато и задорно посмеиваясь. Сергей отвернулся со вздохом сокрушения и, сосредоточенно помолчав, заговорил опять:

— Эхма! И ладно же им там. Мило! Мне бы вот так-то, бобылю-шатале! Ни в жисть бы от такой бабы не ушел! Эх ты! Так бы все и мял ее в руках, не выпускал. Н-а, чувствуй, как люблю... Черт те! Не везет вот мне на бабу... Не любят, видно, бабы рыжих-то. Н-да. Капризная она — баба эта... А шельма! Жадна жить. Митя! Эй, спишь?

— Нет, — тихо ответил Митя.

— То-то! Как же ты, брат, жизнь проходить будешь! Ведь ежели говорить правду — один ты, как перст. Тяжело! Куда ж ты себя теперь определишь? Житья тебе настоящего на людях не найти. Смешно больно. Али это человек, который постоять за себя не умеет! Нужно, брат, зубы да когти. Всякий тебя будет забижать. Рази ты можешь оборониться? Чем тебе оборониться? Эхе-хе! Чудён! Куда ж ты?

— Я-то? — вновь встрепенулся Митя. — Я уйду. Я, брат, осенью ныне — на Кавказ, и — кончено! Господи! Только бы скорее от вас! Бездушные! Безбожные вы люди, бежать от вас — одно спасенье! Зачем вы живете? Где у вас бог? Слово у вас одно... Али вы во Христе живете? Эх вы, — волки вы! А там иные люди, живы души их во Христе, и сердца их содержат любовь и о спасении мира страждут. А вы? Эх вы! Звери, пакость рыкающие! Есть иные люди. Видел я их. Звали меня. К ним и уйду. Книгу

святого писания принесли мне они. «Читай, говорят, человек божий, брат наш любезный, читай слово истинно!..» И читал я, и обновилась душа моя от слова божия. Уйду. Брошу вас, волки безумные, — от плоти друг друга питаетесь вы. Анафема вам!

Митрий говорил это страстным шепотом и задышался от переполнявшего его чувства презрительной злобы к безумным волкам, от жажды тех людей, души которых мыслят о спасении мира.

Сергей был ошеломлен. Он помолчал, широко открыв рот, держа в руке свою трубку, подумал, оглянулся кругом и сказал густым, угрюмым голосом:

— Ишь как взъелся!.. Злой тоже. Напрасно чёл книгу-то. Кто ё знает, какая там она? Ну... вали, вали, утекай, а то совсем испортиться можешь. Айда! Беги, пока не озверел совсем... А что ж это за люди там, на Кавказе? Монахи? Аль, может, староверы? Они молоканы, что ли? А?

Но Митрий потух уже, так же быстро, как и вспыхнул. Он ворочал веслом, задыхаясь от усилий, и что-то шептал быстро и нервно.

Сергей долго ждал его ответа и не дождался. Его здоровую, несложную натуру давила мрачная, мертвенно тихая ночь, ему хотелось напомнить себе самому о жизни, будить эту тишину звуками, всячески тревожить и вспугивать это притаившееся созерцательное молчание тяжелой массы воды, медленно лившейся в море, и уныло застывшие в воздухе неподвижные груды облаков. На том конце плота жили и его возбуждали к жизни.

Оттуда то и дело долетал то тихий, довольный смех, то отрывочные восклицания, стуженные тишиной и тьмой этой ночи, полной запаха весны, возбуждавшего горячее желание жить.

— Брось, Митрий, куда воротишь? Ругнет старик-то, смотри,— заметил он наконец, не вынося более молчания и видя, что Митрий бесцельно буравит воду веслом. Митрий остановился, отер вспотевший лоб и замер, прислонясь грудью к веслу и тяжело дыша.

— Мало сегодня пароходов чего-то... Кой час плывем, а всего один встрется.

И, видя, что Митрий не собирается ответить, Сергей резонно объяснил сам себе:

— Это потому, что навигация еще не открылась. Начинается только еще. А живо мы сплывем в Казань-то — здорово тащит Волга. Хребет у нее богатырский — все поднимет. Ты чего стоишь? Осерчал, что ли, а, Мить? Эй!

— Ну что? — недовольно спросил Митрий.

— Ничего, чудак человек... Чего, мол, молчишь? Думаешь все? Брось. Вредно это человеку. Эх ты, мудрец, мудришь ты, мудришь, а что разума-то у тебя нет,— это тебе и невдомек! Ха-ха!

И Сергей, посмеявшись, в сознании своего превосходства крепко крикнул, помолчал, засвистал было, но оборвал свист и продолжал развивать свою мысль далее:

— Думы! Али это для простого человека занятие? Вон, глянь-ко, отец-от твой не мудрит — живет. Милует твою жену да посмеивается с ней над тобой, дураком мудрым. Так-то! Чу, как они? Ах ты, дуй их горой! Поди уже беременна Марья-то! Не бойсь, не в тебя дите-то будет. Такой же, надо полагать, ухарь, как и Силан Петров. А твоим ведь зачислится ребенок-то. Дела! Ха! «Тятка», — скажет тебе. А ты ему, значит нетятка, а брат будешь. А тятка-то у него — дедушка! Эх ты, ловко! Эки пакостники! А удалцы народы! Так ведь, Митя?

— Сергей! — раздался страстный, взволнованный, чуть не рыдающий шепот. — Христа ради прошу, не рви ты мою душу, не жги меня, отстань! Молчи! Христом-богом прошу, не говори со мной, не растравляй меня, не соси мою кровь. Брошусь в реку я, грех ляжет на тебя большой! Душу мою загублю я, не трожь ты меня! Богом клянусь — прошу!..

Тишину ночи разорвал болезненно визгливый вопль, и Митрий, как стоял, опустился на бревна, точно его пришибло что-то тяжелое, упавшее на него сверху из угрюмых туч, нависших над черной рекой.

— Ну, ну, ну! — боязливо заворчал Сергей, поглядывая, как его товарищ метался по бревнам, точно обожженный огнем. — Чудак человек! Этакий чудак... сказал бы, чай... коли не тово тебе... не этово...

— Всю дорогу ты мучишь меня... за что? Враг я тебе? а? враг? — горячо шептал Митя...

— Чудак ты, брат! Ах, какой чудак! — смущенно и обиженно бормотал Сергей. — Рази я знал что? Мне твоя душа неведома, чай!

— Забыть я хочу это, пойми! Забыть на всю жизнь! Позор мой... мука лютая... свирепые вы люди! Уйду я! Навек уйду... Не в мочь мне...

— Да уходи!.. — гаркнул Сергей на всю реку, подкрепил восклицание громоподобным циничным ругательством и сразу осекся, как-то съежился и присел, очевидно, тоже подавленный развернувшейся пред ним душевной драмой, не понять которой теперь — он не мог уже.

— Эй, вы! — носился над рекой голос Силана Петрова. — Что у вас? Чего лааете? а-эй?

Должно быть, Силану Петрову нравилось шуметь на реке среди тяжелого молчания своим густым и крепким басом. Окрики лились один за другим, сотрясая воздух, теплый и сырой, подавляя своей жизненной силой тщедушную фигуру Митрия, уже снова стоявшего у весла. Сергей, во всю мочь отвечая хозяину, в то же время вполголоса ругал его крепкой и соленой русской руганью. Два голоса рвали тишину ночи, будили ее, встряхивали и то сливались в одну густую ноту, сочную, как звук большой

медной трубы, то, возвышаясь до фальцета, плавали в воздухе, гасли и гибли. Потом — снова стало тихо.

Сквозь разрыв в тучах на темную воду пали желтые пятна лунных лучей и, посверкав с минуту, исчезли, стертые сырой тьмой. Плоты плыли дальше, посреди тьмы и молчания.

## II

У одного из передних весел стоял Силан Петров, в красной рубаше с расстегнутым воротом, обнажавшим его могучую шею и волосатую, прочную, как наковальня, грудь. Шапка сивых волос нависла ему на лоб, и из-под нее усмехались большие, горячие, карие глаза. По локоть засученные рукава рубашки обнажали жилистые руки, крепко державшие весло, и, немного подавшись корпусом вперед, он что-то зорко высматривал в густой тьме дали.

Марька стояла в трех шагах от него, к течению боком, и с улыбкой поглядывала на широкогрудую фигуру милого. Оба молчали, занятые наблюдением: он — за далью, она — за игрой его живого бородатого лица.

— Костер рыбацкий, должно! — повернулся он к ней лицом. — Ничего. Держим прямо! О-ох! — выдохнул он из себя целый столб горячего воздуха, ровно ударив веслом влево и мощно проводя им по воде. — Не натужься больно-то, Машурка! — заметил он, видя, что и она делает тоже ловкое движение своим веслом.

Кругленькая, полная, с черными бойкими глазами и румянцем во всю щеку, босая, в одном мокром сарафане, приставшем к ее телу, — она повернулась к Силану лицом и, ласково улыбаясь, сказала:

— Уж больно ты бережешь меня. Чай, я слава те господи!

— Целую — не берегу! — передернул плечами Силан.

— И не след! — вызывающе прошептала она.

Они замолчали, оглядывая друг друга жадными взглядами.

Под плотами задумчиво журчала вода. Справа, далеко где-то, запели петухи.

Чуть заметно колыхаясь под ногами, плоты плыли вперед, туда, где тьма уже редела и таяла, а облака принимали более резкие очертания и светлые оттенки.

— Силан Петрович! Знаешь, чего они там визжали? Я знаю, право слово, знаю! Это Митрий жалился на нас Сережке, да и проскулил так-то жалобно с тоски, а Сережка-то и ругнул нас.

Марья пытливо уставилась в лицо Силана, теперь, после ее слов, суровое и холодно упрямое.

— Ну, так что? — коротко спросил он.

— Так. Ничего.

— А коли ничего, так и говорить было нечего.

— Да ты не серчай!

— На тебя-то? И рад бы иной раз, да не в силу.



— Любишь Машку? — шаловливо прошептала она, наклонясь к нему.

— Э-эх! — выразительно крикнул Силан и, протянув к ней свои сильные руки, сквозь зубы сказал: — Иди, что ли... Не задорь...

Она изогнулась, как кошка, и мягко прильнула к нему.

— Опять собьем плоты-то! — шептал он, целуя ее лицо, горевшее под его губами.

— Будет уж! Светает... Видно нас с того конца.

Она попыталась оттолкнуться от него. Но он еще крепче прижал ее рукой.

— Видно? Пускай видят! Пускай все видят! Плюю на всех. Грех делаю, точно. Знаю. Ну что ж? Подержу ответ господу. А все ж таки женой ты его не была. Свободная, стало быть, ты сама своя... Тяжко ему? Знаю. А мне? Али снохачом быть лестно? Хоть оно, положим, ты не жена ему... А все ж! С моим-то почетом — каково мне теперь? А перед богом не грех? Грех! Все знаю! И все преступил. Потому — стоит. Один раз на свете-то живут, и кажинный день умереть можно. Эх, Марья! Месяц бы мне один погодить Митьку-то женить! Ничего бы этого не было. Сейчас бы после смерти Анфисы сватов я к тебе заслал — и шабаш! В законе: Без греха, без стыда. Ошибка моя была. Сгрызет она мне лет пяток-десяток, ошибка эта. Умрешь от нее раньше смерти...

— Ну ладно, брось, не тревожь себя. Было говорено про это не раз уж, — прошептала Марья и, тихонько освободившись от его объятий, подошла к своему веслу. Он стал работать порывисто и сильно, как бы желая дать исход той тяжести, что легла ему на грудь и омрачила его красивое лицо.

Светало.

И тучи, редая, лениво расплзались по небу, как бы не желая дать места всходящему солнцу. Вода реки приобрела холодный блеск стали.

— Опять он намедни толковал. «Батюшка, говорит, али это не стыд-позор тебе и мне? Брось ты ее, тебя-то то есть, — усмехнулся Силан Петров, — брось, говорит, войди в меру». — «Сып, мол, мой милый, отойди прочь, коли жив быть хошь! Разорву в куски, как тряпицу гнилую. Ничего от твоей добродетели не останется. На муку, мол, себе родил я тебя, выродка». Дрожит. «Батюшка! али, говорит, я виноват?» — «Виноват, мол, комар пискливый, — потому камень ты на моей дороге. Виноват, мол, потому постоять за себя не умеешь. Мертвечина, мол, ты, стерва тухлая. Кабы, мол, ты здоров был, — хоть бы убить тебя можно было, а то и этого нет. Жалко тебя, кикимору несчастную». Вое! Эх, Марья! Плюхи люди стали! Другой бы — э-эхма! Выбился бы из петли-то скоро. А мы — в ней! Да, может, так и затынем друг друга.

— Это ты о чем? — робко спросила Марья, с испугом глядя на него, сурового, мощного и холодного.



— Так... Умер бы он... Вот что. Кабы умер... ловко бы! Все бы в колею вскочило. Отдал бы твоим землю, замазал бы им глотку-то, а с тобой — в Сибирь... али на Кубань! Кто такая? Жена моя! Поняла? Документ бы такой достали... бумагу. Лавку бы открыл в деревне где. И жили бы. И грех наш перед господом замолили бы. Много ли нам надо? Помогли бы людям жить, а они бы помогли нам совесть успокоить... Хорошо? а? Маша?!

— Да-а! — вздохнула она и крепко, зажмурив глаза, задумалась о чем-то.

Они помолчали... Журчала вода...

— Чахлый он... Может, скоро умрет, — глухо сказал Силан Петров.

— Дай-ко ты, господи, поскорее бы! — молитвенно произнесла Марья и перекрестилась.

Брызнули лучи весеннего солнца и заиграли на воде золотом и радугой. Дунул ветер, все дрогнуло, ожило и засмеялось. Голубое небо между туч тоже улыбалось раскрашенной солнцем воде. А тучи остались уже сзади плотов.

Там, собравшись в тяжелую, темную массу, они раздумчиво и неподвижно стояли над широкой рекой, точно выбирая путь, которым скорее уйдешь от живого солнца весны, богатого блеском и радостью, и врага им, матерям зимних выюг, запоздавшим отступить пред весной.

Впереди плотов сияло чистое, ясное небо, и солнце, еще холодное по-утреннему, но яркое по-весеннему, важно и красиво всходило все выше в голубую пустыню неба из пурпурно-золотых волн реки.

Справа от плотов был виден коричневый горный берег в зеленой бахrome леса, слева — бледно-изумрудный ковер лугов блестел брильянтами росы.

В воздухе поплыл сочный запах земли, только что рожденной травы и смолистый аромат хвой.

Силан Петров посмотрел на задние весла.

Сергей и Митрий точно приросли к ним. Но еще трудно было, за далью, видеть выражение их лиц.

Он перевел глаза на Марью.

Ей было холодно. Стоя у весла, она сжалась в комок и стала совсем круглой. Вся облитая солнцем, она смотрела вперед задумчивыми глазами, и на ее губах играла та загадочная и чарующая улыбка, которая и некрасивую женщину делает обаятельной и желанной.

— Поглядывай в оба, ребятушки-и! О-о!.. — во всю мочь громыхнул Силан Петров, чувствуя мощный прилив бодрости в своей широкой груди.

И от его крика все кругом как бы колыхнулось. Долго по горному берегу звучало эхо.

## ДЕЛО С ЗАСТЕЖКАМИ

...Нас было трое приятелей — Семка Каргуза, я и Мишка — бородатый гигант с большими синими глазами, вечно ласково улыбавшимся всему и вечно опухшими от пьянства. Мы обитали в поле, за городом, в старом полуразрушенном здании, почему-то называвшемся «стеклянным заводом», может быть, потому, что в его окнах не было ни одного целого стекла. Мы брали разные работы: чистили дворы, рыли канавы, погреба, помойные ямы, разбирали старые здания и заборы и однажды даже попробовали построить курятник. Но это нам не удалось — Семка, всегда относившийся педантически честно к взятым на себя обязанностям, усомнился в нашем знакомстве с архитектурой курятников и однажды в полдень, когда мы отдыхали, взял да и снес в кабак выданные нам гвозди, две новые доски и топор работодателя. За это нас прогнали с работы; но так как взять с нас было нечего — к нам не предъявили никаких претензий. Мы перебивались «с хлеба на воду» и все трое ощущали вполне естественное и законное в таком положении недовольство нашей судьбой.

Иногда оно принимало острую форму, вызывавшую в нас враждебное чувство ко всему окружающему и увлекавшее на подвиги довольно буйственные и предусмотренные «Уложением о наказаниях, налагаемых мировыми судьями»; но вообще мы были меланхолично тупы, озабочены приисканием заработка и крайне слабо реагировали на все те впечатления бытия, от которых нельзя было чем-либо поживиться.

Мы все трое встретились в ночлежном доме недели за две до факта, о котором я хочу рассказать, считая его интересным.

Через два-три дня мы были уже друзьями, ходили всюду вместе, поверяли друг другу свои намерения и желания, делили поровну все, что перепало кому-либо одному из нас, и вообще заключили между собой безмолвный оборонительный и наступательный союз против жизни, обращавшейся с нами крайне враждебно.

Мы весьма усердно отыскивали в течение дня возможность что ни то разобрать, распилить, выкопать, перетаскать, и если таковая возможность представлялась, то сначала довольно ревностно принимались за работу.

Но потому, должно быть, что в душе каждый из нас считал себя предназначенным для выполнения более высших функций, чем, например, копанье помойных ям или чистка их,— что еще хуже, прибавлю для непосвященных в это дело,— часа через два работы нам она переставала нравиться. Потом Семка начинал сомневаться в ее надобности для жизни.

— Копают яму... А для чего? Для помоев. А просто бы так лить на двор? Нельзя, вишь. Пахнуть, дескать, будет. Ишь ты! Помои будут пахнуть! Скажут тоже у безделья-то. Выброси, например, огурец соленый — чем он будет пахнуть, коли он маленький? Полежит день — и нет его, сгнил. Это вот ежели человека мертвого выбросить на солнце, он действительно попахнет, потому — гадина крупная.

Такие Семкины сентенции сильно охлаждали наш трудовой пыл... И это было довольно выгодно для нас, если работа была взята поденно, но при сдельной работе всегда выходило так, что плата за нее забиралась и проедалась нами ранее, чем работа была доведена до конца. Тогда мы шли к хозяину просить «прибавки»; он же в большинстве случаев гнал нас вон и грозил с помощью полиции заставить нас докончить труд, уже оплаченный им. Мы возражали, что голодные мы не можем работать, и более или менее возбужденно настаивали на прибавке, чего в большинстве случаев и достигали.

Конечно, это было непорядочно, но, право же, это было очень выгодно, и мы — ни при чем, если в жизни устроено так неловко, что порядочность поступка всегда почти стоит против выгоды его.

Пререкания с работодателями всегда брал на себя Семка и поистине артистически ловко вел их, излагая доказательства своей правоты тоном человека, измученного работой и изнывающего под тяжестью ее...

А Мишка смотрел, молчал и хлопал своими голубыми глазами, то и дело улыбаясь доброй, умиротворяющей улыбкой, как бы пытаясь сказать что-то и не находя в себе решимости. Он говорил вообще очень мало и только в пьяном виде бывал способен сказать нечто вроде спича.

— Братцы мои! — восклицал он тогда, улыбаясь, и при этом его губы странно вздрагивали, в горле першило, и он несколько времени после начала речи кашлял, прижимая горло рукой...

— Н-ну? — нетерпеливо поощрял его Семка.

— Братцы вы мои! Живем мы, как собаки... И даже не в пример хуже... А за что? Неизвестно. Но, надо полагать, по воле господ бога. Все делается по его воле... а, братцы? Ну, вот...

Значит, мы достойны собачьего положения, потому что люди мы плохие. Плохие мы люди, а? Ну, вот... Я и говорю теперь: так нам, псам, и надо. Верно я говорю? Выходит — это нам по делам нашим. Значит, должны мы терпеть нашу судьбу... а? Верно?

— Дурак! — равнодушно отвечал Семка на тревожные и пытливые вопросы товарища.

А тот виновато ежился, робко улыбался и молчал, моргая слипавшимися от опьянения глазами.

Однажды нам «пофартило».

Мы, ожидая спроса на наши руки, толкались по базару и наткнулись на маленькую, сухую старушку с лицом сморщенным и строгим. Голова у нее тряслась, и на совином носе попрыгивали большие очки в тяжелой серебряной оправе; она их постоянно поправляла, сверкая маленькими, сухо блестящими глазками.

— Вы что — свободны? Работы ищите? — спросила она нас, когда мы все трое с вожделением уставились на нее.

— Хорошо, — сказала она, получив от Семки почтительный и утвердительный ответ. — Вот мне надо разломать старую баню и вычистить колодец... Сколько бы вы взяли за это?

— Надо посмотреть, барыня, какая такая будет у них, у баньки вашей, величина, — вежливо и резонно сказал Семка. — И опять же колодец... Разные они бывают. Иногда очень глубокие...

Нас пригласили посмотреть, и через час мы, уже вооруженные топорами и дрекольем, лихо раскачивали стропила бани, взявшись разрушить ее и вычистить колодец за пять рублей. Баня помещалась в углу старого запущенного сада. Невдалеке от нее в кустах вишни стояла беседка, и с потолка бани мы видели, что старушка сидит в беседке на скамье и, держа на коленях большую развернутую книгу, внимательно читает ее... Иногда она бросала в нашу сторону внимательный и острый взгляд, книга на ее коленях шевелилась, и на солнце блестели ее массивные, очевидно, серебряные застёжки...

Нет работы скорее, чем работа разрушения...

Мы усердно возились в клубах сухой и едкой пыли, поминутно чихая, кашляя, сморкаясь и протирая глаза; баня трещала и рассыпалась, старая, как ее хозяйка...

— Ну-ка, наляжь, братцы, дружно-о! — командовал Семка, и венец за венцом, кряхтя, падал на землю.

— Какая бы это у нее книга? Толстенная такая, — задумчиво спросил Мишка, опираясь на стяг и отирая ладонью пот с лица. Мгновенно превратившись в мулата, он поплевал на руки, размахнулся стягом, желая всадить его в щель между бревнами, всадил и добавил также задумчиво: — Ежели евангилье — больно толсто будто...

— А тебе что? — любопытствовал Семка.

— Мне-то? Ничего... Люблю я послушать книгу... священ-

ную ежели... У нас в деревне был солдат Африкан, так тот, бывало, как начнет псалтырь честь... ровно барабан бьет... Ловко читал!

— Ну, так что ж? — снова спросил Семка, свертывая папироску...

— Ничего... Хорошо больно... Хотя оно непонятно... а все-таки слово этакое... на улице ты его не услышишь... Непонятно оно, а чувствуешь, что это слово для души.

— Непонятно, ты говоришь... а все-таки видно, что глуп ты, как пень лесной... — передразнил Семка товарища.

— Известно... ты всегда ругаешься... — вздохнул тот.

— А с дураками как говорить? Разве они могут что понимать? Валяй-ка вот эту гнилушину... о-о!

Баня рассypалась, окружаясь обломками и утопая в тучах пыли, от которой листья ближайших деревьев уже посерели. Июльское солнце не щадило наших спин и плеч, распаривая их...

— А книга-то в серебре, — снова заговорил Мишка.

Семка поднял голову и пристально посмотрел в сторону беседки.

— Похоже, — кратко изрек он.

— Значит, евангилье...

— Ну, и евангилье... Так что?

— Ничего...

— Этого добра у меня полны карманы. А ты бы, коли священное писание любишь, пошел бы да и сказал ей: почитайте, мол, мне, бабушка. Нам, мол, этого взять неоткуда... В церкви мы, по неприличности и грязноте нашей, не ходим... а душа, мол, у нас тоже... как следует... на своем месте... Подь-ка, ступай!

— Аи впрямь... пойду?

— И пойди...

Мишка бросил стяг, одернул рубаху, размазал ее рукавом пыль по роже и прыгнул с бани вниз.

— Турнет она тебя, лешмана... — проворчал Семка, скептически улыбаясь, но с крайним любопытством провожая фигуру товарища, пробиравшегося среди лопухов к беседке. Он, высокий, согнувшийся, с обнаженными грязными руками, грузно раскачиваясь на ходу и задевая за кусты, тяжело двигался вперед и улыбался смущенно и кротко. Старушка подняла голову навстречу подходившему босяку и спокойно мерила его глазами.

На стеклах ее очков и на их серебряной оправе играли лучи солнца.

Она не «турнула» его, вопреки предположению Семки. Нам не слышно было за шумом листвы, о чем говорил Мишка с хозяйкой; но вот мы видим, что он грузно опускается на землю к ногам старухи, и так, что его нос почти касается раскрытой книги. Его лицо степенно и спокойно; он — мы видим — дует в свою бороду, стараясь согнать с нее пыль, возится и наконец усаживается в неуклюжей позе, вытянув шею вперед и выжидая...

ще рассматривая сухие маленькие руки старушки, методично перевертывающие листы книги...

— Ишь ты... лохматый пес!.. Отдых себе сделал... Айда — и мы? Чего так-то? Он там будет проклаждаться, а мы — ломи за него. Айда?

Через две-три минуты мы с Семкой тоже сидели на земле по бокам нашего товарища. Старушка ни слова не сказала встречу нам, она только посмотрела на нас пристально и снова начала перекидывать листы книги, ища в ней чего-то... Мы сидели в пышном зеленом кольце свежей пахучей листвы, над нами было раскинуто ласковое и мягкое безоблачное небо. Иногда пролетал ветерок, листья начинали шелестеть тем таинственным звуком, который всегда так смягчает душу, родит в ней тихое, умиротворяющее чувство и заставляет задумываться о чем-то неясном, но близком человеку, очищая его от внутренней грязи или по меньшей мере заставляя временно забывать о ней и дышать легко и ново...

— «Павел, раб Иисуса Христа...» — раздался голос старушки. Он старчески дребезжал и прерывался, но был полон благочестия и суровой важности. При первых звуках его Мишка истово перекрестился, Семка заерзал по земле, выискивая более удобную позу. Старушка окинула его глазами, не переставая читать.

— «Я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешаться с вами верою общию, вашею и моею».

Семка, как истинный язычник, громко зевнул, его товарищ укоризненно вскинул на него синими глазами и низко опустил свою лохматую голову, всю в пыли...

Старушка, не переставая читать, тоже строго взглянула на Семку, и это его смутило. Он повел носом, скосил глаза и — должно быть, желая изгладить впечатление своего зевка — глубоко и благочестиво вздохнул.

Несколько минут прошли спокойно. Вразумительное и монотонное чтение действовало успокоительно.

— «Ибо открывается гнев божий с неба на всякое нечестие и...»

— Что тебе нужно? — вдруг крикнула чтица на Семку.

— А... а ничего! Вы извольте читать, — я слушаю! — смиренно объяснил он.

— Зачем ты трогаешь застешки своей грязной ручищей? — сердилась старушка.

— Любопытно... потому — работа очень уж тонкая. А я это понимаю — слесарное дело мне известно... Вот я и пошупал.

— Слушай! — сухо приказала старушка. — Скажи мне — о чем я тебе читала?

— Это — извольте. Я ведь понимаю...

— Ну, говори...

— Проповедь... стало быть, поучение насчет веры, а также и нечестия... Очень просто и... все верно! Так за душу и щиплет!

Старушка печально потрясла головой и оглядела всех нас с укором.

— Погибшие... Камни вы... Ступайте работать!

— Она тово... рассердилась будто бы? — виновато улыбаясь, заявил Мишка.

А Семка почесался, зевнул и, посмотрев вслед хозяйке, не оборачиваясь, удалявшейся по узкой дорожке сада, задумчиво произнес:

— А застезки-то у книжицы серебряные...

И он улыбнулся во всю рожу, как бы предвкушая что-то.

Переночевав в саду около развалин бани, уже совершенно разрушенной нами за день, к полудню другого дня мы вычистили колодец, вымочились в воде, выпачкались в грязи и в ожидании расчета сидели на дворе у крыльца, разговаривая друг с другом и рисуя себе сытный обед и ужин в близком будущем; заглядывать же в более отдаленное — никто из нас не имел охоты...

— Ну, какого черта старая ведьма не идет еще, — нетерпеливо, но вполголоса возмущался Семка. — Подохла, что ли?

— Эх он ругается! — укоризненно покачал головой Мишка. — И чего, например, ругается? Старушка — настоящая — божья. А он ее ругает. Этаким характер у человека...

— Рассудил... — усмехнулся его товарищ. — Пугало... огородное...

Приятная беседа друзей была прервана появлением хозяйки. Она подошла к нам и, протягивая руку с деньгами, презрительно сказала:

— Получите и... убирайтесь. Хотела я вам отдать баню распилить на дрова, да вы не стоите этого.

Не удостоенные чести распилить баню, в чем, впрочем, мы и не нуждались теперь, мы молча взяли деньги и пошли.

— Ах ты, старая кикимора! — начал Семка, чуть только мы вышли за ворота. — Накося! Не стоим! Жаба дохлая! Ну-ка, вот скрипи теперь над своей книгой...

Сунув руку в карман, он выдернул из него две блестящие металлические штучки и, торжествуя, показал их нам.

Мишка остановился, любопытно вытягивая голову вперед и вверх к поднятой руке Семки.

— Застезки отломал? — спросил он удивленно...

— Они самые... Серебряные!.. Кому не надо — рубль даст.

— Ах ты! Когда это ты? Спрячь... от греха...

— И спрячу...

Мы молча пошли дальше по улице.

— Ловко... — задумчиво говорил Мишка сам себе. — Взял да и отломил... Н-да... А книга-то хорошая... Старуха... обидится, чай, на нас...

— Нет... что ты! Вот она нас позовет назад, да на чай даст... — трунил Семка.



- А сколько ты за них хошь?
- Последняя цена — девять гривен. Ни гроша не уступлю... себе дороже... Видишь — ноготь сломал!
- Продай мне... — робко спросил Мишка.
- Тебе? Ты что — запонки хочешь завести себе?.. Купи, ха-арошие запонки выйдут... как раз к твоей харе.
- Нет, право, продай! — И Мишка понизил тон просьбы...
- Купи, говорю... Сколько дашь?
- Бери... сколько там есть на мою долю?
- Рубль двадцать...
- А тебе сколь за них?..
- Рубль!
- Чай, уступи... для друга!..
- Дура нетрепанная! На кой те их дьявол?
- Да уж ты продавай знай...

Наконец торг был заключен, и застежки перешли за девятью копейками в руки Мишки.

Он остановился и стал вертеть их в руках, наклонив кудлатую голову и наморщив брови и пристально рассматривая два кусочка серебра.

— Нацепи их на нос себе... — посоветовал ему Семка.

— Зачем? — серьезно возразил Мишка. — Не надо. Я их старушке стащу. Вот, мол, мы, старушка, нечаянно захватили эти штуковины, так ты их... опять пристрой к месту... к книге этой самой... Только ты вот их с мясом выдрал... это как теперь?

— Да ты, черт, взаправду понесешь? — разинул рот Семка.

— А как?.. Видишь ты, такая книга... нужно, чтоб она в полной целости была... ломать от нее куски разные не годится... И старушка тоже... обидится... А ей умирать надо... Вот я и того... Вы меня, братцы, подождите с минутку... а я побегу назад...

И раньше, чем мы успели удержать его, он крупными шагами исчез за поворотом улицы...

— Ну, и мокрица-человек! Жиделяга грязная! — возмутился Семка, поняв суть факта и его возможные последствия.

И, отчаянно ругаясь через два слова в третье, он начал убеждать меня:

— Айда, скорей! Провалит он нас... Теперь сидит, чай, поди, руки у него назад... А старая карга уж и за будочником послала!.. Вот те и водись с этаким пакостником! Да он ни за сизо перышко в тюрьму тебя вопрет! Нет, каков мерзавец-человек?! Какая, подлой души, тварь с товарищем так поступить может?! Ах ты, господи! Ну, и люди стали! Айда, черт, чего ты растяпился! Ждешь? Жди, черт вас всех, мошенников, возьми! Тьфу, анафемы! Не идешь? Ну так...

Посулив мне нечто невероятно скверное, Семка ожесточенно ткнул меня кулаком в бок и быстро пошел прочь...



Мне хотелось знать, что делает Мишка с нашей бывшей хозяйкой, и я тихонько отправился к ее дому. Мне не думалось, что я подвергаюсь какой-либо опасности или неприятности.

И я не ошибся.

Подойдя к дому и приложившись глазом к щели в заборе, я увидел и услышал только следующее: старуха сидела на стульях крыльца, держала в руках «выдранные с мясом» застёжки своей библии и через очки пытливо и строго смотрела в лицо Мишки, стоявшего ко мне задом...

Несмотря на строгий и сухой блеск ее острых глаз, по углам губ у нее образовалась мягкая складка кожи; видно было, что старушка хочет скрыть добрую улыбку, — улыбку прощения.

Из-за спины старухи смотрели какие-то три рожи: две женские, одна красная и повязанная пестрым платком, другая простоволосая, с бельмом на левом глазу, а из-за ее плеч высывалась физиономия мужчины, клинообразная, в седых бачках и с вихром на лбу... Она то и дело странно подмаргивала обоими глазами, как бы говоря Мишке: «Утекай, брат, скорей!»

Мишка мямлил, пытаясь объясниться:

— ...Такая редкостная книга. Вы, говорит, все — скоты и псы... собаки. Я и думаю... Господи — верно! Так надо говорить по правде... сволочи мы и окаянные люди... подлецы! И опять же, думаю: барыня — старушка, может, у ней и утеха одна, что вот книга — да и все тут... Теперь застёжки... много ли за них дадут? А ежели при книге, то они — вещь! Я и подумал... дай-ка, мол, я обрадую старушку божью, отнесу ей вещь назад... К тому же мы, слава те господи, заработали малую толику на пропитание. Счастливы оставаться! Я уж пойду.

— Погоди! — остановила его старуха. — Понял ты, что я вчера читала?..

— Я-то? Где мне понять! Слышу — это так... да и то — как слышу? Разве у нас уши для слова божия? Нам оно непонятно... Прощайте...

— Та-ак! — протянула старуха. — Нет, ты погоди...

Мишка тоскливо вздохнул на весь двор и по-медвежьи затоптался на месте. Его уже, очевидно, тяготило это объяснение...

— А хочешь ты, чтоб я еще почитала тебе?

— Мм... товарищи ждут...

— Ты плюнь на них... Ты хороший малый... брось их.

— Хорошо... — тихо согласился Мишка.

— Бросишь? Да?

— Брошу...

— Ну, вот... умница!.. Совсем ты дитя... а борода вон какая... до пояса почти... Женат ты?..

— Вдовый... померла жена-то...

— А зачем ты пьешь? Ведь ты пьяница?

— Пьяница... пью.

— Зачем?

— Пью-то? По глупости пью. Глуп, ну и пью. Конечно, ежели бы человеку ум... да рази бы он сам себя портил? — уныло говорил Мишка.

— Верно рассудил... Ну вот, ты и копи ум... накопи, да и поправься... ходи в церковь... слушай божие слово... в нем вся мудрость.

— Оно, конечно... — почти простонал Мишка.

— А я еще почитаю тебе... хочешь?..

— Извольте...

Старуха достала откуда-то из-за себя библию, порылась в ней, и двор огласился ее дрожащим голосом:

— «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же!»

Мишка тряхнул головой и почесал себе левое плечо.

— «...Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда божия?»

— Барыня! — плачевно заговорил Мишка, — отпустите меня для бога... Я вдругорядь лучше приду послушаю... а теперь больно мне есть хочется... так те вот и пучит живот-от... С вечера мы не евши...

Барыня сильно хлопнула книгой.

— Ступай! Иди! — отрывисто и резко прозвучало на дворе.

— Покорнейше благодарим!.. — И он чуть не бегом направился к воротам.

— Нераскаянные души... Звериные сердца, — шипело по двору вслед ему...

---

Через полчаса мы с ним сидели в трактире и пили чай с калачом.

— Как буравом она меня сверлила... — говорил Мишка, ласково улыбаясь мне своими милыми глазами. — Стою я и думаю... Ах ты, господи! И зачем только пошел я? На муку пошел... Где бы ей взять у меня эти застешки, да и отпустить меня, — она разговор затеяла. Экий народ-чудак! С ними хочешь по совести поступать, а они свое гнут... Я по простоте души говорю ей: вот те, барыня, твои застешки, не жалуйся на меня... а она говорит: нет, погоди, ты Расскажи, зачем ты их мне принес? И пошла жилы из меня тянуть... Я даже взопрел от ее разговору... право, ей-богу.

И он все улыбался своей бесконечно кроткой улыбкой...

Семка, надутый, взъерошенный и угрюмый, серьезно сказал ему:

— Умри ты лучше, пень милый! А то завтра тебя с такими твоими выкрутасами мухи али тараканы съедят...

— Ну уж! Ты скажешь слово. Дава-ко выпьемте по стакашку... за окончание дела!

И мы дружно выпили по стакашку за окончание этого курьезного дела.

## МА-АЛЕНЬКАЯ!..

...«И была она, браток, телом-ту ма-аленькая!..»

Каждый раз, как я вспоминаю эту фразу, из дали прошлого мне улыбаются две пары подслеповатых, старческих глаз, улыбаются такой тихой, ласковой улыбкой любви, сожаления, и в ушах звучат два надтреснутые голоса, одинаково характерно подчеркивавшие то обстоятельство, что «она» была ма-аленькая!..

И мне делается так хорошо и легко от этого воспоминания, лучшего за все десять месяцев моего хождения пешком по кри-вым дорогам нашей родины, такой большой и такой печальной...

По пути из Задонска в Воронеж я догнал двух богомольцев — старика и старуху. Обоим им с виду было лет полтораста; они шли так медленно и неумело, тяжело двигая ступни по горячей пыли дороги, и оба имели в физиономиях и в одежде еле уловимое нечто; это нечто сразу позволяло заметить, что старики идут издалека.

— Из Тобольской губернии шагам... со господней помочью! — подтвердил старик мое предположение.

А старуха на ходу ласково оглянула меня добрыми, когда голубыми глазами и, добродушно улыбаясь, добавила, вздыхая:

— Из самого Н-ского завода, деревеньки Лысой будем мы с отцом-то!

— То-то, чай, изустали?

— Мы-то? Ничего! Пока двигаемся... ползем божьей милостью!..

— По обету, что ли, али так, старости ради?

— По обету, браток... Обещанье, значит, дали киевским и соловецким угодникам божии... Да... — снова подтвердил

старик. — Маты! посядем, вздохнем маленько? — обратился он к спутнице.

— Ну, что ж? — согласилась та.

И вот мы сели в тень от старой придорожной ветлы. День был жаркий, небо безоблачно, впереди и сзади нас извивалась дорога и уходила в дали, завешенные знойной мглой. Кругом было пустынно и тихо. По оба бока дороги неподвижно стояла чахлая рожь.

— Высосали землю-то!.. — сказал старик, подавая мне несколько сорванных колосьев.

Мы заговорили о земле и о жестокой зависимости от нее крестьянской судьбы. Старуха слушала нас и вздыхала, порой вставляя в наши речи хорошее, опытное слово.

— Кабы жива была она, сколько бы нанудила сердечко свое на таком-ту поле! — вдруг сказала старуха, оглянувшись вокруг на полосы низенькой, выгоревшей ржи, испещренные плешинами.

— Да-а! уж порадела бы!.. — качнул головой старик.

И оба они вдруг замолчали.

— О ком это вы? — спросил я.

Старик добродушно улыбнулся.

— Тут... вспоминаем об одной...

— Стоялка наша была... барышня... — вздохнула старуха.

И вдруг оба они, глядя на меня, точно сговорясь между собой, протянули медленно и жалостно, в унисон друг другу:

— Ма-анинькая така была телом-ту!..

Это было странно и очень больно резнуло меня по сердцу. Нечто зауспокойное звучало в их старых голосах... А они вдруг, торопясь и перебивая друг друга, стали рассказывать так быстро, что мне, сидевшему среди них, оставалось только поворачивать голову от одного рассказчика к другому.

— Привез ее к нам урядник и сдал, значит, старосте. «Определи ее на постой», говорит...

— На квартиру, стало быть, кому-нибудь! — пояснила старуха.

— Ее к нам и определили...

— Глядим, — красная вся... дрожит с холоду-то...

— А сама така ма-анинькая...

— Аж в слезы мы...

— Господи, думаем, куда ее таку заслали?

— На какую ее потребу? За каку таку провинность?..

— А она, слышь ты, отколе-то отсудова...

— Из России, стало быть...

— Мы ее первым делом на печь...

— Печь-то у нас бо-ольша... да тѣ-епла... — сокрушенно вздохнула старуха.

— Ну, потом, значит... кормить ее!

— Смеется!

- Глазенки-те че-ерные... как у мыша...
- И вся-то она, как мыша... гладка да кругла...
- Отдышалась... плачет... Спасибо, говорит, родимы!
- И учала вертеть!!

— Уж и начала же!.. — с восхищением выкрикнул старик и засмеялся, сощутив глаза.

— Кататся тебе по избе-то, как клубок, и гоношит, и гоношит... И то, и это?.. и то поставит так, и это эдак... «Лохань с помоем вон, свиньям, говорит, тащите...» Да сама ее ихвати ручонками-те, да осклизнулась... да по плечи руки-те в по-омой-то будух! Ах ты...

И оба они засмеялись, задыхаясь и кашляя до слез.

- Поросята опять же...
- Целует их прямо в рыла!..
- «Невозможно, говорит, вон поросёв!»
- В неделю умучила вот как!
- В пот, бывало, вгонит...
- Хохочет, кричит, ножонками топает...
- А то вдруг потемнится вся, заробет...
- Как умрет!..
- Да в слезы... Уж ревит, ревит, так это ее сподымя бьет.

Кружишься, кружишься около-то ее... Чего ей? Непонятно... Хоть сама плачь. И плачешь, бывало... не знай о чем. Обоймешь ее, да и зальешься вместе...

— Известно... дитё как бы...

— А живем-то мы одни. Сына в солдаты сдали, а другой на золотых промыслах...

— А ей-то осымнадцатый, кажись, годок...

— Какое! С виду ежели давать, никак не больше двенадцати...

— Ну, уж ты больно!.. двенадцати!.. тоже!..

— А больше — скажешь?.. Как бы!

— Чего? Девица она была сочная... А што малоросла, так это рази что в упрек ей?

— А я в упрек говорю? Эко!

— То-то!.. — добродушно уступила старуха.

Поспорив, старики оба и сразу замолчали.

— Ну, а что же дальше? — спросил я.

— Дальше?.. ничего, браток!.. — вздохнул старик.

— Умерла она... Огневица ее изожгла, — и по морщинистым щекам потекли две слезинки.

— Да-а, брат, умерла... Два годочка только с нами и пожила... Вся ее деревня знала. Чего вся деревня!.. Многие знали. Грамотейка была. На сходь хаживала... Кричит себе, бывало... Ничего, умница!..

— А главное дело — душа!.. Ах, ка-акая душа андельская!.. Все-то до нее доходило, все-то ее сердечушко ведало!.. Барышня ведь как есть городская, в бархатной кофточке... ленточки...

башмачки... книжки читает и все это, а крестьянство понимала, ах, как просто! Все знала! «Откуда толь ты это, милушка?» — «В книжке, говорит, прописано!..» Н-ну уж!.. Чего бы ей это, зачем? Замуж бы вышла, барыней была, а тут вот заслали, и померла...

— И чудно!.. Учит всех... така-то манинькая!.. да всех это так сурьезно... То не так, друго не так...

— Грамотница... что толковать... Раделица про все, да про всех... Где кто болен,— бежит, где кто...

— Умирала-то без памяти... бредила только. «Мама, говорит, мама!..» — жалостно таково... Поехали было за попом, может, мол, придет в себя... А она, милушка, не дождалась... скончалась.

По лицу старухи текли слезы, и мне было так хорошо, точно это обо мне плакали...

— Вся деревня собралась к нам... Толкуются на улице и на дворе... Как?! Как?! Все ее любили, души не чаяли в ней...

— Эх, девчурочка была золотая!.. — вздохнул старик.

— Всем миром и похоронили... А потом к масленой сорок дён вышло, и сообразились... айда-ка, мол, помолимся за нее!.. И суседи тоже... «Чего вы, говорит, и в самделе? Идите-тко! Люди вы, значит, свободные, не рабочие... А ей авось зачтется». Мы и тронулись.

— Так это вы за нее? — спросил я.

— За нее, девочку, родной, за нее! Авось, мол, господь бог батюшка примет нашу грешну молитву, простит ей! И пошли вот на первой поста, как раз во вторник вышли...

— За нее!.. — повторил я.

— За нее, друг! — подтвердил старик.

Мне хотелось еще много раз слышать, что, именно желая помолиться за нее, они прошли тысячи верст. На мой взгляд, это было так хорошо, что казалось неправдоподобным. Я подсказывал им другие побудительные причины, желая еще более убедиться, что они пошли именно «за нее», маленькую девочку с черными глазами... И, к великому моему удовольствию, я наконец убедился в этом.

— Неужто пешком все идете?

— Нет, куда нам!.. когда и присядем... Поедем с денек, а потом опять... трудимся помалу. Стары уж больно мы пешком-ту все идти... Господь видит, стары... Кабы нам ее ножки-то... ну, так ино дело!

И оба они опять вперебой принялись говорить о ней, маленькой девочке, заброшенной судьбой далеко от дома и мамы и умершей от огневицы.

.....  
Часа через два мы встали и пошли. Я думал о маленькой девочке, но не мог представить ее себе... и мне было до боли обидно это бессилие воображения.

Русский человек плохо умеет представлять себе хорошее, светлое...

Скоро нас догнал хохол на телеге. Он меланхолично оглянул нас и, приподняв шапку на наш поклон, крикнул старикам:

— Садитесь, подвезу до деревни!

Они сели и исчезли в облаке пыли... Я долго шел в нем и смотрел, как вдали исчезала телега, увозя стариков, прошедших многие тысячи верст, чтоб помолиться о маленькой девочке, которая заставила их полюбить себя...

## ЖЕНЩИНА С ГОЛУБЫМИ ГЛАЗАМИ

### I

Помощник частного пристава Зосим Кириллович Подшибло, грузный и меланхоличный хохол, сидел в своей канцелярии, крутил усы и сердито тарашил глаза в открытое окно на двор части. В канцелярии было сумрачно, душно и тихо, только маятник больших стенных часов, взвизгивая, отсчитывал монотонными ударами минуты. А на дворе было так заманчиво, ярко... Три березы среди него бросали от себя густую тень, и в ней на куче сена, недавно привезенного для пожарных лошадей, свободно раскинувшись, спал унтер-офицер Кухарин, недавно сменившийся с дежурства. Зосим Кириллович смотрел на него и злился. Подчиненный спит, а вот он, его несчастный начальник, должен торчать в этой дыре и дышать сырыми испарениями ее каменных стен. И, представив себе, с каким бы удовольствием он сам растянулся отдохнуть в тени на душистом сене, если бы время и служебное положение позволило ему это, Зосим Кириллович потянулся, зевнул и еще более обзлился. Он почувствовал непреодолимое желание разбудить Кухарина.

— Эй, ты!.. Эй... скот! Кухарин! — зычно рявкнул он.

Отворилась дверь, и в канцелярию кто-то вошел. Подшибло смотрел в окно, не оборачиваясь назад и не чувствуя ни малейшего любопытства к тому, кто вошел, стоит сзади его у двери и заставляет скрипеть половицы под своей тяжестью. Кухарин не повернулся от его окрика. Закинув руки под голову и вздернув бороду в небо, он спал, и Зосиму Кирилловичу казалось, что он слышит сочный храп подчиненного, этаким насмешливый, вкусный храп, возбуждающий еще более желание отдыха и злобу на невозможность предаться ему. И Подшибло захотелось сойти вниз, чтоб дать хорошего пинка ногой в выпяченный живот под-



чиненного, а потом взять его за бороду и вытащить из тени на солнцепек.

— Эй, ты... дрыхни там! Слышишь?!

— Ваше-скородие, — дежурный — это я! — проговорили сзади его обольстительно сладким голосом.

Подшибло обернулся, злым взглядом смерил дежурного, тащившего на него большие тупые глаза и готового моментально устремиться куда прикажут.

— Я тебя звал?

— Никак нет!

— Спрашивал? — повысил голос Подшибло, поворачиваясь на стуле.

— Никак нет!

— Так поди же ты к черту, пока я тебе в башку не пустил чего-нибудь! — И он уже начал судорожно шарить левой рукой чего-нибудь на столе, а правой крепко вцепился в спинку стула, но дежурный быстро юркнул в дверь и исчез. Помощнику частного пристава показалось недостаточно почтительным это исчезновение, и ему во что бы то ни стало хотелось сорвать все сильнее вскипавшую злобу на эту духоту, службу, на спящего Кухарина, на близость ярмарочной страды и еще на многое неприятное и тяжелое, почему-то вспоминавшееся ему сегодня неволью, помимо его желания.

— Эй! Поди сюда... — крикнул он в дверь.

Дежурный вошел и вытянулся у двери с лицом испуганным и ожидающим.

— М-морда! — угрюмо адресовался к нему Подшибло. — Ступай на двор, разбуди Кухарина и скажи ему, чтоб он, осел, не смел дрыхнуть среди двора. Безобразие... Ну... ступай...

— Слушаю! Там дама до вас...

— Что?!

— Дама...

— Какая?

— Высокая...

— Дурак! Чего ей?

— До вас...

— Спроси, пошел...

— Я спрашивал... Не рассказывает... Мне, говорит, самого их благородие...

— О, черт их! Зови... Молодая?

— Так точно...

— Ну зови... Ворочайся! — уже мягче приказал Подшибло, оправился и зашелестел бумагами на столе, изобразив на угрюмой физиономии строго начальническую мину.

Сзади его раздался шелест платья.

— Что вам угодно? — вполоборота спросил Подшибло, критическим оком измерив посетительницу. Та молча поклонилась и медленно поплыла к столу, исподлобья поглядывая на поли-

цейского серьезными голубыми глазами. Одета она была просто и бедно, по-мещански, в платочке, в серой, сильно поношенной накидке, концы которой она мяла длинными смуглыми пальцами маленьких красивых рук. Высокая, полная, с сильно развитым бюстом, с большим нахмуренным лбом, она была как-то особенно, не по-женски серьезна и сурова. С виду ей можно было дать лет двадцать семь. Двигалась она так задумчиво, медленно, точно думала — не воротиться ли ей назад.

«Ишь черт какой... Гренадер,— подумал Подшибло вслед за своим вопросом.— Кляузить станет...»

— Можно мне узнать у вас...— заговорила она густым контрастно и остановилась, нерешительно уставив свои голубые глаза в усатое лицо полицейского чиновника.

— Садитесь, пожалуйста... Что, собственно, вам нужно узнать? — официальным тоном спросил Подшибло, продолжая думать про себя: «Экая ядреная женщина! Хе!»

— Насчет книжек...— договорила женщина.

— Квартирных?

— Нет, не этих...

— А каких?

— Вот тех, которые... по которым... женщины гуляют...— спуталась женщина и вдруг покраснела.

— То есть это как?.. Какие женщины гуляют?..— спросил Зосим Кириллович, поднимая брови и игриво улыбаясь.

— Разные женщины... которые гуляют, ночные...

— Те-те-те! Проститутки? — приятно осклабился Зосим Кириллович.

— Да! Вот они.— И, глубоко вздохнув, дама тоже улыбнулась, точно ей стало легче, когда она услышала это слово.

— Ага! Ну-с? Н-да? Так что же-с? — начал спрашивать Зосим Кириллович, чувствуя что-то очень интересное и пикантное впереди.

— Так вот, насчет этих книжек я пришла,— проговорила женщина и опустила на стул, вздыхая и как-то странно встряхнув головой, точно ее ударили.

— Ну-с... Заведеньишко открываете? Так...

— Нет, я для себя...— И женщина низко опустила голову.

— Ага... А где же старая книжка у вас?..— спросил Зосим Кириллович и, пододвинув свой стул поближе к посетительнице, простер свою руку к ее талии и оглянулся на дверь.

— Какая? У меня не было...— вскинула та на него глазами, но не сделала ни одного движения, чтоб уклониться от его руки...

— Тайно промышляли, значит? Незарегистрированно? Бывает! Желаете быть на счету? Это хорошо... Безопаснее,— становясь смелее в своих поползновениях, ободрил ее Зосим Кириллович.

— Да я еще впервой...— окнула дама и смущенно опустила глаза вниз...

— То есть как впервой? Не понимаю,— повел плечами Подшибло...

— Только еще хочу... Первый раз. На ярмарку приехала,— объясняла дама тихим голосом и не подымая глаз.

— Вот оно что! — Зосим Кириллович, отняв руку от ее талии, отодвинул свой стул и несколько смущенно откинулся на его спинку.

Помолчали...

— Вот оно как... Да... это вы... что же? Нехорошо ведь. Трудно... То есть, конечно... Но все-таки... странно! Я, признаться, не понимаю... как это вы решается. Если действительно правда...

Опытный полицейский, он видел, что действительно — правда: она была слишком свежа и порядочна для женщин известной профессии. У ней не было тех характерных признаков продажности, которые необходимо отпечатлеваются на женской физиономии и жестах даже после ничтожной практики.

— Ей-богу, правда! — вдруг доверчиво склонилась она к нему. — На такое поганое дело иду — и стану я врать. Чего уж? Просто надо вести дело. Видите что — вдова я. Овдовела — муж-от лоцман, утонул в апреле в ледоход. Дети у меня, двое,— сын девяти годов да дочь семи. Достатков-то нету. Родных тоже. Сирота я взята была. А его, покойниковы, родные далече. Да и нелюбимая я ими... Как они достаточные, а я вроде нищей пред ними. Толкнуться-то некуда. Работать бы, конечно. Да много денег надо мне, не выработаешь с эстоль. В гимназии сын-то. Конечно бы хлопотать, чтобы без платы, но куда же мне, бабе? А сын-то, мальчонка... такой, знаете, умница... Жалко отрывать-то от ученья... Тоже и дочь... и ей чего ни то надо дать. А работой-то такой, ежели честной... много ли ее? Да и сколько добудешь? И чего работать опять же? Кухарка ежели... то, конечно... пять рублей в месяц... Не хватит! Никак не хватит! А на этом деле — ежели кому счастье — сразу можно окормиться на год. Прошлую ярмарку наша же одна женщина четыреста с лишком схватила! Теперь за лесника вышла с деньгами-то, и барыня себе. Живет... А ежели стыд... конечно, зазорно... Но только... и то ведь рассудите... Судьба, значит... Всегда уж судьба. Пришло вот мне на ум такое дело — так, значит, и надо — указание это мне от судьбы... И удастся оно — хорошо... не удастся, а только муку да позор приму... тоже судьба. Да...

Подшибло слушал ее и понимал все до слова, ибо у нее говорило все лицо. Было в нем сначала что-то испуганное, а потом оно стало просто, сухо и решительно.

Зосиму Кирилловичу сделалось скверно и чего-то боязно.

«Попадись такой ведьме в руки дурак... всю кожу она с него сдерет и все мясо до костей снимет»,— формулировал он свой страх и, когда она кончила, сухо заговорил:

— Я-с тут ничего не могу. Обратитесь к полицеймейстеру. Это полицеймейстера дело и дело врачебной инспекции. А я ничего не могу...

И ему захотелось, чтоб она ушла скорее. Она тотчас же и поднялась со стула, наклонилась и медленно пошла к двери. Зосим Кириллович, плотно сжав губы и сощутив глаза, смотрел ей вслед, и ему хотелось плюнуть ей в спину...

— Так к полицеймейстеру мне, говорите? — дойдя до двери, оборотилась она... Ее голубые глаза смотрели решительно и невозмутимо. А поперек лба легла суровая, глубокая складка.

— Да, да! — торопливо ответил Подшибло.

— Прощайте! Спасибо вам! — И она ушла.

Зосим Кириллович облокотился на стол и минут десять сидел, насвистывая что-то про себя.

— Экая скотина, а? — вслух произнес он, не поднимая головы. — Тоже — дети! Какие тут дети? Х-ха! Этакая гадина!

И опять долго молчал...

— Но и жизнь тоже... если все это правда. Вережки вьет из человека, можно сказать... Н-да... Серdito обращается.

И, еще помолчав, резюмировал всю работу своей мысли тяжелым вздохом, решительным плевком и энергичным восклицанием:

— А и погано ж!

— Что прикажете? — вернулся в дверь дежурный чин.

— А?

— Что прикажете, ваше-скородие?..

— Пошел во-он!

— Слушаю-с.

— Осел! — пробормотал Подшибло и взглянул в окно...

Кухарин все спал еще на сене... очевидно, дежурный забыл разбудить его...

Но Зосим Кириллович забыл о своем гневе, и вид свободно развалившегося солдата не возмущал его нимало. Он чувствовал себя испуганным чем-то. Пред ним в воздухе стояли голубые, спокойные глаза женщины и решительно смотрели ему прямо в лицо. Он чувствовал тяжесть на сердце от их упорного взгляда и некоторую неловкость...

Взглянув на часы, он поправил портупею и пошел вон из канцелярии, глухо проговорив:

— Чай, встретимся еще... Наверное уж.

## II

И действительно встретились.

Как-то раз вечером, стоя в наряде у Главного дома, Подшибло заметил ее шагах в пяти от себя. Она двигалась по направлению к скверу своей медленной плывущей походкой, упорно глядя

куда-то вперед себя голубыми глазами, и во всей ее фигуре, высокой и стройной, в движениях бюста и бедер, в серьезном покорном взгляде было что-то отталкивавшее от нее; чересчур покорная, фатальная складка на лбу, еще более резкая теперь, чем в первую встречу, портила ее большое, полное русское лицо, делая его резким.

Зосим Кириллович покрутил ус, дал простор некоторой игривой мысли, сразу зародившейся в его уме, и решил не терять из вида эту женщину.

«Ах ты, крокодил! Подожди...» — мысленно послал он ей вслед многообещающее восклицание.

И минут через пять уже сидел с ней рядом на одной из скамеек сквера.

— Не узнаете? — улыбаясь, спросил он.

Она подняла на него глаза и спокойно смерила его ими.

— Нет, помню. Здравствуйте, — тихо, подавленным голосом сказала она, но не протянула ему руки.

— Ну что, как? Выхлопотали себе книжку?

— Вот! — И она стала шарить в кармане платья, все с той же покорной миной.

Это несколько смутило полицейского.

— Да нет, мне не надо, не кажите, я верю. Да я и не имею права... то есть... Вы лучше расскажите, как успели? — спросил он и тотчас же подумал: «А очень мне нужно это знать! Вот уж! И чего... манерничаю? Ну-ка, Зосим, валяй прямо».

Но, несмотря на то что он подбодрил себя этой думой, он все-таки не решился пойти прямо. Было в ней что-то такое, что не допускало стать сразу близко к ней в известные отношения.

— Успехи-то? Ничего, слава... — И она, не договорив, оборвала речь и густо покраснела.

— Ну вот и хорошо. И поздравляю... Трудно с непривычки? а?

Она вдруг всем корпусом двинулась к нему, лицо у нее побледнело, исказилось, рот как-то округлился, точно она хотела крикнуть, и вдруг снова откинулась от него, — откинулась и приняла старую позу...

— Ничего... Привыкну, — ровно и ясно сказала она и, вынув платок, громко высморкалась.

Зосим Кириллович почувствовал что у него щемит в груди от всего этого, от ее движения, от ее соседства и голубых, спокойных, неподвижных глаз.

Он разозлился на себя за что-то, встал и протянул ей руку, молча и сердито...

— Прощайте! — ласково сказала она...

Он кивнул ей головой и быстро пошел прочь, зло ругая себя дураком и мальчишкой...

«Погоди, матушка! Я тебе задам феферу! Уж я тебе покажу себя. Ты у меня перестанешь корчить из себя недотрогу», — грозил он ей неизвестно за что. И все-таки чувствовал, что ни в чем она не виновата пред ним.

А это еще более злило его...

### III

Недели полторы спустя Зосим Кириллович шел от караван-сарая по направлению к Сибирской пристани и был остановлен визгом женщин, ругательством и иным скандальным шумом, лившимся на улицу из окна какого-то трактира.

— Полицейский! Караул! — орал задыхавшийся женский голос. Слышались какие-то страшные лязгающие удары, стучала мебель и кто-то восхищенно, басом, покрывавшим весь шум, гудел:

— Так ее! Еще... раз! Прямо в морду. Э-эх!

Зосим Кириллович быстро вбежал вверх по лестнице, растолкал публику, столпившуюся в дверях трактирного зала, и его глазам представилась такая картина: перегнувшись корпусом через стол, его знакомая, женщина с голубыми глазами, ухватила левой рукой за волосы другую женщину, притянула ее к себе и своей правой рукой беспощадно, частыми ударами била ее по испуганному, уже вспухшему от ударов лицу.

Голубые глаза теперь были жестко прищурены, губы плотно сжаты, от углов их к подбородку легли резкие морщины, и лицо его знакомой, раньше так странно спокойное, теперь было беспощадно-зло зверское, — лицо человека, готового бесконечно долго истязать себе подобного и истязать с наслаждением.

Женщина, которую она била, уже только мычала, рвалась и нелепо махала по воздуху своими руками.

Зосим Кириллович ощутил в груди прилив злого чувства — дикого желания мстить кому-то и за что-то, — бросился вперед и, схватив сзади за талию истязавшую женщину, рванул ее к себе.

Опрокинулся стол, загремела разбитая посуда, публика дико завывала, загоготала.

Зосим Кириллович в каком-то опьянении видел, как в воздухе мелькали разнообразные, дикие, красные рожи, держал буянившую в своих объятиях и зло шептал ей в ухо:

— Ах ты! Буянить? Скандалить?... Ах ты!

Избитая женщина валялась на полу в осколках разбитой посуды и, истерически взвизгивая, рыдала...

— Она, значит, вон та, говорит этой, ваше благородие, «ах ты, говорит, мразь уличная, паскудница!». А эта как ее дербулызнет... Та в нее стакан с чаем и запусти, а эта — ухватила ее за косы, да и давай и давай! Ну, и так, я вам скажу, била, что

вчуже завидно! Силища-с! — объяснял ход скандала Зосиму Кирилловичу какой-то юркий человек в чуйке...

— Ага! Вот как?! — рычал Зосим Кириллович, все сильнее сжимая женщину в своих объятиях и чувствуя, что ему самому хочется драться...

— Извозчик! Давай, извозчик! — ревел кто-то с красной шеей из окна на улицу, напрягая широкую спину и странно выгибая ее.

— Ну, иди... На гауптвахту! Марш!.. Обе! Ты! Вставай... А ты где был? Ты к чему приставлен? Р-рожа! Вези на гауптвахту. Живо! Обоих... ну!

Бравый полицейский, подталкивая то ту, то другую женщину в спины, вывел их из зала.

— Дай-ка мне... коньяку и зельтерской, живо! — обратился Зосим Кириллович к половому и грузно опустился на стул у окна, чувствуя себя утомленным и озлобленным на всех и на вся.

Полутру она стояла перед ним такая же решительная и спокойная, как в первую встречу, — смотрела прямо в глаза ему своими голубыми глазами и ждала, когда он заговорит с ней.

А Зосим Кириллович швырял бумаги по столу, раздраженный и невыспавшийся, и, несмотря на это, не знал, с чего начать с нею. Обычные в этих случаях шаблонные пристрастия и ругательства как-то не срывались с языка, хотелось найти в себе что-то более злое и сильное и бросить ей в лицо.

— С чего у вас началось?.. Ну, говори скорее!

— Она меня обругала... — веско произнесла женщина.

— Велика важность... Скажите! — сиронизировал Подшибло.

— Она не смеет... я не чета ей.

— Ах, батюшки! Кто же ты такая?..

— Я по нужде... ежели что... А она...

— Н-да?! А она из удовольствия, что ли?..

— Она?..

— Н-ну, она. Да?

— Что ж она? У нее детей нет...

— Ты вот что... ты молчи, гадина! Ты меня не мажь по губам твоими детьми... Ты иди, но знай, коли я тебя еще раз встречу, — в двадцать четыре часа вон! С ярмарки вон! Поняла?! Н-ну! Я вас знаю! Я тебя... награжу! Скандалить?! Я те поскандалю... дрянь!

И слова, одно другого оскорбительнее, поскакали с его языка в лицо ей. Она побледнела, и ее глаза сузились так же, как вчера в трактире.

— Вон! — гремел Подшибло, грохая кулаком в стол.

— Бог вам судья... — сухо и угрожающе произнесла она и быстро ушла из канцелярии.

— Я тебе покажу — судья! — ревел Зосим Кириллович. Ему нравилось оскорблять ее. Его выводило из себя это спокойное лицо и прямой взгляд голубых глаз. Чего она притворяется и корчит из себя какую-то фуфыру? Дети?! Чушь. Наглость. При чем тут дети? Гуляющая баба приехала на ярмарку продавать себя и ломается зачем-то... Страдалица, по нужде... дети. Кого она хочет этим надуть? Нет силы на открытый грех, она и прикрывает его нуждой. Ф-фа! Скажите!..

#### IV

А они все-таки были — мальчик, беленький и робкий, в старой затасканной гимназической форме, с подвязанными черной косынкой ушами, и девочка в клетчатом, не по росту большом, ватерпруфе. Они оба расположились на досках у пристани Кашина и, вздрагивая от осеннего ветра, вели между собой тихий детский разговор. Их мать стояла сзади их, прислонясь спиной к клади какого-то товара, и сверху вниз смотрела на них голубыми, ласкающими глазами.

Мальчик был похож на нее: у него глаза тоже были голубые, он часто поворачивал свою головку в картузе с надорванным козырьком назад к матери и, улыбаясь, что-то говорил ей. Девочка была сильно ряба, востроноса, с большими серыми глазами, сверкавшими живо и умно. Вокруг их на досках были разложены какие-то узелки и свертки.

Был конец сентября; с утра шел дождь, набережная была покрыта жидкой грязью, и дул ветер, холодный и сырой.

По Волге ходили мутные волны и шумно плескались о берег. Всюду стоял шум, глухой, тяжелый, сильный... Сновали разные люди, озабоченные, стремившиеся куда-то... И на общем фоне жизни бойкой набережной улицы — группа из двоих детей и их матери, спокойно ожидавших чего-то, сразу бросалась в глаза.

Зосим Кириллович Подшибло давно заметил эту группу, и хотя держался в стороне от нее, но пристально наблюдал за ней. Он видел каждое движение каждого из троих, и ему было чего-то стыдно...

С Сибирской пристани шел кашинский пароход, через полчаса отправлявшийся вверх по Волге...

Публика стала сбиваться на дебаркадер.

И женщина с голубыми глазами наклонилась к детям, выпрямилась, вся увешанная свертками и узлами, и пошла вниз по лестнице, сзади своих детей, шедших, взяв друг друга за руки, и тоже нагруженных чем-то...

Зосим Кириллович должен был тоже идти на дебаркадер. Ему не хотелось этого, но было нужно, и через некоторое время он стоял неподалеку от кассы.



Его знакомая покупала билет. В руках ее был толстый желтый бумажник — оттуда смотрела пачка кредиток.

— Мне бы, — говорила она, — видите ли, так нужно... Их вот, детишек, во второй класс, до Костромы нам, а я в третьем. Можно им для обоих один билет?.. Нет? А то уступите? Покорно благодарю! Дай вам бог...

И она отошла с довольным лицом. Дети вертелись около нее и, хватая ее за платье, о чем-то просили... А она слушала их и улыбалась...

— Ах, батюшки, да куплю же, сказала!.. Разве жалко мне? По два? Ну... Пойдите тут.

Потом она отправилась на мостки, где торговали разной галантереей и фруктами.

И через несколько времени уже снова стояла около детей, говоря им:

— Вот тебе, Варя, мыло... Душистое! На-ка, понюхай. А тебе, Петя, — вот нож... Вишь ты, помню, небойсь. А вот апельсины — целый десяток. Кушайте... не сразу только...

Пароход подошел к пристани. Толчок. Все закачались. Женщина с детьми схватила их руками за плечи и прижала к себе, тревожно взглянув вокруг себя. Все были покойны, и она, успокоившись, засмеялась. Дети вторили ей. Положили трап, и публика хлынула на пароход.

— Стой! Куда прешь! Осел!.. — распоряжался Зосим Кириллович, пропуская мимо себя публику и обращаясь к какому-то плотнику, силошь увешанному пещером, пилой, топором и другими инструментами. — Черт! Пропусти даму и детей... Экой ты несуразный, братец мой! — добавил он уже мягче, когда дама, его знакомая с голубыми глазами, проходя мимо, улыбнулась и поклонилась ему, проходя на пароход...

...Третий свисток.

— Подбери носовую!.. — раздалась команда с мостика. Пароход дрогнул и медленно пошел...

Зосим Кириллович окинул глазами публику на палубе и, найдя свою знакомую, почтительно снял фуражку и поклонился ей.

Она ответила ему низким русским поклоном и стала истово креститься.

И поехала в Кострому со своими детьми.

А Зосим Кириллович, посмотрев ей вслед еще немного, глубоко вздохнул и пошел с дебаркадера на свой пост. Был он хмур и подавлен.

## КАК ПОЙМАЛИ СЕМАГУ

Семага сидел в кабаке, один за своим столиком пред полбутылкой водки и поджаркой за пятиалтышний.

В прокопченном табачным дымом подвале с каменным сводчатым потолком, освещенным двумя лампами, подвешенными к нему, и лампой за стойкой, было страшно накурено, и в тучах дыма плавали темные, рваные, неопределенные фигуры, ругались, разговаривали, пели и делали все это очень возбужденно, очень громко и с полным сознанием своей безопасности.

На улице выла суровая вьюга поздней осени, носились крупные липкие хлопья снега, а в кабаке было тепло, привычно пахуче и шумно.

Семага сидел и зорко сквозь пелену дыма наблюдал за дверью, особенно зорко, когда она отворялась с улицы и в кабак входил кто-нибудь. Он в этом случае даже нагибался несколько вперед своим крепким и гибким корпусом, а иногда приставлял к бровям ладонь руки, как щит, и долго пристально всматривался в физиономию вошедшего — на что у него были весьма основательные причины.

Рассмотрев нового гостя подробно и, очевидно, убедившись в том, в чем ему нужно было убедиться, Семага наливал себе новую рюмку водки, опрокидывал ее в рот и, насадив на вилку с полдюжины кусков картофеля и мяса, отправлял ее вслед за водкой и долго, медленно жевал, смачно чавкая и облизывая языком свои щетинистые солдатские усы.

От его мохнатой большой головы на серую и сырую стену падала странная взъерошенная тень, и, когда он жевал, она содрогалась; это было похоже на то, как бы она кому-то усиленно, но безответно кланялась.

Лицо у Семаги было широкое, скуластое, бритое, глаза большие, серые, прищуренные, над ними темные мохнатые брови,

и на левую бровь спускался, почти прикасаясь к ней, курчавый клочок волос какого-то неопределенного, сивого цвета.

В общем, Семагино лицо не возбуждало к себе доверия и даже несколько смущало выражением решимости, напряженной и неуместной даже и посреди той компании и обстановки, среди которой Семага находился.

На нем было надето рваное драповое пальто, подпоясанное веревкой, рядом с ним лежала шапка и рукавицы, а к спинке стула он приставил свою дубинку, довольно внушительных размеров, с шишкой из корня на одном конце.

И так он сидел, кейфовал и, допив свою водку, собирался спросить еще, как вдруг дверь с дребезгом и визгом распахнулась, и в кабак вкатилось что-то круглое, лохматое и похожее на большой раздерганный пук пакли,— вкатилось и закричало по-детски звонко и очень возбужденно:

— Стрема! Подбери голяшки, дяденьки!

Дяденьки все вдруг осеклись, замолкли, озабоченно засуетились, из среды их раздался густой и несколько смущенный вопрос:

— Не врешь?

— Лопни глаза, с обеих сторон валят. Конные и пехтурой... Двое частных, околodoшники... множество!

— А кого им надо, не знашь? Не слыхал?

— Семагу, должно. Никифоруца про него спрашивали...— звенел детский голос, в то время как шарообразная фигурка его обладателя суетилась под ногами дяденек, все ближе подкатываясь к стойке.

— Разн Никифоруц попал? — спросил Семага, напяливая на свою мохнатую голову шапку и неторопливо поднимаясь со скамьи.

— Втюрился... сейчас цопнули.

— Где?

— В Стенке у тетки Марьи.

— Ты оттуда, что ли?

— Э-э! Я огородами задал лататы да сюда; а сейчас улепетну в Баржу, там, чай, тоже есть кто.

— Валяй!

Мальчик мгновенно выкатился вон из кабака, и вслед ему раздался укоризненный возглас сидельца, благообразного седенького старичка Ионы Петровича, богобоязненного и сухенького человечка в больших очках и в черненькой скуфейке.

— Экая протобестия, Иудин сын! А? Хамово окаянное семя! На-ко? Целую тарелку слизал!

— Чего? — спросил Семага, идя к двери.

— Печенки... всё с тарелки-то счистил. И как ему, анафемскому змеенышу, доспелось? Хап — и чисто!

— Ну, разорил он тебя! — сурово заметил Семага, скрываясь за дверью.

Вьюга, сырая и тяжелая, глухо шумела, крутясь над улицей и вдоль ее, мокрые хлопья снега летали в воздухе такой густой массой, точно каша кипела и пенилась.

Семага постоял на одном месте с минуту и прислушался, но ничего не было слышно, кроме тяжелых вздохов ветра да шуршания снега о стены и крыши домов.

Тогда Семага пошел и, пройдя шагов с десять, перелез через забор на чей-то двор.

На него залаяла собака — и, как бы в ответ на ее лай, где-то фыркнула и стукнула копытом лошадь. Семага решительно перекинулся вновь на улицу и пошел по ней, направляясь к центру города, уже быстрее.

Через несколько минут, заслышав впереди себя какой-то глухой шум, он снова метнулся через забор, благополучно прошел по двору, дошел до отворенной калитки в сад и вскоре, без приключений миновав еще несколько заборов и дворов, шел по улице, параллельной той, на которой стоял кабаk Ионы Петровича.

Идя, Семага думал о том, куда бы ему отправиться, но не мог ничего придумать.

Все надежные места в эту ночь, когда черт дернул полицию делать обход, являлись уже ненадежными, а провести ночь на улице в такую пургу, с риском попасть в лапы обхода или ночного сторожа, — это не могло улыбаться Семаге.

Он шел медленно и, сощутив глаза, смотрел вперед себя в белую муть вьюжной ночи — из нее навстречу ему выползали молчаливые дома, тумбы, фонарные столбы, деревья, и все это было облеплено мягкими комьями снега.

Странный звук раздался в шуме вьюги — точно будто тихий плач ребенка где-то впереди. Семага остановился и, вытянув шею вперед, стал похож на хищного зверя, насторожившегося в предчувствии опасности.

Звуки замерли.

Семага качнул головой и снова начал шагать, глубже нахлобувив шапку и вобрав голову в плечи, чтобы меньше снега падало за воротник.

У самых ног его что-то запищало. Он вздрогнул, остановился, наклонился, пошарил руками на земле и выпрямился, отряхав что-то, завязанное в узел, от снега, засыпавшего эту находку.

— Вот так фунт! Ребенок... Ах ты, сделай милость! — в недоумении прошептал он, поднося находку к своему носу.

Находка была теплая, шевелилась и была вся мокрехонька от растаявшего на ней снега. Ровица у нее была намного меньше Семагиного кулака, красная, сморщенная, глаза закрыты, а маленький рот все открывался и чмокал. С мокрых тряпок на лицо и в этот беззубый ротишко текла вода.

Семага совершенно отупел от недоумения, но, чтобы избавить ребенка от неприятной необходимости глотать снежную воду, —

догадался, что нужно оправить тряпки, и для этого перекувыркнул ребенка вниз головой.

Тому это, должно быть, показалось неудобным, и он жалобно запищал.

— Нишкни! — сказал Семага сурово. — Нишкни! А то я те задам. Я чего вот с тобой сделаю? А? Куда мне тебя нужно? А ты реवेश? Ишь ты, дурачина.

Но на находку Семаги нисколько не подействовала его речь — ребенок все пищал и так жалобно, так тихо, что Семаге сделалось неловко.

— Это, брат, как хошь! Я понимаю, что тебе мокро и холодно... и что ты мал ребенок. Но, иначе, куда ж я тебя дену?

Ребенок все пищал.

— Совсем даже мне некуда тебя девать, — решительно сказал Семага, закутал свою находку плотнее в тряпки и, наклонившись, положил ее на снег.

— Так-то вот. А то куда ж я тебя дену? Я, брат, и сам вроде как подкидыш в моей жизни. Прощай, значит... Больше никаких!

И, махнув рукой, Семага пошел прочь от ребенка, ворча про себя:

— Кабы не обход, мог бы я тебя куда ни то сунуть. А то вон — обход. Что я тут могу сделать? Ничего, брат, не могу. Прости, пожалуйста. Невинная ты душа, а мать твоя — шкуреха. Кабы мне ее узнать, я бы ей ребра обломал и все печенки отбил. Чувствуй и понимай, да вдругорядь не дури. Знай край, да не падай. Эх ты, дьяволица треклятая, проклятая душа, ни дна бы тебе, ни покрышки, чтоб тебя земля не приняла, анафемскую дочь, чтоб тебя тоска-сухотка измаяла! А! Родишь? Бросаешь под забор? А за косы хочешь? Да я тебя... свинья ты! Должна ты понимать, что в такую пургу да мокроть нельзя ребят по улицам швырять, потому они слабые, как в рот снегу нанесет — они и задохнутся. Ду-ура, выбери сухую ночь и бросай свое дитя. В сухую ночь и проживет оно дольше и, главная вещь, увидят его люди. А разве в такую ночь люди ходят по улицам?.. Э-эх ты!

Когда именно, в каком месте своей реплики Семага воротился к находке и снова взял ее на руки, он этого не заметил в увлечении своим негодованием по адресу матери подкидыша. Он сунул его себе за пазуху и, снова на все корки отчитывая мать, двинулся вперед, охваченный чем-то тоскливым, смятенный и от жалости к ребенку, уже и сам жалкий, как ребенок.

Находка слабо возилась и глухо пищала, придавленная тяжелым драпом пальто и могучей рукой Семаги. А под пальто у Семаги была только одна рваная рубаха — отчего скоро Семагина грудь почувствовала живую теплоту маленького ребячьего тельца.

— Ах ты, живой! — ворчал Семага, идя сквозь снег куда-то вперед по улице. — Нехорошо твое дело, братец мой! Потому

куда мне тебя? Вот оно что! А мать твоя... ты не возись, лежи! Вывалишься.

Но он возился, и Семага чувствовал, как сквозь дыру в рубаше теплое личико ребенка трется о его, Семагину, грудь.

И вдруг Семага, как пораженный, остановился и громко прошептал:

— А ведь он это грудь ищет! Матернюю грудь... Господи! Матернюю грудь?!

Семага задрожал даже от чего-то — не то от какого-то стыда, не то от страха — от странного и сильного, больно и тоскливо щемящего сердце чувства.

— Я... как бы мать! Ах ты, братец мой! Ну, и чего же ты ищешь? И что ты со мной делаешь?.. Я, брат, солдат, вор я, коли говорить правду...

Ветер шумел глухо и так тоскливо.

— Заснул бы ты. Ты засни. Ну, баю. Спи! Ничего, брат, не вычмокаешь. Спи ты... Я те песню спою. Мать бы спела. Ну, ну, ну... О, о, о! Баю, бай... Я не баба. Спи!

И Семага вдруг тихо и, насколько мог, нежно и протяжно запел, наклонив свою голову к ребенку:

Ты, Матанька, дура, шкура,  
Не велика ты фигура.

Это он пел на мотив колыбельной песни.

Белая муть на улице все кипела, а Семага шел по тротуару с ребенком за пазухой, и в то время как ребенок, не умолкая, пищал, вор сладко над ним мурлыкал:

Как приду я к тебе в гости,  
Обломаю тебе кости.

И по его лицу от глаз текло что-то — талый снег, должно быть. Вор то и дело вздрагивал, у него щекотало в горле и щемило в груди, и было ему до слез тоскливо идти по пустынной улице, среди выюги, с этим ребенком, пищавшим за пазухой.

Он все шел однако...

Сзади его раздавался глухой топот копыт, показались в мутной мгле силуэты всадников, и вот они поравнялись с ним.

— Кто идет?

— Что за человек? — раздались сразу два оклика...

Семага дрогнул и остановился.

— Что несешь, говори? — подъехав вплотную к тротуару, спросил его один всадник.

— Несу-то? Ребенка!

— Кто таков?

— Семага... Ахтырский.

— Приятель! А тебя ведь и искали! Ну-ка, айда, становись к морде лошади!

— Нам надо сторонкой идти. За домами-то меньше дует. А середь дороги нам не с руки. Мы и так уж.

Полицейские едва поняли его и позволили идти сторонкой, а сами поехали рядом, не сводя с него глаз.

Так он и шел вплоть до части.

— Ага! Попал, сокол. Ну, вот и отлично! — встретил его частный пристав в канцелярии.

Семага потряхнул головой и спросил:

— А как же теперь ребенок? Куда мне его?

— Что? Какой ребенок?

— Подкидыш. Нашел я. Вот.

И Семага вытащил из-за пазухи свою находку. Она дрябло перегнулась на его руках.

— Да он мертвый уж! — воскликнул частный пристав.

— Мертвый? — повторил Семага и, посмотрев на ребенка, положил его на стол.

— Ишь ты, — сказал он и, вздохнув, добавил: — Сразу бы мне его взять. Может бы, он и не того... А я не сразу. Взял да опять положил.

— Ты чего ворчишь? — с любопытством спросил частный.

Семага сумрачно оглянулся вокруг себя.

Со смертью ребенка в нем умерло многое из того, с чем он шел по улице.

Вокруг него была казенщина, впереди тюрьма и суд. Семаге стало обидно. Он укоризненно взглянул на трупик ребенка и со вздохом проговорил:

— Эх ты! Задарма, значит, я втрескался из-за тебя! Я думал и впрямь... ан ты и умер... Штука!

И Семага ожесточенно стал скрести себе шею.

— Увести! — приказал частный пристав полицейским, кивая на Семагу головой.

И увели Семагу под арест.

Вот и все.

## ХАН И ЕГО СЫН

«Был в Крыму хан Мосолайма эль Асваб, и был у него сын Толайк Алгалла...»

Прислонясь спиной к ярко-коричневому стволу арбутуса, слепой нищий, татарин, начал этими словами одну из старых легенд полуострова, богатого воспоминаниями, а вокруг рассказчика, на камнях — обломках разрушенного временем ханского дворца — сидела группа татар в ярких халатах, в тюбетейках, шитых золотом. Вечер был, солнце тихо опускалось в море; его красные лучи пронизывали темную массу зелени вокруг развалин, яркими пятнами ложились на камни, поросшие мохом, опутанные цепкой зеленью плюща. Ветер шумел в купе старых чинар, листья их так шелестели, точно в воздухе струились невидимые глазом ручьи воды.

Голос слепого нищего был слаб и дрожал, а каменное лицо его не отражало в своих морщинах ничего, кроме покоя; заученные слова лились одно за другим, и пред слушателями вставала картина прошлых, богатых силой чувства, дней.

«Хан был стар,— говорил слепой,— но женщин в гареме было много у него. И они любили старика, потому что в нем было еще довольно силы и огня и ласки его нежили и жгли, а женщины всегда будут любить того, кто умеет сильно ласкать, хотя бы и был он сед, хотя бы и в морщинах было лицо его — в силе красота, а не в нежной коже и румянце щек.

Хана все любили, а он любил одну казачку-полонянку из днепровских степей и всегда ласкал ее охотнее, чем других женщин гарема, где было триста жен из разных земель, и все они красивы, как весенние цветы, и всем им жилось хорошо. Много вкусных и сладких яств велел готовить для них хан и позволял им всегда, когда они захотят, танцевать, играть...

А казачку он часто звал к себе в башню, из которой видно было море, там для казачки он имел все, что нужно женщине, чтобы ей весело жилось: сладкую пищу, и разные ткани, и золото, и камни всех цветов, музыку, и редких птиц из далеких стран, и огненные ласки влюбленного. В этой башне он забавлялся с ней целые дни, отдыхая от трудов своей жизни и зная,



что сын Алгалла не уронит славы ханства, рыская волком по русским степям и всегда возвращаясь оттуда с богатой добычей, с новыми женщинами, с новой славой, оставляя там, сзади себя, ужас и пепел, трупы и кровь.

Раз возвратился он, Алгалла, с набега на русских, и было устроено много праздников в честь его, все мурзы острова собрались на них, были игры и пир, стреляли из луков в глаза пленников, пробуя силу руки, и снова пили, славя храбрость Алгаллы, грозы врагов, опоры ханства. А старый хан был рад славе сына. Хорошо было старику знать, что, когда он умрет, — ханство будет в крепких руках.

Хорошо было ему это, и вот он, желая показать сыну силу любви своей, сказал ему при всех мурзах и беках, — тут, на пиру, с чашей в руке, сказал:

— Добрый ты сын, Алгалла! Слава аллаху, и да будет прославлено имя пророка его!

И все прославили имя пророка хором могучих голосов. Тогда хан сказал:

— Велик аллах! Еще при жизни моей он воскресил мою юность в храбром сыне моем, и вот вижу я старыми глазами, что, когда скроется от них солнце — и когда черви источат мне сердце, — жив буду я в сыне моем! Велик аллах и Магомет, пророк его! Хороший сын у меня есть, тверда его рука и ясен ум... Что хочешь ты взять из рук отца твоего, Алгалла? Скажи, и я дам тебе все по твоему желанию...

И не замер еще голос хана-старика, как поднялся Толайк Алгалла и сказал, сверкнув глазами, черными, как море ночью, и горящими, как очи горного орла:

— Дай мне русскую полонянку, повелитель-отец.

Помолчал хан — мало помолчал, столько времени, сколько надо, чтобы подавить дрожь в сердце, — и, помолчав, твердо и громко сказал:

— Бери! Кончим пир, — ты возьмешь ее.

Вспыхнул удалой Алгалла, великой радостью сверкнули орлиные очи, встал он во весь рост и сказал отцу-хану:

— Знаю я, что ты мне даришь, повелитель-отец! Знаю это я... Раб я твой — твой сын. Возьми мою кровь по капле в час — двадцатью смертями я умру за тебя!

— Не надо мне ничего! — сказал хан, и поникла на грудь его седая голова, увенчанная славой долгих лет и многих подвигов.

Скоро они кончили пир, и оба молча, рядом друг с другом пошли из дворца в гарем.

Ночь была темная, ни звезд, ни луны не было видно из-за туч, густым ковром покрывших небо.

Долго шли во тьме отец и сын, и вот заговорил хан эль Асваб:

— Гаснет день ото дня жизнь моя — и все слабее бьется мое старое сердце, все меньше огня в груди. Светом и теплом моей жизни были знойные ласки казачки... Скажи мне, Толайк, ска-

жи, неужели она так нужна тебе? Возьми сто, возьми всех моих жен за одну ее!..

Молчал Толайк Алгалла, вздыхая.

— Сколько дней мне осталось? Мало дней у меня на земле... Последняя радость жизни моей — эта русская девушка. Она знает меня, она любит меня, — кто теперь, когда ее не будет, полюбит меня, старика, — кто? Ни одна из всех, ни одна, Алгалла!..

Молчал Алгалла...

— Как я буду жить, зная, что ты обнимаешь ее, что тебя целует она? Перед женщиной нет ни отца, ни сына, Толайк! Перед женщиной все мы — мужчины, мой сын... Больно будет мне доживать мои дни... Пусть бы все старые раны открылись на теле моем, Толайк, и точили бы кровь мою, пусть бы я лучше не пережил этой ночи, мой сын!

Молчал его сын... Остановились они у двери гарема и, опустив на груди головы, стояли долго перед ней. Тьма была кругом; и облака бежали в небе, а ветер, потрясая деревья, точно пел, шумел деревьями...

— Давно я люблю ее, отец... — тихо сказал Алгалла.

— Знаю... И знаю, что она не любит тебя... — сказал хан.

— Рвется сердце мое, когда я думаю про нее.

— А мое старое сердце чем полно теперь?

И снова замолчали. Вдохнул Алгалла.

— Видно, правду сказал мне мудрец-мулла — мужчине женщина всегда вредна: когда она хороша, она возбуждает у других желание обладать ею, а мужа своего предаст мукам ревности; когда она дурна, муж ее, завидуя другим, страдает от зависти; а если она не хороша и не дурна, — мужчина делает ее прекрасной и, поняв, что он ошибся, вновь страдает через нее, эту женщину...

— Мудрость не лекарство от боли сердца, — сказал хан.

— Пожалеем друг друга, отец...

Поднял голову хан и грустно поглядел на сына.

— Убьем ее, — сказал Толайк.

— Ты любишь себя больше, чем ее и меня, — подумав, тихо молвил хан.

— Ведь и ты тоже.

И опять они помолчали.

— Да! И я тоже, — грустно сказал хан. От горя он сделался ребенком.

— Что же, — убьем?

— Не могу я отдать ее тебе, не могу, — сказал хан.

— И я не могу больше терпеть — вырви у меня сердце или дай мне ее...

Хан молчал.

— Бросим ее в море с горы.

— Бросим ее в море с горы, — повторил хан слова сына, как эхо сынова голоса.

И тогда они вошли в гарем, где она уже спала на полу, на пышном ковре. Остановились они перед ней, смотрели; долго смотрели на нее. У старого хана слезы текли из глаз на его серебряную бороду и сверкали в ней, как жемчужины, а сын его стоял, сверкая очами, и, скрежетом зубов своих сдерживая страсть, разбудил казачку. Проснулась она — и на лице ее, нежном и розовом, как заря, расцвели ее глаза, как васильки. Не заметила она Алгаллу и протянула алые губы хану.

— Поцелуй меня, орел!

— Собирайся... пойдешь с нами,— тихо сказал хан.

Тут она увидела Алгаллу и слезы на очах своего орла и — умная она была — поняла все.

— Иду,— сказала она.— Иду. Ни тому, ни другому — так решили? Так и должны решать сильные сердцем. Иду.

И молча они, все трое, пошли к морю. Узкими тропинками шли, ветер шумел, гулко шумел...

Нежная она была девушка, скоро устала, но и горда была — не хотела сказать им этого.

И, когда сын хана заметил, что она отстает от них,—сказал он ей:

— Боишься?

Она блеснула глазами на него и показала ему окровавленную ногу...

— Дай понесу тебя! — сказал Алгалла, протягивая к ней руки. Но она обняла шею своего старого орла. Поднял хан ее на свои руки, как перо, и понес; она же, сидя на его руках, отклоняла ветви от его лица, боясь, что они попадут ему в глаз. Долго они шли, и вот уже слышен гул моря вдаль. Тут Толайк,— он шел сзади их по тропинке,— сказал отцу:

— Пусти меня вперед, а то я хочу ударить тебя кинжалом в шею.

— Пройди,— аллах возместит тебе твоё желание или простит,— его воля,—я же, отец твой, прощаю тебе. Я знаю, что значит любить.

И вот оно, море, пред ними, там, внизу, густое, черное и без берегов. Глухо поют его волны у самого низа скалы, и темно там, внизу, и холодно, и страшно.

— Прощай!— сказал хан, целуя девушку.

— Прощай! — сказал Алгалла и поклонился ей.

Она заглянула туда, где пели волны, и отшатнулась назад, прижав руки к груди.

— Бросьте меня,— сказала она им...

Простер к ней руки Алгалла и застонал, а хан взял ее в руки свои, прижал к груди крепко, поцеловал и, подняв ее над своей головой,— бросил вниз со скалы.

Там плескались и пели волны и было так шумно, что оба они не слышали, когда она долетела до воды. Ни крика не слышали, ничего. Хан опустился на камни и молча стал смотреть вниз, во

тьму и даль, где море смешалось с облаками, откуда шумно плыли глухие всплески волн, и ветер пролетал, развевая седую бороду хана. Толайк стоял над ним, закрыв лицо руками, — камень, неподвижный и молчаливый. Время шло, по небу одно за другим плыли облака, гонимые ветром. Темны и тяжелы они были, как думы старого хана, лежавшего над морем на высокой скале.

— Пойдем, отец, — сказал Толайк.

— Подожди... — шепнул хан, точно слушая что-то. И опять прошло много времени, плескались волны внизу, а ветер налетал на скалу, шумя деревьями.

— Пойдем, отец...

— Подожди еще...

Не один раз говорил Толайк Алгалла:

— Пойдем, отец.

Хан все не шел от места, где потерял радость своих последних дней.

Но — все имеет конец! — встал он, могучий и гордый, встал, нахмурил брови и глухо сказал:

— Идем...

Пошли они, но скоро остановился хан.

— А зачем я иду и куда, Толайк? — спросил он сына. — Зачем мне жить теперь, когда вся моя жизнь в ней была? Стар я, не полюбят уж меня больше, а если никто тебя не любит — неразумно жить на свете.

— Слава и богатство есть у тебя, отец...

— Дай мне один ее поцелуй и возьми все это себе в награду. Это все мертвое — одна любовь женщины жива. Нет такой любви — нет жизни у человека, нищ он, и жалки дни его. Прощай, мой сын, благословение аллаха над твоей главой да пребудет во все дни и ночи жизни твоей. — И повернулся хан лицом к морю.

— Отец, — сказал Толайк, — отец!.. — И не мог больше сказать ничего, так как ничего нельзя сказать человеку, которому улыбается смерть, ничего не скажешь ему такого, что возвратило бы в душу его любовь к жизни.

— Пусты меня...

— Аллах...

— Он знает...

Быстрыми шагами подошел хан к обрыву и кинулся вниз. Не остановил его сын, не успел. И опять ничего не было слышно — ни крика, ни шума падения хана. Только волны все плескали там, да ветер гудел дикие песни.

Долго смотрел вниз Толайк Алгалла и потом вслух сказал:

— И мне такое же твердое сердце дай, о аллах!

И потом он пошел во тьму ночи...

...Так погиб хан Мосолайма эль Асваб, и стал в Крыму хан Толайк Алгалла...

## ТОВАРИЩИ

### I

Горячее солнце июля ослепительно блесело над Смолкиной, обливая ее старые избы щедрым потоком ярких лучей. Особенно много солнца было на крыше старостиной избы, недавно перекрытой заново гладко выстроганным тесом, желтым и пахучим. Воскресенье, и почти все люди вышли на улицу, густо поросшую травой, усеянную кочками засохшей грязи. Перед старостиной избой собралась большая группа мужиков и баб: иные сидели на завалине избы, иные прямо на земле, другие стояли; среди них гонялись друг за другом ребятишки, то и дело получая от взрослых сердитые окрики и щелчки.

Центром толпы служил высокий человек с большими, опущенными вниз усами. По его коричневому лицу, покрытому густой сивой щетиной и сетью глубоких морщин, по седым клочьям волос, выбившимся из-под грязной соломенной шляпы,— этому человеку можно было дать лет пятьдесят. Он смотрел в землю, и ноздри его большого хрящеватого носа вздрагивали, а когда он поднимал голову, бросая взгляд на окна старостиной избы, видны были его глаза, большие, печальные,— они глубоко ввалились в орбиты, а густые брови кидали от себя тень на темные зрачки. Одет он был в коричневый рваный подрясник монастырского послушника, едва закрывавший ему колени и подпоясанный веревкой. За спиной у него котомка, в правой руке длинная палка с железным наконечником, левую он держал за пазухой. Окружавшие осматривали его подозрительно, насмешливо, с презрением и, наконец, с явной радостью, что им удалось поймать волка раньше, чем он успел нанести вред их стаду.

Он проходил через деревню и, подойдя к окну старосты, попросил напиться. Староста дал ему квасу и заговорил с ним. Но

прохожий отвечал, против обыкновения странников, очень неохотно. Староста спросил у него документ, документа не оказалось. И прохожего задержали, решив отправить в волость. Староста выбрал в конвоиры ему сотского и теперь, в избе у себя, напутствовал его, оставив арестанта среди толпы, — она грубо потешалась над ним.

Но вот на крыльце избы явился подслеповатый старик с лисьим лицом и седой, клинообразной бородкой. Он степенно опускал ноги в сапогах со ступени на ступень, и круглый его животик солидно колыхался под длинной ситцевой рубахой. А из-за его плеча высывалось бородатое четырехугольное лицо сотского.

— Понял, Ефимушка? — спросил староста у сотского.

— Чего тут не понять? Все понял. Обязан, значит, я проводить этого человека к становому и — больше никаких! — Проговорив свою речь раздельно и с комической важностью, сотский подмигнул публике.

— А бумага?

— А бумага, — она за пазухой у меня живет.

— Ну, то-то! — вразумительно сказал староста и добавил, крепко почесав себе бок:

— С богом, значит, айда!

— Пошли! Шагаем, что ли, отче? — улыбнулся сотский арестанту.

— Вы бы хоть подводу дали, — глухо ответил тот на предложение сотского. Староста ухмыльнулся.

— Подво-оду? Ишь ты! Вашего брата, проходимца, много тут шныряет по полям, по деревням... лошадей про всех не хватит. Прошагаешь и пехтурой.

— Ничего, отец, идем! — ободряюще заговорил сотский. — Ты думаешь, далече нам? Дай бог, два десятка верст! Мы с тобой, отче, живо докатим. А там ты и отдохнешь...

— В холодной, — пояснил староста.

— Это ничего, — торопливо заявил сотский, — человеку, который ежели устал, и в тюрьме отдых. А потом — холодная-то — она прохладная, — после жаркого дня в ней куда хорошо!

Арестант сурово оглянул своего конвоира — тот улыбался весело и открыто.

— Ну-ка, айда, отец честной! Прощай, Василь Гаврилыч! Пошли!

— С господом, Ефимушка!.. Смотри в оба.

— А зри — в три! — подкинул сотскому какой-то молодой парень из толпы.

— Н-ну! Малый я ребенок али что?

И они пошли, держась близко к избам, чтобы идти по полосе тени. Человек в рясе шел впереди, развинченной, но спорой походкой привычного к ходьбе. Сотский, со здоровой палкой в руке, сзади него.

Ефимушка был мужичок низенького роста, коренастый, с широким добрым лицом в раме русой, свалывшейся в клочья бороды, начинавшейся от его серых ясных глаз. Он всегда почти улыбался чему-то, показывая желтые зубы и так наморщивая переносье, точно он хотел чихнуть. Одет он был в азым, заткнув его полы за пояс, чтоб они не путались в ногах, на голове у него торчал темно-зеленый картуз без козырька, напоминая арестантскую фуражку.

Шли они по узкой проселочной дороге; она въюном вилась в волнистом море ржи, и тени путников ползли по золоту колосьев.

На горизонте синела грива леса, влево, бесконечно далеко вглубь, расстилались засеянные поля; среди них лежало темное пятно деревни, за ней опять поля, тонувшие в голубоватой мгле.

Справа, из-за купы ветел, вонзился в синее небо обитый жестью и еще не выкрашенный шпиль колокольни — он так ярко блестел на солнце, что на него было больно смотреть.

В небе звенели жаворонки, во ржи улыбались васильки, и было жарко — почти душно. Из-под ног путников взлетала пыль.

Ефимушка, отхаркнувшись, затянул фальцетом:

Ге-эх-да-и с чего-й-то-о-о...

— Не хватаит голосу-то, дуй его горой! Н-да... а бывало, пел я... Вишенский учитель скажет: «Ну-ка, Ефимушка, заводи!» И зальемся мы с ним! Правильный парень был он...

— Кто он? — глухим басом спросил человек в рясе.

— А вишенский учитель...

— Вишенский — фамилия?

— Вишенки — это, брат, село. А то учитель Павл Михалыч. Первый сорт — человек был. Помер в третьем году...

— Молодой?

— Тридцати годов не было...

— С чего помер?

— С огорчения, надо полагать.

Собеседник Ефимушки искоса взглянул на него и усмехнулся...

— Дело, видишь ты, милый человек, такое вышло — учил он, учил годов семь кряду, и начал кашлять. Кашлял, кашлял, да и затосковал... Ну, а с тоски, известно, начал пить водку. Отец Алексей не любил его, и как запил он, отец-от Алексей в город бумагу и спосылал — так, мол, и так — пьет учитель-то, это — соблазн. А из города в ответ тоже бумагу прислали и учительшу. Длинная такая, костлявая, нос большущий. Ну, Павл Михалыч видит — дело швах. Огорчился, дескать, учил я, учил... ах вы, черти! Отправился из училища прямо в больницу да через пять дён и отдал душу богу... Только и всего...

Некоторое время шли молча. Лес все приближался к путни-

кам с каждым шагом, вырастая на их глазах и из синего становясь зеленым.

— Лесом пойдем? — спросил Ефимушкин спутник.

— Краешек захватим, с полверсты этак. А что? А? Ишь ты! Гусь ты, отец честной, погляжу я на тебя!

И Ефимушка засмеялся, качая головой...

— Ты чего? — спросил арестант.

— Да так, ничего. Ах ты! Лесом, говорит, пойдем? Прост ты, милый человек, другой бы не спросил, который поумнее ежели. Тот бы прямо пришел в лес, да и того...

— Чего?

— Ничего! Я, брат, тебя насквозь вижу. Эх ты, душа ты моя, тонка дудочка! Нет, ты эту думу — насчет лесу — брось! Али ты со мной сладишь? Да я троих таких уберу, а на тебя на одну левую руку выйду...<sup>1</sup> Понял?

— Понял! Дурак ты! — кратко и выразительно сказал арестант.

— Что? Угадал я тебя? — торжествовал Ефимушка.

— Чучело! Чего ты угадал? — криво усмехнулся арестант.

— Насчет лесу... Понимаю я! Дескать, я — это ты-то, — как придем в лес, тяпну там его — меня-то, значит, — тяпну, да и зальюсь по полям да по лесам? Так ли?

— Глупый ты, — пожал плечами угаданный человек. — Ну, куда я пойду?

— Уж куда хочешь, — это твое дело...

— Да куда? — Ефимушкин спутник не то сердился, не то очень уж желал услышать от своего конвоира указание, куда именно он мог бы идти.

— Я те говорю, куда хочешь! — спокойно заявил Ефимушка.

— Некуда мне, брат, бежать, некуда! — тихо сказал его спутник.

— Н-ну! — недоверчиво произнес конвоир и даже махнул рукой. — Бежать всегда есть куда. Земля-то, она велика. Одному человеку на ней всегда место будет.

— Да тебе что? Хочется, что ли, чтоб я убежал? — полюбопытствовал арестант, усмехаясь.

— Ишь ты! Больно ты хорош! Разве это порядок? Ты убежишь, а заместо тебя кого в острог сажать будут? Меня посадят. Нет, я так это, для разговору...

— Блаженный ты... а впрочем, кажется, хороший мужик, — сказал, вздохнув, Ефимушкин спутник. Ефимушка не замедлил, согласиться с ним.

— Это точно, называют меня блаженным некоторые люди... И что хороший я мужик — это тоже верно. Простой я, главная

---

<sup>1</sup> «Выйти на одну руку» — значит драться с противником одной рукой, в то время как другая плотно привязана кушаком к туловищу бойца. Противник же действует обеими руками. (Прим. М. Горького.)



причина. Иные люди говорят все с подходцем да с хитрецей, а мне — чего? Я человек один на свете. Хитровать будешь — умрешь, и правдой жить будешь — умрешь. Так я все напрямки больше.

— Это хорошо! — равнодушно заметил спутник Ефимушки.

— А как же? Для че я стану кривить душой, коли я один, весь тут? Я, браток, свободный человек. Как желаю, так и живу, по своему закону прохожу жизнь... Н-да... А тебя как звать-то?

— Как? Ну... Иван Иванов...

— Так! Из духовных, что ли?

— Н-нет...

— Ну? А я думал — из духовных...

— Это по одежде, что ли?

— Вот, вот! Совсем ты вроде как бы беглый монах, а то расстриженный поп... А вот лицо у тебя неподходящее, с лица ты вроде как бы солдат... Бог тебя знает, что ты за человек? — И Ефимушка окинул странника любопытным взглядом. Тот вздохнул, поправил шляпу на голове, вытер потный лоб и спросил сотского:

— Табак куришь?

— Ах ты, сделай милость! Конечно, курю!

Он вытащил из-за пазухи засаленный кисет и, наклонив голову, но не останавливаясь, стал набивать табак в глиняную трубку.

— На-ко, закуривай! — Арестант остановился и, наклонясь к зажженной конвоиром спичке, втянул в себя щеки. Синий дымок поплыл в воздухе.

— Так из каких ты будешь-то? Мещанин, что ли?

— Дворянин, — кратко сказал арестант и сплюнул в сторону на колосья хлеба, уже подернутые золотым блеском.

— Э-э! Ловко! Как же это ты без пачпорта гуляешь?

— А так и гуляю.

— Ну-ну! Дела! Не свычна, чай, этакая волчья жизнь для твоего дворянства? Э-эх ты, горю!

— Ну ладно, будет болтать-то, — сухо сказал горю.

Но Ефимушка с возрастающим любопытством и участием оглядывал беспаспортного человека и, задумчиво качая головой, продолжал:

— А-ай! Как судьба с человеком-то играет, ежели подумать! Ведь оно, пожалуй, и верно, что ты из дворян, потому осанка у тебя великолепная. Давно ты живешь в таком образе?

Человек с великолепной осанкой сумрачно взглянул на Ефимушку и отмахнулся от него рукой, как от назойливой осы.

— Брось, говорю! Что ты пристал, как баба?

— Ты не сердись! — успокоительно проговорил Ефимушка. — Я по чистому сердцу говорю... сердце у меня доброе очень...

— Ну, и — твое счастье... А вот, что язык у тебя без умолку мелет, — это мое несчастье.

— Ну, ин ладно! Я коли и помолчу... можно и помолчать, ежели человек не хочет слушать твоего разговору. А сердишься ты все-таки без причины... Али моя вина, что тебе на бродяжьем положении пришлось жить?

Арестант остановился и так сжал зубы, что его скулы выдались двумя острыми углами, а седая щетина на них встала ершом. Он смерил Ефимушку с ног до головы загоревшимися злобой, прищуренными глазами.

Но раньше, чем Ефимушка заметил эту мимику, он снова начал мерять землю широкими шагами.

На лицо болтливого сотского лег отпечаток рассеянной задумчивости. Он посматривал вверх, откуда лились трели жаворонков, и подсвистывал им сквозь зубы, помахивая палкой в такт своих шагов.

Подходили к опушке леса. Он стоял неподвижной и темной стеной — ни звука не несло из него навстречу путникам. Солнце уже садилось, его косые лучи окрасили вершины деревьев в пурпур и золото. От деревьев веяло пахучей сыростью; сумрак и сосредоточенное молчание, наполнявшие лес, рождали жуткое чувство.

Когда лес стоит пред глазами темен и неподвижен, когда весь он погружен в таинственную тишину и каждое дерево точно чутко прислушивается к чему-то, — тогда кажется, что весь лес полон чем-то живым и лишь временно притаившимся. И ждешь, что в следующий момент вдруг выйдет из него нечто громадное и непонятное человеческому уму, выйдет и заговорит могучим голосом о великих тайнах творчества природы...

## II

Подойдя к опушке леса, Ефимушка и его спутник решили отдохнуть и уселись на траву около широкого дубового пня. Арестант медленно стащил с плеч котомку и равнодушно спросил сотского:

— Хлеба хочешь?

— Дашь, так пожую, — ответил Ефимушка улыбаясь.

Они молча стали жевать хлеб. Ефимушка ел медленно и все вздыхал, посматривая куда-то в поле, влево от себя, а его спутник, весь углубясь в процесс насыщения, ел скоро и звучно чавкал, измеряя глазами краюху хлеба. Поле темнело, хлебá, потеряв свой золотистый блеск, стали розовато-желтыми; с юго-запада плыли лохматые тучки, от них на поле падали тени и ползли по колосьям к лесу. И от деревьев тоже ложились на землю тени, а от теней веяло на душу грустью.

— Слава тебе, господи! — возгласил Ефимушка, собрав с полы азяма крошки хлеба и слизав их с ладони языком. —

Господь напитал — никто не видал, а кто и видел, так не обидел! Друг! Посидим здесь часок? Успеем в холодную-то?

Друг кивнул головой.

— Ну, вот!.. Место больно хорошее, памятное мне место... Вон там, влево, господ Тучковых усадьба была...

— Где? — быстро спросил арестант, оборачиваясь туда, куда Ефимушка махнул рукой...

— А эвона — за тем мыском. Тут все вокруг ихнее. Богатейшие господа были, но после воли свихнулись... Я тоже ихний был, — мы все тут бывшие ихние. Большая семья была... Полковник сам-то — Александр Никитыч Тучков. Дети были: четверо сыновей — куда все теперь подевались? Словно ветром разнесло людей, как листья по осени. Один только Иван Александрович цел, — вот я тебя к нему и веду, он у нас становым-то... Старый.

Арестант засмеялся. Смеялся он глухо, каким-то особенным внутренним смехом, — грудь и живот у него колыхались, но лицо оставалось неподвижным, только сквозь оскаленные зубы вырывались глухие, точно лающие звуки.

Ефимушка боязливо поежился и, подвинув свою палку поближе к руке, спросил у него:

— Чего это ты? Находит на тебя, что ли?..

— Ничего... это так! — сказал арестант отрывисто, но ласково. — Рассказывай, знай...

— Н-да... Так вот, значит, какие дела, — были это господа Тучковы, и нету их... Которые померли, а которые пропали, так ни слуху ни духу о них и нету. Особливо один тут был... самый меньшей. Виктором звали... Витей. Товарищи мы с ним были... В ту пору было нам с ним лет по четырнадцать... Экий мальчик был, помяни, господи, добром его душеньку! Ручей чистый! Так вот весь день и стремится, так это и журчит... Где-то он теперь? Жив или уж нет?

— Чем больно хорош был? — тихо спросил Ефимушку его спутник.

— Всем! — воскликнул Ефимушка. — Красотой, разумом, добрым сердцем... Ах ты, странный человек, душа ты моя, спела ягода! Посмотрел бы ты тогда на нас двоих... ай, ай, ай! В какие игры мы играли, какая развеселая жизнь была, — люли малина! Бывало, крикнет: «Ефимка! Идем на охоту!» Ружье у него было, — отец подарил в именины, — и мне, бывало, стащит ружье. И закатимся мы это в леса, да — дня на два, на три! Придем домой — ему проборка, мне порка; глядишь, на другой день снова: «Ефимка, — по грибы!» Птицы мы с ним погубили — тысячи! Грибов этих собирали — пуды! Бабочек, жуков он ловил, бывало, и в коробки их, на булавки насаживал... Занятно! Грамоте меня учил... «Ефимка, говорит, я тебя учить буду». — «Валяйте!» Ну и начал... «Говори, говорит, — а!» Я ору: «А-а!» Смехи! Сначала-то мне в шутку это дело было — на што она, грамота-то, крестья-

янину?.. Ну, он меня увещевает: «На то, говорит, тебе, дураку, и воля дана, чтобы ты учился... Будешь, говорит, грамоте знать,— узнаешь, как жить надо и где правду искать...» Известно, малое дитя — переимчиво, наслушался, видно, у старших этаких речей, и сам начал то же говорить... Пустое, конечно, все... В сердце она, грамота-то, сердце и насчет правды укажет... Оно — глазастое... Так вот, учит он меня... так присосался к этому делу,—дохнуть мне не дает! Маета! Я — молить! «Витя, говорю, мне грамота немоготу, не могу я ее одолеть...» Так он на меня ка-ак рявкнет! «Папиной нагайкой заporю — учись!» Ах ты, сделай милость! Учусь... Раз сбежал с урока, прямо вскочил да и драла! Так он меня с ружьем искал весь день — застрелить хотел. После говорит мне: «Кабы, говорит, встретил я тебя в тот день — застрелил бы», говорит! Вот какой был резкий! Непреклонный,— настоящий барин... Любил он меня; пламенная душа... Раз мне тятка спину вожжами расписал, а как он, Витя-то, увидел это, пришедши к нам в избу,— батюшки мои,— что вышло! Побледнел весь, затрясся, сжал кулаки и к тятеньке на полати лезет. «Это, говорит, ты как смел?» Тятка говорит — я-де отец! «Ага! Ну хорошо, отец, один я с тобой не слажу, а спина у тебя будет такая же, как у Ефимки». Заплакал после этих слов и убежал... И что ж ты скажешь, отче? Исполнил ведь свое слово. Дворню, видно, подговорил, что ли, только однажды тятенька пришел домой, кряхтит; стал было рубашку снимать, а она присохла к спине-то у него... Рассердился на меня отец в ту пору: «Из-за тебя, говорит, терплю, барский ты прихвостень». Из здоровенную задал мне теребачку... Ну, а насчет барского прихвостня это он напрасно,— я таким не был...

— Верно, Ефим, не был! — утвердительно сказал арестант и весь вздрогнул.— Это видно и сейчас, не мог ты быть барским прихвостнем,— как-то торопливо добавил он.

— То-то и оно! — воскликнул Ефимушка.— Просто я любил его, Витю-то... Такой это талантливый ребенок был, все его любили — не один я... Бывало, речи он говорит разные... не помню я их, тридцать годов, поди, прошло с той поры... Ах, господи! Где-то он теперь? Чай, коли жив, высокое место занимает или... в самом омуте кипит... Жизнь людская растаковская! Кипит она, кипит, а все ничего путного не сварится... А люди пропадают... жалко людей, до смерти жалко! — Ефимушка, тяжело вздохнув, поник головой на грудь... С минуту длилось молчание.

— А меня тебе жалко? — весело спросил арестант, и все лицо у него было освещено хорошей, доброй улыбкой...

— Да ведь, чудака-человек! — воскликнул Ефимушка,— как же тебя не жалеть? Что ты такое, ежели подумать? Коли ты бродишь, так, видно, нет у тебя ничего своего на земле-то, ни угла, ни щепочки... А может, еще и велик грех ты носишь с собой,— кто тебя знает? Горюн ты — одно слово...

— Так,— сказал арестант.

И они снова замолчали. Солнце уже село, и тени стали гуще. В воздухе пахло влажной землей, цветами и лесной плесенью... Долго сидели молча.

— А как тут ни хорошо — все-таки надо идти... Нам еще верст восемь осталось... Айда-ка, отче, подымайся!

— Посидим еще немного, — попросил отче.

— Да я ничего, я сам люблю ночью около леса быть... Только когда ж мы придем в волость-то? Заругают меня — поздно-де.

— Ничего, не заругают...

— Разве ты словечко замолвишь, — усмехнулся сотский.

— Могу.

— Ой ли?

— А что?

— Шутник ты! Он те, становой-то, задаст перцу!

— Дерется разве?

— Лют! И ловок — ахнет кулаком в ухо, а выходит все равно как бы косой по ногам.

— Ну, мы ему сдачи дадим, — уверенно сказал арестант, дружески потрепав своего конвоира по плечу.

Это было фамильярно и не понравилось Ефимушке. Как-никак, а он все-таки начальство, и этот гусь не должен забывать, что у Ефимушки за пазухой есть медная бляха! Ефимушка встал на ноги, взял в руки свою палку, вывесил бляху на самую середину груди и строго сказал:

— Вставай, идем!

— Не пойду! — сказал арестант.

Ефимушка смутился и, вытаращив глаза, с полминуты молчал, не понимая, — с чего это арестант вдруг стал такой?

— Ну, не валандайся, идем! — мягче сказал он.

— Не пойду! — решительно повторил арестант.

— То есть как не пойдешь? — закричал Ефимушка в изумлении и гневе.

— Так. Хочу здесь ночевать с тобой... Ну-ка, разжигай костер...

— Я те дам ночевать! Я те такой костер на спине у тебя разожгу — любо-дорого! — грозил Ефимушка. Но в глубине души он был изумлен. Говорит человек — не пойду, — а сопротивления никакого не оказывает, в драку не лезет, лежит себе на земле и больше ничего. Как тут быть?

— Не ори, Ефим, — спокойно посоветовал арестант.

Ефимушка снова замолчал и, переминаясь с ноги на ногу над своим арестантом, смотрел на него большими глазами. И тот на него смотрел, смотрел и улыбался. Ефимушка тяжело ображался, — как же теперь нужно поступать?

И с чего этот бродяга, такой угрюмый и злой, вдруг разбавался? А что, если навалиться на него, скрутить ему руки, дать раза два по шее да и все? И самым строго начальническим тоном, какой только был в его распоряжении, Ефимушка сказал:

— Ну, ты, огарок, вот что,— покочевряжился, и будет! Вставай! А то я тебя свяжу, так тогда пойдешь небойсь! Понял? Ну? Смотри — бить буду!

— Меня-то? — усмехнулся арестант.

— А ты что думаешь?

— Витю-то Тучкова ты, Ефим, бить будешь?

— Ах ты,— пострелит те горой,— изумленно воскликнул Ефимушка,— да что ты в самом деле? Что ты мне представленья-то представляешь? Накося!

— Ну, будет кричать, Ефимушка, пора тебе узнать меня,— спокойно улыбаясь, сказал арестант и встал на ноги,— здравствуй, что ли!

Ефимушка попятился назад от протянутой к нему руки и во все глаза смотрел в лицо своего арестанта. Потом губы у него затряслись и все лицо сморщилось...

— Виктор Александрович... и впрямь, что ли, вы это? — шепотом спросил он.

— Хочешь — документы покажу? А то,— всего лучше,— старину напомним... Ну-ка — помнишь, как ты в Раменском бору в волчью яму попал? А как я за гнездом полез на дерево и повис на сучке вниз головой? А как мы у старухи молочницы Петровны сливки крали? И сказки она нам говорила?

Ефимушка грузно сел на землю и растерянно засмеялся.

— Поверил? — спросил его арестант и тоже сел рядом с ним, заглядывая ему в лицо и положив на плечо его свою руку. Ефимушка молчал. Вокруг них стало совсем темно. В лесу родился смутный шум и шепот. Далеко, где-то в чаще, застонала ночная птица.

— Что же, Ефим,— не рад встрече? Или рад? Эх ты... святая душа! Как был ты ребенком, так и остался... Ефим? Да говори, что ли, чудовище милое!

Ефимушка начал усиленно сморкаться в полу азяма...

— Ну, брат! Ай, ай, ай! — укоризненно закачал головой арестант.— Что это ты? Стыдись! Чай, тебе на шестой десяток годы идут, а ты таким пустяковым делом занимаешься? Брось! — И он, обняв сотского за плечи, легонько потряс его. Сотский засмеялся дрожащим смехом и наконец заговорил, не глядя на своего соседа:

— Да разве я что?.. Рад я... Так это вы и есть? Как мне в это поверить? Такое дело! Витя... и в таком образе! В холодную... Пачпорту нет... Хлебом питаетесь... Табаку нет... Господи! Это разве порядок? Ежели бы это я был... а вы бы хоть сотский... и то легче! А теперь что же вышло? Как мне смотреть в глаза вам? Я всегда про вас с радостью помнил... Витя,— думаешь, бывало... Так даже сердце защекочет. А теперь — на-ко! Господи... ведь это — ежели людям рассказать — не поверят.

Он бормотал, упорно глядя на свои ноги, и все хватался рукой то за грудь, то за горло.

— А ты людям про все это и не говори, не надо. И перестань... Насчет меня не беспокойся... Бумаги у меня есть, я не показал их старосте, чтобы не узнали меня тут... В холодную меня брат Иван не посадит, а, напротив, поможет мне на ноги встать... Останусь я у него, и будем мы с тобой снова на охоту ходить... Видишь, как хорошо все устраивается?

Витя говорил это ласково, тем тоном, которым взрослые утешают огорченных детей. Навстречу туче из-за леса всходила луна, и края тучи, посребренные ее лучами, приняли мягкие опаловые оттенки. В хлебах кричали перепела, где-то трещал коростель... Мгла ночи становилась все гуще.

— Это действительно... — тихо начал Ефимушка, — Иван Александрович родному брату порадеет, и вы, значит, снова приспособитесь к жизни. Это все так... И на охоту пойдем... Только все не то... Я думал, вы каких делов в жизни наделаете! А оно — вон что...

Витя Тучков засмеялся.

— Я, брат Ефимушка, наделал делов достаточно... Имение, свою часть, прожил, на службе не ужился, был актером, потом сам держал актеров... потом прогорел дотла, всем задолжал, впутался в одну историю... эх! Всего было... И — все прошло!

Арестант махнул рукой и добродушно засмеялся.

— Я, брат Ефимушка, теперь уж не барин... вылечился от этого. Теперь мы с тобой так заживем! да ну! очнись!

— Я ведь ничего... — заговорил Ефимушка подавленным голосом, — стыдно мне только. Говорил я вам тут разное такое... несурзные слова и вообще... Мужик, известное дело... Так, говорите, заночуем тут? Я ин костер разложу...

— Ну-ка, действуй!..

Арестант вытянулся на земле кверху грудью, а сотский исчез в опушке леса, откуда тотчас же раздался треск сучьев и шорох. Скоро Ефимушка появился с охапкой хвороста, а через минуту по маленькому холмику из мелких сучьев уже весело ползала змейка огня.

Старые товарищи задумчиво смотрели на нее, сидя друг против друга и поочередно куря трубку.

— Совсем как тогда, — грустно говорил Ефимушка.

— Только времена не те, — сказал Тучков.

— Н-да, жизнь-то стала круче характером... Эвона как вас... обломала...

— Ну, это еще неизвестно — она меня или я ее... — усмехнулся Тучков.

Замолчали...

Сзади их возвышалась темная стена тихо шептавшего о чем-то леса, весело трещал костер, вокруг него бесшумно плясали тени, и над полем лежала непроглядная тьма.



## ЧИТАТЕЛЬ

...Была ночь, когда я вышел на улицу из дома, где, в кругу близких мне людей, читал свой напечатанный рассказ. Меня много хвалили за него, и, приятно взволнованный, я медленно шагал по пустынной улице, впервые в моей жизни испытывая так полно наслаждение жить.

Это было в феврале; ночь была ясная, и безоблачное небо, густо затканное звездами, дышало бодрим холодом на землю, покрытую пышным убором только что выпавшего снега. Ветви деревьев, перевешиваясь через заборы, бросали на мою дорогу причудливые узоры теней, ярко и радостно блестели снежинки в голубом, ласковом сиянии луны. Нигде не было видно ни одного живого существа, и скрип снега под моими ногами был единственным звуком, нарушавшим торжественную тишину этой ясной, памятной мне ночи... Я думал:

«Хорошо быть чем-нибудь на земле, среди людей!»

И воображение, не скупясь на яркие краски, рисовало мне мое будущее...

— Да, вы написали славную вещь!.. Это — так! — задумчиво сказал кто-то за моей спиной.

Я вздрогнул от неожиданности и оглянулся.

Маленький, одетый в темное человек поравнялся и пошел в ногу со мной, снизу вверх глядя в мое лицо и улыбаясь острой улыбкой. В нем все было остро: взгляд, скулы, подбородок с эспаньолкой; вся его маленькая, сухая фигурка колола глаза своей странной угловатостью. Он шел легко и как-то беззвучно, точно скользил по снегу. Я не видал его там, где читал, и, понятно, был удивлен его возгласом. Откуда, кто он?

— Вы... тоже слушали? — спросил я.

— Да, имел удовольствие.

Говорил он тенором. Губы у него были тонкие, черные маленькие усы не скрывали их улыбку. Она не исчезала, производя



неприятное впечатление, я чувствовал, что за ней скрыта какая-то едкая, нелестная для меня мысль. Но я был слишком хорошо настроен для того, чтоб долго останавливаться в наблюдении за этой чертой моего спутника, и мелькнув в глазах моих, как тень, она быстро исчезла пред ясностью моего довольства собой. Я шел рядом с ним, ожидая, что он скажет, втайне надеясь, что он увеличит количество приятных минут, пережитых мною в этот вечер. Человек жаден, потому что судьба слишком редко улыбается ему ласково.

— А хорошо чувствовать себя чем-то исключительным? — спросил мой спутник.

Я не услышал в его вопросе ничего особенного и поспешил согласиться с ним.

— Хе, хе, хе! — колко засмеялся он, нервно потирая свои маленькие руки с тонкими, цепкими пальцами.

— А вы веселый человек!.. — сухо сказал я, задетый его смехом.

— Да, я веселый человек, — улыбаясь, подтвердил он и качнул головой. — И еще я очень любопытен... Я всегда хочу знать; все знать — это мое постоянное стремление, оно-то и поддерживает во мне бодрость. Вот и сейчас я хочу знать — что стоит вам ваш успех?

Я посмотрел на него и нехотя ответил ему:

— Около месяца работы... может быть, немного более...

— Ага! — живо подхватил он. — Немножко труда, затем частица житейского опыта, который всегда чего-нибудь стоит... Но это недорого все-таки, когда такой ценой вы приобретаете сознание, что вот в данный момент несколько тысяч людей живут вашей мыслью, читая ваше произведение. И потом приобретаются надежды на то, что, может быть, со временем... хе, хе!.. и когда вы умрете... хе, хе, хе!.. За все это можно больше дать, больше того, сколько дали вы нам, — не правда ли?

Он опять засмеялся своим дробным, колющим смехом, лукаво оглядывая меня острыми, черными глазками. Я тоже посмотрел на него сверху вниз и, обиженный, холодно спросил его:

— Извините... с кем я имею удовольствие беседовать?

— Кто я? Вы не догадываетесь? А я, пока, не скажу вам, кто я. Разве для вас знать имя человека более важно, чем знать то, что он скажет вам?

— Конечно, нет... Но все это — странно! — ответил я.

Он для чего-то тронул меня за рукав пальто и, тихонько посмеиваясь, заговорил:

— Но и пускай будет странно, — почему бы человеку не позволить себе иногда выйти из рамок простого и обыденного?.. И если вы не прочь сделать это — давайте поговорим откровенно? Вообразите, что я — читатель... некий странный читатель, который очень любопытен и желал бы знать, для чего и как делается книга... вами, например? Давайте же поговорим.

— О, пожалуйста! — сказал я. — Мне приятно... такие встречи и разговоры... не каждый день возможны. — Но я уже лгал ему, ибо для меня все это становилось неприятным. Я думал: «Чего он хочет? И с какой стати я позволю себе придавать этой уличной встрече, с незнакомым мне человеком, характер какого-то диспута?»

Однако я все-таки медленно шел рядом с ним, стараясь выразить на лице моем любезное внимание к моему спутнику. Это, я помню, с трудом удавалось мне. Но все-таки у меня пока было еще много бодрого настроения, я не хотел обидеть этого человека отказом говорить с ним и решил следить за собой.

Луна сияла в небе сзади нас, и наши тени лежали у нас под ногами. Слившись в одно темное пятно, они ползли впереди нас по снегу, а я смотрел на них и ощущал в себе зарождение чего-то такого, что, как эти тени, было темно, неуловимо и, как они, тоже впереди меня.

Мой спутник помолчал с минуту времени и потом заговорил уверенным тоном господина своих дум:

— Ничего нет в жизни более важного и любопытного, чем мотивы человеческих действий... Не правда ли?

Я кивнул головой.

— Вы согласны!.. Так давайте поговорим откровенно — не упускайте случая говорить откровенно, пока вы еще молоды!..

«Странный человек!» — подумал я и, заинтересованный его словами, спросил его, усмехаясь:

— Но о чем говорить?

Он, взглянув мне в лицо, с фамильярностью старого знакомого воскликнул:

— Будем говорить о целях литературы!

— Пожалуй... хотя, мне кажется, уже поздно...

— О! для вас еще не поздно!..

Я остановился, удивленный этими словами, — он произнес их с такой серьезной уверенностью, и они звучали — как инсказание. Я остановился, желая что-то спросить у него, но он, взяв меня за руку, тихо и настойчиво повел вперед, говоря мне:

— Не останавливайтесь, ибо со мной вы на хорошем пути... Довольно предисловий! Скажите, — чего хочет литература?.. вы ей служите, вы должны это знать.

Мое изумление росло в ущерб моему самообладанию. Что нужно от меня этому человеку? Кто он?

— Послушайте, — сказал я, — согласитесь, что все происходящее между нами...

— Имеет свое достаточное основание, — верьте мне! Ведь ничто в мире не совершается без достаточного к тому основания... Идемте же скорее, но не вперед, а вглубь...

Бесспорно; этот чудака был интересен, но он сердил меня. Я снова сделал нетерпеливое движение вперед; он следовал за мной и спокойно говорил мне:

— Я понимаю вас: вам трудно в этот момент дать определение цели, которую преследует литература. Попробую я сделать это...

Он вздохнул и потом с улыбкой посмотрел мне в лицо.

— Вы согласитесь со мной, если я скажу, что цель литературы — помогать человеку понимать себя самого, поднять его веру в себя и развить в нем стремление к истине, бороться с пошлостью в людях, уметь найти хорошее в них, возбуждать в их душах стыд, гнев, мужество, делать все для того, чтоб люди стали благородно сильными и могли одухотворить свою жизнь святым духом красоты. Вот моя формула; она, разумеется, неполна, схематична... дополняйте ее всем, что может одухотворить жизнь, и скажите — вы согласны со мной?

— Да, это так!.. — сказал я. — Приблизительно — это так. Принято думать, что, в общем, задача литературы — облагодить человека...

— Вот какому великому делу вы служите! — внушительно сказал этот человек... и снова он засмеялся своим едким смехом: — Хе, хе, хе!

— Однако к чему вы говорите все это? — спросил я, делая вид, будто его смех не задевает меня.

— А как вы думаете?

— Откровенно говоря... — начал я, придумывая колкость, и замолчал. Что значит говорить откровенно? Этот человек неглуп, он должен знать, как тесны границы человеческой откровенности и как стойко охраняет их самолюбие. Взглянув в лицо моего спутника, я почувствовал себя глубоко уязвленным его улыбкой, — в ней было столько иронии и презрения! Я чувствовал, что начинаю бояться чего-то, боязнь эта понуждает меня уйти от него.

— До свидания! — сухо сказал я, приподнимая шляпу.

— Почему? — тихо воскликнул он.

— Я не люблю шуток, когда в них нет чувства меры.

— И — уходите?.. Дело ваше... но, знаете, если вы теперь уйдете от меня, мы уже никогда не встретимся.

Слово «никогда» он подчеркнул, и оно прозвучало в ушах моих, как удар похоронного колокола. Я ненавижу это слово и боюсь его: оно всегда представляется мне тяжелым и холодным, чем-то вроде молота, предназначенного судьбой для того, чтобы раздроблять надежды людей. Это слово остановило меня.

— Что вам нужно? — с тоской и злобой спросил я.

— Сядем здесь, — снова усмехаясь, произнес он и, крепко взяв меня за руку, потянул ее вниз.

В этот момент мы с ним были в аллее городского сада, среди неподвижных, обледенелых ветвей акации и сирени. Освещенные луной, они висели в воздухе над головой моей, и мне казалось, эти покрытые льдом и инеем жесткие ветви проникают мне в грудь, касаются сердца.

Недоумевающий, озадаченный выходкой моего спутника, я смотрел на него и молчал.

«Это больной», — подумал я, желая ободрить себя и объяснить себе его действия. Но он как-то угадал мою мысль.

— Ты думаешь, что я ненормален? Оставь это. Это такая дрянная и вредная мысль! Прикрываясь ею, как часто мы отказываемся от понимания человека только потому, что он оригинальнее нас, и как стойко эта мысль поддерживает и осложняет печальную небрежность наших отношений друг к другу!

— О да!.. — сказал я, все сильнее ощущая в себе смущение перед этим человеком. — Но, извините, я пойду... Мне пора уже...

— Ступай, — сказал он, пожав плечами. — Иди... но знай, что ты спешишь потерять себя... — Он выпустил мою руку из своей, и я пошел прочь от него.

Он остался в саду на горе, спускавшейся к Волге, на горе, покрытой белой пеленой снега, перерезанной темными лентами тропинок. Пред ним открывался широкий вид на безмолвную, унылую равнину за рекой. Этот человек остался в саду, сел на одну из скамеек и стал смотреть в пустынную даль, а я шел вдоль по аллее и чувствовал, что не уйду от него, но все-таки шел. Шел я и думал: «Следует мне идти тихо или быстро для того, чтоб показать ему, — человеку, что сидел там, сзади меня, — как мало он для меня значит?»

Вот он тихо насвистывает что-то знакомое... Я знаю, что это смешная и грустная песня о слепом, который взял на себя роль вожака слепых. «Зачем он именно ее насвистывает?» — подумал я.

И тут я понял, что с той минуты, как я встретился с этим маленьким человечком, я вступил в темный круг ощущений исключительных и странных. Недавнее, ровное и довольное настроение моего духа облеклось в туман ожидания чего-то важного и тяжелого.

«Как же ты будешь вожаком,  
Если с дорогой незнаком?» —

вспоминал я слова песни, которую насвистывал тот человек.

Я обернулся и посмотрел на него. Облокотясь одной рукой о колено и положив голову на ладонь, он смотрел на меня, свистал, и его черные усы шевелились на лице, освещенном луной. Я решил вернуться назад, движимый каким-то роковым чувством. Быстро подошел я к нему, сел рядом и сказал ему, не волнуясь, но горячо:

— Послушайте, будем говорить просто...

— Это необходимо для людей, — кивнул он головой.

— Вы, я чувствую, обладаете силой какого-то воздействия на меня и, очевидно, имеете что-то сказать мне... да?

— Наконец ты нашел в себе мужество слушать! — воскликнул он со смехом, но теперь этот смех был мягче и даже что-то близкое к радости послышалось мне в нем.

— Так говорите! — сказал я, — и если можете, говорите без странностей...

— О, хорошо! Но согласись, что ведь странности были необходимы для того, чтоб привлечь ко мне твое внимание? Теперь притупляется внимание к простому и ясному, как чересчур холодному и жесткому, а согреть и смягчить что-нибудь мы не умеем: мы сами холодны и жестки. Мы, кажется, снова хотим грез, красивых вымыслов, мечты и странностей, ибо жизнь, созданная нами, бедна красками, тускла, скучна! Действительность, которую мы когда-то так горячо хотели перестроить, сломала и смяла нас... Что же делать? Попробуем, быть может, вымысел и воображение помогут человеку подняться ненадолго над землей и снова высмотреть на ней свое место, потерянное им. Потерянное, не правда ли? Ведь человек теперь не царь земли, а раб жизни, утратил он гордость своим первородством, преклоняясь пред фактами, не так ли? Из фактов, созданных им, он делает вывод и говорит себе: вот непреложный закон! И, подчиняясь этому закону, он не замечает, что ставит себе преграду на пути к свободному творчеству жизни, в борьбе за свое право ломать для того, чтобы создавать. Да он и не борется больше, а только приспосаблиется... Чего ради ему бороться? Где у него те идеалы, ради которых он пошел бы на подвиг? Вот почему живет так бедно и скучно, вот почему обессилел в человеке дух творчества... Некоторые слепо ищут чего-то, что, окрыляя ум, восстановило бы веру людей в самих себя. Часто идут не в ту сторону, где хранится все вечное, объединяющее людей, где живет бог... Те, которые ошибаются в путях к истине, — погибли! Пускай, не нужно им мешать, не стоит их жалеть — людей много! Важно стремление, важно желание души найти бога, и, если в жизни будет души, охваченные стремлением к богу, он будет с ними и оживит их, ибо он есть бесконечное стремление к совершенству... Так ли?

— Да, — сказал я, — это так...

— Ты, однако, умеешь соглашаться, — заметил мой собеседник, колко усмехаясь. Потом он помолчал, глядя вдаль. Мне показалось, что он долго молчит, и я нетерпеливо вздохнул. Тогда он, не обращая на меня своего взгляда, блуждавшего вдали, спросил:

— Кто есть твой бог?

До этого вопроса он говорил мягко и ласково, и мне приятно было его слушать: как и все думающие люди, он был немного печален, был близок мне, я понимал его, и мое смущение пред ним гасло. И вот вдруг он ставит роковой вопрос, на который так трудно ответить человеку нашего времени, если этот человек честно относится к себе. Кто есть мой бог? Если б я знал это!

Я был подавлен вопросом, да и кто бы, на моем месте, сохранил присутствие духа? А он смотрел на меня своими острыми глазами, улыбался и ожидал моего ответа.

— Ты молчишь слишком долго для человека, который мог бы дать ответ. Может быть, ты скажешь мне что-нибудь, если я спрошу тебя вот о чем: ты пишешь, и тысячи людей читают тебя; что же именно ты проповедуешь? И думал ли ты о твоём праве поучать?

Первый раз в жизни я смотрел так внимательно в глубь себя. Пусть не думают, что я возвышаю или унижаю себя для того, чтоб привлечь к себе внимание людей, — у нищих не просят милостыни. Я открыл в себе немало добрых чувств и желаний, немало того, что обыкновенно называют хорошим, но чувства, объединяющего все это, стройной и ясной мысли, охватывающей все явления жизни, я не нашел в себе. В душе моей много ненависти; она постоянно тлеет там, иногда вспыхивает ярким огнем гнева; но — еще больше сомнений в душе моей. Порой они так потрясают мой ум, так давят сердце, что долгое время я существую внутренне опустошенный... Ничто не возбуждает меня к жизни, сердце мое холодно, как мертвое, ум спит, а воображение даёт кошмары. И так, слепой, немой и глухой, живу я долгие дни и ночи, ничего не желая, ничего не понимая; мне кажется тогда, что я уже труп и лишь по какому-то странному недоразумению еще не зарыт в землю. Ужас такого существования еще больше усиливается сознанием необходимости жить, ибо в смерти еще менее смысла, еще больше тьмы... Наверное, она отнимает даже и наслаждение ненавидеть...

Что же, в самом деле, я проповедую, я — такой, каков есть? И что я могу сказать людям? То, что уже давно говорили им и всегда говорят, что находит себе слушателей, но не делает людей лучшими? Но имею ли я право проповеди этих идей и понятий, если сам я, воспитанный на них, часто поступаю не так, как они повелевают? Если я иду противу них, значит ли это, что убеждение в их истинности есть искреннее мое убеждение, заложенное в основе моего «я»?.. Что же отвечу я человеку, который сидит рядом со мной? А он уже устал ждать моих ответов и снова заговорил:

— Я бы не поставил тебе этих вопросов, если б не видал, что твоё честолюбие еще не успело уничтожить твою честь. Ты имеешь мужество слушать меня... из этого я заключаю, что твоя любовь к себе разумна, ибо для того, чтоб усилить ее, ты не бежишь даже и от мук. За это я облегчу тяжесть твоего положения предо мной и буду говорить с тобой, как с виновным, а не как с преступником.

...Когда-то среди нас жили великие мастера слова, тонкие знатоки жизни и человеческой души, люди, одухотворенные неукротимым стремлением к совершенствованию бытия, одухотворенные глубокой верой в человека. Они создавали книги, которых никогда не коснется забвение, ибо в книгах тех запечатлены вечные истины, нетленной красотой веет с их страниц.

Образы, начертанные в тех книгах, живы, они одушевлены силой вдохновения. В тех книгах есть и мужество, и гнев пылающий, в них звучит любовь искренняя и свободная, и ни одного лишнего слова нет в них. Оттуда, я знаю, ты черпал пищу душе своей... Но, должно быть, плохо питалась душа твоя, ибо у тебя речь о правде и любви звучит фальшиво и лицемерно, точно ты насилуешь себя, когда говоришь об этом. Ты, как луна, чужим светом светишь, свет твой печально-тускл, он много плодит теней, но слабо освещает и не греет он никого. Ты нищ для того, чтобы дать людям что-нибудь действительно ценное, а то, что ты даешь, ты даешь не ради высокого наслаждения обогащать жизнь красотой мысли и слова, а гораздо больше для того, чтоб возвести случайный факт твоего существования на степень феномена, необходимого для людей. Ты даешь для того, чтобы больше взять от жизни и людей. Ты нищ для подарков, ты просто ростовщик: даешь крупницу твоего опыта под проценты внимания к тебе. Твое перо слабо ковыряет действительность, тихонько ворошит мелочи жизни, и, описывая будничные чувства будничных людей, ты открываешь их уму, быть может, и много низких истин, но можешь ли ты создать для них хотя бы маленький, возвышающий душу обман?.. Нет! Ты уверен, что это полезно — рыться в мусоре буден и не уметь находить в них ничего, кроме печальных, крошечных истин, устанавливающих только то, что человек зол, глуп, бесчестен, что он вполне и всегда зависит от массы внешних условий, что он бессилен и жалок, один и сам по себе? Знаешь, его, пожалуй, уже успели убедить в этом! Ибо душа его охлаждена и ум — туп... Еще бы! Он смотрит на свое изображение в книгах, а книги, — особенно если они написаны с той ловкостью, которую так часто принимают за талант, — всегда несколько гипнотизируют человека. Он смотрит на себя в твоем изображении и, видя, как он дурен, не видит возможности быть лучше. Разве ты умеешь показать ему эту возможность? Разве ты можешь сделать это, когда ты сам... но я пощажу тебя за то, что, слушая меня, ты, я чувствую, думаешь не над тем, как бы возразить мне и оправдать себя. Так! Ибо учитель, если он честен, всегда должен быть внимательным учеником. Все вы, учителя жизни наших дней, гораздо больше отнимаете у людей, чем даете им, ибо вы всё только о недостатках говорите, только их видите. Но в человеке должно быть и достоинства; ведь у вас они есть? А вы, чем вы отличаетесь от дюжинных, серых людей, которых изображаете так жестоко и придиричиво, считая себя проповедниками, обличителями пороков ради торжества добродетели? Но замечаете ли вы, что добродетели и пороки — вашими усилиями определить их — только спутаны, как два клубка ниток, черных и белых, которые от близости стали серыми, восприняв друг от друга часть первоначальной окраски? И едва ли бог послал вас на землю... Он выбрал бы более сильных, чем вы. Он зажег бы сердца их огнем



страстной любви к жизни, к истине, к людям, и они пылали бы во мраке нашего бытия, как светильники его силы и славы... Вы же чадите, как факелы торжества сатаны, и чад ваш, проникая в умы и души, отравляет их ядом недоверия к себе. Скажи: чему вы учите?

Я чувствовал на щеке своей горячее дыхание этого человека и не смотрел на него, боясь встретиться с его взглядом. Его слова падали в мой мозг, как огненные капли, и от этого мне было больно... Я с ужасом понимал, как трудно отвечать на простые вопросы... И не ответил ему.

— Итак, я, усердный читатель всего, что ты пишешь и что пишут подобные тебе, спрашиваю: чего ради вы пишете? А вы — много пишете... Хотите ли вы пробудить добрые чувства в сердцах людей? Но холодными и бессильными словами вы не сделаете этого, нет! И вы не только не можете дать жизни что-либо новое, вы и старое даете в скомканном, измятом, лишенном образа виде. Читая вас, ничему не поучаешься, ни за что, кроме вас, не стыдишься. Всё будни, будни, будничные люди, будничные мысли, события... Когда же будут говорить о духе смятенном и о необходимости возрождения духа? Где же призыв к творчеству жизни, где уроки мужества, где бодрые слова, окрыляющие душу?

— ...Ты можешь сказать мне: жизнь не дает иных образов, кроме тех, которые воспроизводим мы. Не говори так, ибо для человека, имеющего счастье владеть словом, стыдно и позорно сознаваться в своем бессилии пред жизнью и в том, что не может он встать выше ее. А если ты стоишь на одном уровне с жизнью, если ты не можешь силой воображения твоего создать образы, которых нет в жизни, но которые необходимы для поучения ее, — какая польза в твоей работе и чем оправдаешь ты звание свое? Загромождая память и внимание людей мусором фотографических снимков с их жизни, бедной событиями, подумай, не вредишь ли ты людям? Ибо — сознайся! — ты не умеешь изображать так, чтоб твоя картина жизни вызвала в человеке мстительный стыд и жгучее желание создать иные формы бытия... Можешь ли ты ускорить биение пульса жизни, можешь ли ты вдохнуть в нее энергию, как это делали другие?

Мой странный собеседник остановился на минуту, а я молча думал о его словах.

— Я вижу вокруг себя много умных людей, но мало среди них людей благородных, да и те, которые есть, разбиты и больны душой. И почему-то всегда так наблюдаю я: чем лучше человек, чем чище и честнее душа его, тем меньше в нем энергии, тем болезненнее он, и тяжело ему жить. Одиночество и тоска — удел таких людей. Но как ни много в них тоски о лучшем, — у них нет сил для создания его. Не потому ли они так разбиты и жалки, что им не дано, своевременно, помощи ободряющим душу словом?..



— ...И еще,— продолжал мой странный собеседник,— можешь ли ты возбудить в человеке жизнерадостный смех, очищающий душу? Посмотри, ведь люди совершенно разучились хорошо смеяться! Они смеются зло, смеются подло, часто смеются сквозь слезы, но никогда не услышишь среди них радостного, искреннего смеха, того смеха, который должен бы сотрясать груди взрослых, ибо хороший смех оздоравливает душу... Для человека необходимо смеяться, ведь смех — одно из немногих преимуществ его над животными. Можешь ли ты возбудить в людях какой-либо иной смех, кроме смеха порицания, кроме пошлого смеха над тобой, человеком, который лишь потому смешон, что жалок? Пойми,— твое право проповедовать должно иметь достаточное основание в твоей способности возбуждать в людях искренние чувства, которыми, как молотками, одни формы жизни должны быть разбиты и разрушены для того, чтоб создать другие, более свободные, на место тесных. Гнев, ненависть, мужество, стыд, отвращение и, наконец, злое отчаяние — вот рычаги, которыми можно разрушить все на земле. Ты можешь создать такие рычаги? Ты можешь привести их в движение? Для того, чтобы иметь право говорить к народу, нужно иметь в душе или великую ненависть к его недостаткам, или великую любовь к нему за его страдания; если же нет в душе твоей этих чувств, будь скромн и много подумай прежде, чем что-либо сказать...

Уже светало, но на душе моей все более сгущалась тьма. А человек, для которого не было тайн в душе моей, все говорил. Иногда во мне вспыхивала мысль:

«Человек ли он?»

Но, поглощенный его словами, я не мог думать над этой загадкой, и вновь в мой мозг, как иглы, вонзались его слова.

— Жизнь все-таки растет и вширь, и вглубь, хотя растет она медленно, ибо у вас нет силы и умения ускорить ее движения. Растет жизнь, и с каждым днем люди учатся спрашивать. Кто будет отвечать им? Должны бы вы, апостолы-самозванцы. Но понимаете ли вы жизнь настолько, чтоб объяснять ее другим? Понимаете ли вы запросы своего времени, предчувствуете ли вы будущее, и что вы можете сказать для возбуждения человека, растленного мерзостью жизни, павшего духом? Он упал духом, его интерес к жизни низок, желание жить с достоинством в нем иссякает, он хочет жить просто, как свинья, и — вы слышите? — уже он нахально смеется, когда произносят слово — идеал: человек становится только грудой костей, покрытых мясом и толстой шкурой,— эту скверную грудку двигает не дух, а похоти. Он требует внимания — скорее! помогайте ему жить, пока он еще человек! Но что вы можете сделать для возбуждения в нем жажды жизни, когда вы только ноете, стонете, охаете или равнодушно рисуете, как он разлагается? Над жизнью носится запах гниения; трусость, холопство пропитывают сердца, лень вяжет

умы и руки мягкими путами... Что вы вносите в этот хаос мерзости? Как вы все мелки, как жалки, как вас много! О, если б явился суровый и любящий человек с пламенным сердцем и могучим всеобъемлющим умом! В духоте позорного молчания раздались бы вещие слова, как удары колокола, и, может быть, дрогнули бы презренные души живых мертвецов...

После этих слов он долго молчал. Я не смотрел на него. Не помню, чего было больше во мне — стыда или ужаса?

— Что ты можешь сказать мне? — раздался безучастный вопрос.

— Ничего! — ответил я.

И опять было молчание.

— А как же ты теперь будешь жить?

— Не знаю!.. — ответил я.

— Что же ты будешь говорить?

Я промолчал.

— Нет мудрости превыше молчания!..

Мучительно была пауза между этими его словами и смехом, который раздался вслед за ними. Он смеялся с наслаждением, как человек, которому давно уже не представлялось случая посмеяться так легко и приятно. У меня сердце кровью плакало от этого проклятого смеха.

— Хе, хе! И это ты — учитель жизни? Ты, которого так легко смутить? Теперь, я думаю, ты понял, кто я? да? Хе, хе, хе... И каждый из вас, юношей, родившихся стариками, так же бы смутился, если бы захотел иметь дело со мною. Лишь тот, кто облек себя в броню лжи, нахальства и бесстыдства, не дрогнет перед судом своей совести. Так вот как ты силен: толчок — и ты падаешь! Скажи мне, ну скажи мне что-нибудь в свое оправдание, опровергни то, что я сказал! Освободи сердце твое от стыда и боли. Будь хоть на минуту сильным, уверенным в себе, и я возьму назад то, что бросил в лицо твое. Я поклонюсь тебе... Покажи мне в душе твоей что-нибудь такое, что помогло бы мне признать в тебе учителя! Мне нужен учитель, потому что я человек; я заплутался во мраке жизни и ищу выхода к свету, к истине, красоте, к новой жизни, — укажи мне пути! Я человек, — ненавидь меня, бей, но извлекай из тины моего равнодушия к жизни! Я хочу быть лучшим, чем есть; как это сделать? Учи!

Я думал: могу ли я, могу ли удовлетворить тем требованиям, которые человек, по праву своему, предъявляет ко мне? Жизнь гаснет, умы людей все плотнее охватывает тьма сомнений, и нужно найти исход. Где путь? Одно я знаю — не к счастью нужно стремиться, зачем счастье? Не в счастье смысл жизни, и довольством собой не будет удовлетворен человек: он все-таки выше этого. Смысл жизни в красоте и силе стремления к целям, и нужно, чтобы каждый момент бытия имел свою высокую цель. Это было бы возможно, — но не в старых рамках жизни, в которых всем так тесно и где нет свободы духу человека...

А он снова смеялся, но уже тихо, смехом человека, сердце которого изъедено думами.

— Как много было людей на земле, но как мало воздвигнуто на ней памятников людям! Почему бы это? Но предадим проклятию прошлое, — слишком много оно возбуждает зависти к себе. Ибо в настоящем вовсе нет таких людей, которые по смерти оставили бы за собой какой-нибудь след на земле. Дремлет человек... И — никто не будит его. Дремлет он и — превращается в животное. Бич ему нужен и огненная ласка любви, вслед за ударом бича. Не бойся сделать ему больно: если ты, любя, бьешь, он поймет твой удар и примет его как заслуженный. Когда же ему будет больно и стыдно за себя, ты пламенно обласкай его — и он возродится... Люди? Это все еще дети, хотя порой они поражают злодейством своих дел и извращенностью мысли. И они всегда нуждаются в любви к ним, в постоянной заботе о свежей и здоровой пище для их душ... А ты умеешь любить людей?

— Любить людей? — переспросил я с сомнением, ибо, право, не знаю, люблю ли я людей. Нужно быть искренним — я не знаю этого. Кто скажет про себя: вот — я люблю людей! Человек, внимательно следящий за собой, долго подумает над этим вопросом, прежде чем решится сказать: люблю. Все знают, как далек от каждого из нас наш ближний.

— Ты молчишь? Все равно — я понимаю тебя и безмолвного... И я ухожу...

— Уже? — тихо спросил я. Потому что, как ни страшен он был для меня, сам я для себя — еще страшнее...

— Да, я ухожу... Не раз еще я приду к тебе. Жди!

И он ушел.

Как ушел? Я не заметил этого. Он быстро и бесшумно ушел, как исчезают тени... Я же еще долго оставался на скамье в саду, не чувствуя холода извне и не замечая, что уже солнце взошло и ярко блестят лучи его на обледенелых ветвях деревьев. Странно было мне видеть ясный день и солнце, сияющее равнодушно, как всегда, и эту старую, измученную землю, одетую покровом снега, ослепительно сверкавшего в лучах солнца...

## КОЛОКОЛ

### *Набросок*

Церковь Трех святителей стояла на горе, а по склону горы раскинулся маленький уездный городок; он сползал к ее подошве, омываемой речкой, и с церковной колокольни был виден весь до последней лачужки.

Маленький, утопавший в зелени город, при взгляде на него сверху, производил странное впечатление: казалось, что некогда он стоял на вершине горы и чьей-то силой был сброшен вниз с нее.

Смятенная толпа однообразных домиков ринулась под гору и остановилась в хаотическом беспорядке, удержанная и разбегиненная деревьями и кустами, покрывавшими гору веселой, живой массой.

И вот на пышном ярко-зеленом фоне тут и там сквозят темные пятна крыши и стен. В центре их стройно вздымается кверху колокольня другой городской церкви; металлический крест ее, отражая лучи солнца, сияет над плененным городом, как маяк, указывающий его жителям пункт, к которому они должны стремиться.

Эта колокольня и еще пожарная каланча — две высшие точки в море зелени, а над ними высоко на горе, в густой чаще лип, стоит Трехсвятская церковь — белая, яркая, с золотыми главами. Она построена уже давно каким-то богачом-помещиком, выбравшим местом для нее старый парк на краю горы. С трех сторон ее окружают могучие старые липы, осеняя своими пахучими ветвями ее стены; с четвертой, к городу, липы срублены. Церковная паперть гостеприимно смотрит на город, и кажется, что лес расступился пред ней для того, чтобы не препятствовать людям издали видеть тяжелую дверь в дом божий.

Лет пять тому назад ее ремонтировал заново первый городской богач — купец Антип Никитич Прахов. Он расширил ее, вызолотил иконостасы и главы, возвысил колокольню и пожертвовал колокол — очень большой, в шестьсот с лишком пудов. Такого колокола еще не было в городе.

Когда его поднимали на колокольню, это стоило больших хлопот жертвователю и немалого труда горожанам — колокол шел очень тяжело — «нехотя», как говорили в городе.

Народ выбивался из сил, поднимая его, он то задевал за карнизы здания, то веревки путались и рвались... В толпе людей, уставших трудиться в жаркий летний день, то и дело слышались возгласы:

— Еще бы он легко пошел! Надо помнить, кем и на какие деньги он слит...

И, говоря так, горожане искоса поглядывали на суетившегося среди них Прахова. А он, возбужденный и энергичный, властно и ласково покрикивал на них:

— Ну-ну, ребятушки, дружно-о! Дружнее бери, православные! Для господа бога трудитесь.

Охая и ухая, с напряженными, потными лицами, горожане тянули веревки и вполголоса говорили друг другу:

— Для бога, как же! Рассказывай! Знаешь ты, живодер, бога. Для похвальбы, скажи...

— Бери-и! — возбужденно кричал Прахов, сам хватаясь за веревку.

Это был человек лет пятидесяти, высокий, плотный, с черными волосами, уже густо посребренными сединой, с большими умными глазами, смотревшими на все из-под густых бровей сухо и иронически недоверчиво. Его крупный, горбатый нос придавал широкому лицу в густой черной бороде выражение хищности и силы; высокий морщинистый лоб, властный громкий голос, уверенные жесты — все это сразу же заставляло чувствовать в Прахове натуру, непреклонно гордую, цельную и незнакомую с мучительными колебаниями духа, с угрызениями совести.

Его, как человека очень богатого и честного, никто не любил в городе, но он был силен своим богатством и характером, и все боялись его, что еще более усиливало нелюбовь к нему.

И хотя, поднимая колокол, о Прахове говорили много неслестного, но громко раздавались только такие речи:

— Дай, господи, здоровья Антипу Никитичу, — радеет он у нас о храме божием!

Но Прахов был слишком умен для того, чтобы верить в искренность таких речей; он оставался равнодушен к похвалам и не сердился на порицание. Только когда колокол был уже поднят и укреплен, Прахов услышал нечто, сильно встревожившее его тогда.

Кто-то из горожан, присевших отдохнуть на церковной паперти, не замечая, что Антип Никитич стоит неподалеку, задумчиво и как-то особенно серьезно сказал:

— А должен бы этот самый колокол треснуть...

Прахов нахмурил брови, потом усмехнулся себе в бороду и молча ушел домой.

В день успения пресвятой богородицы колокол ударил пер-

вый раз к ранней обедне. Антип Никитич, замирая от тревожного желания услышать его звук, сам трепетными руками раскачал язык, и когда густой, певучий удар, сотрясая воздух, поплыл над городом за реку, в луга,— у Прахова замерло сердце и подогнулись колени от гордости и восторга. Могучий, удовлетворенный, он стоял на колокольне, широко расставив ноги, и, раскачивая язык по локоть засученными мускулистыми руками, бил тяжелым железом звонкую медь,— бил, пьянея от удовольствия, яростно ударяя языком, весь в поту, дрожащий, сверкая глазами.

И могучие звуки благовеста плыли в свежем воздухе летнего утра, плыли, далеко разнося свой призыв.

А когда благовест был кончен, Прахов сел на перила в проеме колокольни и, чувствуя, что внутри его все еще звучат плавные медные удары, стал, тяжело дыша, смотреть вниз на город, только что обрызнутый первыми лучами солнца.

Он видел, как по улицам шли люди и смотрели вверх на гору и на колокольню, где сидел он. Их голосов ему, конечно, не было слышно, но иногда они указывали вверх руками, и ему было приятно видеть это.

А еще приятнее для него было то, что все эти люди, там, внизу, были такие маленькие, жалкенькие, подленькие. Он довольно улыбался, сознавая, что каждому из них было бы так же, как и ему, приятно звонить в свой колокол, находясь высоко над землей, в свежем утреннем воздухе — выше всех. Только он один во всем городе имеет право на это наслаждение. Теперь весь город будет говорить о колоколе и о Прахове.

Вспомнят, конечно, все грехи купца.

Пускай! У него есть свой колокол, который гудит громче всех людских речей,— гудит, призывая людей к службе божией в храм его... А их речи — что ему их речи?

«Не судите, да не судимы будете». «Кто из вас безгрешен — пусть первый возмет камень»... Они все там, внизу, считают себя безгрешными, все швыряют в него грязью разных сплетен... Что толкает их на это, как не зависть к его достатку, к его умению с пользой трудиться?

И с той поры, как он поднял колокол, он стал еще более горд, жесток и насмешливо недоверчив в отношениях к людям.

«Погодите! — думал он про себя, сухо улыбаясь. — Вот скоро выборы, посмотрим, кто будет городским головой!»

Он знал, что выберут его. Иначе невозможно, потому что большая часть людей, имеющих влияние в городе, стоит на его стороне. Тот ему должен, этот от него кормится, третий желает заручиться его дружбой,— все они уступят ему первое место в городе, потому что для них выгоднее уступить, чем самим занять это место. Найдутся упрямые люди, которые положат ему в урну и черных, но их мало.

Он будет головой, будет. Весь город попадет ему в руки, и захочет Антип Никитич Прахов,— будет жать из города все

его соки досуха; он будет делать это умненько, и никто не помещает ему. А может быть, он захочет быть добрым и славным человеком, — тогда он все свое состояние вложит в дело благоустройства города. Настроит богаделен, еще церковь выстроит, замостит и выровняет улицы. Всё в его воле, потому что он богат. Деньги — это сила, сильнее которой только один господь бог на небе. Но бог милостив к нему; жизнь его вся сплошной труд и вся полна удач.

Часто Антип Никитич задумывался, вспоминая, сколько людей на его глазах плакало, жаловалось и ругало его. Многие, по его милости, испытали и испытывают нужду и горе, разоряясь под давлением его капитала. И когда он вспоминал это, — сердце ему неприятно щипало какое-то едкое чувство. Но вскоре он бодро встряхивал своей большой головой и вполголоса говорил:

— Бог того хочет, видно. Али я виноват в том, что удачливый родился? Живешь на земле, так не моргай. Я тут ни при чем. Бог того хочет...

И он снова принимался за свои операции, все расширяя их круг. Он скупал, перекупал, продавал; его руки, как сеть железная, покрыли весь уезд. Он знал его, как свой карман.

Так вот он и жил, все шире развертывая свои желания, все более желая сосредоточить в своих руках силы — денег.

...Пять лет все двенадцатые праздники и все воскресные обеды Антип Никитич сам звонил в свой колокол и наслаждался его звуками.

Наступала пасха. В этом году она была поздняя: уже все деревья распустились, а липы, окружавшие нагорную церковь, готовы были зацвести и струили тонкий аромат. Земля дышала сочной влагой, и город весь утопал в молодой, светлой зелени. Речка еще не вошла в берега, но уже в лугах образовались зеленые острова. На страстной Антип Никитич говел. Строго относясь к этому обряду, причастившись святых тайн, он только выпил чаю с просфорой и — как всегда это делал — решил до утра не есть ничего. Весь день он провозился дома, готовясь встретить праздник, как подобает христианину и видному лицу в городе. К вечеру лег отдохнуть, приказав жене разбудить его в десять часов, чтобы отправиться в церковь и хорошенько посмотреть, все ли там в порядке. Прахов любил блеснуть перед прихожанами красотой и богатством своей церкви: он с утра велел убрать ее с внутренней и наружной стороны зеленью, накупил массу разноцветных шкаликов и фонарей и подрядил плотников сделать побольше «фигур» — звезд, крестов, сияний...

В одиннадцатом часу он был уже в церкви и, обойдя ее кругом, нашел, что все сделано прекрасно. Это настроило его на благодушный, общительный лад.

— Все в порядке, Лука? — спросил он у церковного прислужника, угрюмого старика солдата, возившегося около паникадила, стоя на высокой лестнице.



Лука, редко говоривший что-либо утвердительно и обыкновенно долго думавший, прежде чем сказать свое слово, посмотрел с лестницы вниз, держа в руках зажженную восковую свечу, и хмуро ответил:

— Кажись, все бы.

— А ты воском-то на меня не капай!

— Али я капаю?.. — равнодушно молвил Лука.

— А для чего же я говорил бы? Видишь — на рукав попало...

— Ишь ты... Только мне отсюда не видать.

— Слезь да погляди... — улыбнулся Антип Никитич, считавший Луку человеком придурковатым.

— А... пожалуй, слезу.

— Ну-ну, чучело! Делай дело-то. Доделывай, — проворчал Прахов, отходя от лестницы.

В церкви было сумрачно и жутко. Кое-где горели лампы; от их дрожащих огоньков по стенам, по полу и образам бегали тени. Пахло свежей зеленью, ладаном и горелым льном светилен.

Выпуклости иконостаса блестели в сумраке, как чьи-то большие тусклые глаза, и темные лики икон в металле риз смотрели сумрачно и важно. Каждый шаг будил гулксе эхо, и все в храме было таинственно, казалось сосредоточенным на одной думе, охватывавшей собою каждую деталь. И чуткая тишина точно ждала чего-то. Пророк Исаия смотрел с левого клироса огненными глазами; лицо его было строго вдохновенно, и что-то карающее скрывалось в глубоких морщинах его выпуклого лба. А на правом клиросе Иеремия сидел на камне, изможденный, задумчивый и скорбный; он смотрел на церковного старосту печальными глазами, наклонившись вперед, и точно хотел сказать что-то трогательное и простое.

Прахов вздохнул и перекрестился. Потом он вспомнил, как ездил заказывать иконы и как торговался с мастером за пророков на боковые двери в алтарь. Мастер все просил триста. И Антипу Никитичу еле-еле удалось выторговать на пророках сорок рублей. Евангелисты поменьше и гораздо худшей работы и то стоили почти чetyреста рублей.

Полумрак и мертвенная тишь храма тяготили Антипа Никитича; он посмотрел на часы: было двадцать минут двенадцатого. Но ему хотелось уйти на воздух.

— Лука! Коли кто спросит меня, скажи, что он, мол, на колокольню полез! — кинул он старику и пошел из церкви.

— Я скажу, — внятно прозвучал вслед ему ровный голос Луки и расплылся по церкви в гулкий, продолжительный звук, от которого Прахову стало жутко...

— Экий несуразный этот солдат. Сменить его надо... — недовольно сказал он, поднимаясь на колокольню.

...Ночь была темна и торжественно тиха.

Луна зашла, и в темном мягком небе задумчиво сияли лучи звезд. Вдали над лучами медленно, чуть заметно поднималась



вверх, гася звезды на пути своем, пышная, черная туча, и край ее точно дымился густым опаловым дымом. Ветви деревьев над городом тоже казались темным облаком; кое-где в нем сквозили полосы огней, вырывавшиеся из окон домов. По белому фону стен церкви там, в городе, двигались какие-то черные пятна.

«Это мальчишки готовят иллюминацию...» — подумал Антип Никитич и, вынув часы, наклонился к фонарю, стоявшему на балюстраде в прорезе колокольни. Было уже без десяти минут двенадцать.

Это обеспокоило Прахова, и он, тревожно нахмутив брови, бросил взгляд на городскую церковь. Ему было бы обидно, если б там ударили к заутрене прежде его: он уже пять раз кряду первый возвещал сбор к пасхальной заутрене могучим ударом в свой колокол. Он сбросил с себя поддевку и, засучивая рукава рубахи, гулко крикнул вниз:

— Ребятишки! Зажигай иллюминацию!

Потом он, поплевав на руки, встал под колокол, и одной рукой потихоньку раскачивая язык, другой взял часы и стал наблюдать за движением минутной стрелки, искоса поглядывая на городскую колокольню, по стенам которой уже вспыхивали фонарики, образуя из себя огненные изображения звезд и крестов. К нему вбежали трое мальчишек с зажженными фонарями и тоже начали, оживленно перетапываясь, зажигать стаканчики на деревянных крестах, вставленных в окна колокольни.

Было без трех минут двенадцать. Антип Никитич решил ударить, быстро сунул часы в карман жилета, перекрестился и толкнул язык вправо, поймал его обеими руками и с замиранием сердца толкнул сильнее, еще сильнее...

...Густой, торжественный медный звук поплыл с колокольни на город, и, оглушенный, опьяненный его силой, Прахов, улыбаясь и зажмурив от удовольствия глаза, раскрыл рот и стоял, глубоко дыша, точно желая вместе с воздухом еще впитать в себя гул меди, содрогавшейся над его головой от нанесенного им удара. И там, внизу, ударили в колокол.

— Эхма! — с сожалением вздохнул Антип Никитич, слушая, как печально и слабо вибрирует звук трехсотпудового городского колокола. И он ударил еще раз, ударил и снова ждал ответа.

Два колокола точно разговаривали между собой монотонными, но полными разной силы и значения гулками голосами.

Колокол Прахова звучал густо и важно; каждый удар его с силой сотрясал воздух, и звон властно тек вниз широкой, могучей волной. В ответ ему раздавался более тонкий и более вибрирующий звук, он плыл в воздухе не так долго, как первый... и что-то стонущее, подавленное было в нем.

Антип Никитич, улыбаясь, пьяный от сотрясавшего его нервы гула меди, все с большей силой бросал язык о края колокола, все чаще и чаще ударял его. Он желал бы совершенно

заглушить колокол городской церкви, хотя и теперь удары снизу долетали до его ушей слабыми, как воздух. Прахову стало жарко. Широко расставив ноги и утвердив на них свой сильный корпус, еще не потерявший гибкость молодости, он во всю силу свою бросал железо в медь и вместе со звуком ее вполголоса восклицал:

— Э-эх!

В глазах у него все качалось, и огни на колокольне внизу прыгали вместе с ней то вправо, то влево. Ему казалось, что пол под ним тоже ходит из стороны в сторону и сама колокольня, вместе с языком колокола, раскачивается в воздухе.

Звон гудел торжественно и важно; все сотрясало, и Антип Никитич чувствовал себя блаженно летающим в воздухе...

Но вот еще удар,— и колокол его как-то странно брякнул. Прахов приписал это слабости удара и со всей своей силой бросил язык в стенку колокола. Тогда родился странный, болезненный, дребезжащий звук. Он был так краток, жалок, раздался и умер, сразу же и погас, но уже не тек ровной волной туда, вниз, где по-прежнему зывал и рыдал к небу маленький, бедно вибрирующий колокол.

На Антипа Никитича откуда-то пахнуло холодом, и он замер, выпустив из рук язык. Ему не верилось... Медь над его головой как-то странно хрипела... Он протянул к ней руки и тихо стал водить пальцем по ней. Она была теплая, но он уже чувствовал, как она охлаждается под его рукой. Колокол внизу звучал как бы громче с каждой минутой.

Прахов вздрогнул с ног до головы. Он нашел. Теперь у него не было сомнения — колокол треснул: тонкая щель разорвала его край, и Антип Никитич, крепко сжав его обеими руками, прислонился к нему лбом и замер...

У него болела поясница, в голове шумно гудело эхо звона, и колени его дрожали. Он смотрел на город... В нем бродили какие-то странные, маленькие огоньки; они появлялись отовсюду и всё плыли во тьме по одному направлению — в гору. Это горожане шли к заутрене с фонарями в руках.

Все они, наверное, уже знают, что колокол треснул.

— Наказал ты меня, господи! Жестоко наказал... Сломил гордыню мою,— покорно и тихо сказал Прахов, робкими глазами глядя в темное небо, где туча уже погасила все звезды.

Завтра весь город будет говорить о колоколе, и никто не пожалеет Антипа Никитича Прахова, никто не знает, как больно и невыносимо ему стоять тут на колокольне и чувствовать себя сверженным на землю, разбитым. Он вспомнил слова, которые услышал пять лет тому назад на папёрти, когда колокол был еще только поднят:

— А должен бы этот самый колокол треснуть...

...Долго терпел господь жертву человека, но стала она противна ему, и он отринул ее от себя.

Огни, мелькая во тьме, все выше вползали в гору. Слышны были звуки людского говора; они рождались и исчезали так быстро, как тени в солнечный, но ветренный день.

— Господи! — молился Антип Никитич, все ощупывая дрожащими от волнения руками трещину колокола. — Господи! Жестоко возмездие твое! Зачем ты сегодня, в самый радостный день из всех дней твоих, наказал меня? Или уж я так грешен, как никто на земле? Все будут ликовать воскресению твоему, — меня же ты предал поруганию и смеху. Враги мои насмеются надо мной... ехидно насмеются. Все будут с восходом солнца радостны и веселы, я же, по милости твоей, — убит буду. Царю небесный, утешителю души!.. Остави мне долги мои!.. Разве я грешнее других?.. Вон Елизаров у брата своего родного жену отбил... с дочерью его даже... с племянницей родной... да разве мало грешников на земле? Неужели же только я один достоин быть покаранным в светлый день воскресения твоего?! О господи... разве я по своей воле? Жизнь такая... не я сотворил ее, господи, — все мы грешны пред тобою... Прости меня: сердцем каюсь тебе. Как иначе жить мне, коли есть многие, живущие хуже меня, и не наказываешь ты их?

Он стоял, прижавшись к металлу колокола, и бормотал полголоса иссохшим от волнения языком свои молитвы и жалобы, подавленный вихрем мыслей, воспоминаний, вспыхивавших и угасавших в нем наподобие искр. Он чувствовал себя несправедливо обиженным, не по вине наказанным. В нем билось какое-то сильное слово к богу, но он никак не мог сказать его. Предутренняя свежесть охватила его разгоряченное тело; он вздрогнул и надел поддевку, отойдя от колокола... Когда он уходил, то погладил его рукой, как бы жалея гулкую медь. Он сел на верхнюю ступеньку лестницы и, спустив ноги вниз, задумался, глядя вдаль и чувствуя внутри себя щемящий сердце тоскливый холод.

...Снизу кто-то шел... Вот на повороте лестницы показалась лысая голова Луки. Он чуть не наткнулся на Прахова, остановился, почесал поясницу и равнодушно заговорил:

— А я было... к обедне ударить иду... Как колокол-то? Лопнул, говорят?

— В полиелей ударь... — кратко бросил ему Антип Никитич.

— Это можно... Лопнул, видно, и в самом деле... Оказия-то! Под светло Христово воскресенье и — вдруг... Грехи, видно, наши... Не стерпела медь-то...

По мере того как он спускался все ниже по скрипучим ступеням лестницы, спокойный голос его становился все слабее и наконец замер. Прахов, когда Лука уходил, смотрел сверху вниз на его лысину и думал, — жалеет его Лука или нет? И так как лысина блестела металлически холодно, — Прахов заключил, что Луке все равно и что он ничуть не жалеет его.

— Господи помилуй! — вздохнул он.

В голове его неумолкаемо звучало эхо колокольного звона, и каждый удар имел странное свойство будить прошлое.

Возникали в памяти картины и события, давно уже забытые им. И едкое чувство тоски жгло его сердце, все усиливаясь и возрастая. Вспоминая прошлую жизнь, он видел в ней много такого, чего бы он мог и не делать и что не отягощало бы теперь его душу. Много было в его жизни излишней жестокости к людям и жадности к деньгам...

...А уже день наступал.

Там, на горизонте, откуда выплыла в небо туча, светилась бледно-розовая полоска света, и тусклые пятна воды на лугах стали светлее, точно пыль лежала на них и теперь поднялась.

Туча в небе над колокольной разорвалась на пышные темные куски, и они медленно расползались в пространстве, открывая голубые пятна неба со звездами, уже терявшими свой блеск в предчувствии рассвета...

— Христос воскрес! — чуть донесся до колокольной возглас священника.

Антип Никитич дрогнул и встал на ноги... Там, внизу, раздался странный гул, похожий на внезапный порыв ветра, налетевший на лес.

Прахов знал, что это прихожане отвечают священнику:

— Воистину воскрес!

Потом в воздухе полились звонкие голоса певчих, и среди них гудел бас, как проволока телеграфа во время зимней выюги. Все это долетало до слуха Антипа Никитича слабо и не трогало его сердца... Он стоял без шапки, держась за перила лестницы, и, глядя вдаль, думал:

«Господь простит меня... люди не забудут! Не с богом я живу, а на земле с людьми... И вот они завтра скажут про меня друг другу: «И медь, скажут, не вынесла грехов Прахова...» Какие они мне судьи? А будут судить... Я же буду слушать их, и будет это мне... господи, боже мой! Неужто ж я и есть самый тяжкий грешник в городе и, кроме меня, некого было тебе наказать в день воскресения твоего?»

Ему представилось, как завтра все горожане с сияющими лицами будут целоваться друг с другом, говоря:

— Христос воскрес!

И отвечая:

— Воистину!

И к нему придут и тоже будут целовать его, и, наверное, все они, целуя, подумают о нем:

«Что, брат? Пришиб тебя господь-то? В самую светлую заутреню угодил тебя... А ты-то возносился! Ну, вот и свержен ныне — радуйся!»

А иные, быть может, лицемерно пожалеют его... И все поцелуют будут Иудинами...

«Говорил я этому, анафеме, там на заводе — толще лей! «Звон, говорит, не тот будет — нельзя!» Ну, вот, завтра и будет звон!», — с тоской подумал Прахов, потирая себе грудь...

— О господи, господи! — вздохнул он и закрыл глаза. Он, в сущности, не упал духом, но ему было тошно и больно от волнения самолюбия его, пораженного этим случаем с кололом. И он хотел бы, чтоб день не наступал.

Но уже брызнули лучи солнца и, как огненный веер, распростерлись в синеве небес. Пятна яркой зелени и воды в лугах отразили в себе солнце, на зелень точно пыль золотая упала, и вода заиграла радугой. Огненный край солнца поднимался из-за тучки, и вся она, пышная, как дым, была расцвечена в пурпур и золото. Необъятное пространство заливала река в половодье, и теперь далеко, вплоть до горизонта, по лугам были разбросаны серебряные пятна, точно зеркала разнообразных форм были разбросаны по зелени лугов и отражали в себе голубое небо.

В городской церкви звонили «во все». Лука тоже ударил «во все». Город точно трепетал, весь облитый ярким светом; зелень, окружавшая его, тихо колебалась под дуновением утреннего ветра; казалось, город колеблется, хочет поплыть туда, в широкое, просторное заречье, сплошь залитое солнцем и испещренное пятнами изумрудной зелени и перламутровой воды.

...Народ выходил из церкви, раздавался смутный говор, и в нем то и дело вспыхивали отдельные восклицания:

— Христос воскрес!

Стиснув зубы, Антип Никитич смотрел вниз с колокольни. Из церкви лилась волна людей и, разбегаясь на отдельные струйки, уходила под гору. Звонкие голоса ребятишек звучали так же весело, как и колокола в умелых руках Луки. Полиелей гудел...

Прахов с тоской прислушался к веселому шуму, присмотрелся к яркому свету и тихо пошел вниз по лестнице, чувствуя страстное желание встретить человека, такого же обиженного, как он сам, или самому обидеть кого ни то... Больно обидеть, так, чтоб тот человек тоже не чувствовал праздника.

Лицо Антипа Никитича было сурово, брови нахмурены, губы сжаты, и нос опустился на усы. Он шагал через две ступеньки сразу и так смотрел своими хищными глазами из-под крутых бровей, — точно на бой выходил.

— Христос воскрес! — все звучнее несло навстречу ему...

— Господи! Жестоко! — вздохнув, сказал Прахов, на секунду остановился и тряхнул головой...

А потом так же, как и раньше, твердо и уверенно, с боевым видом, пошел далее.

## ТОСКА

### I

...Помолившись богу, Тихон Павлович медленно разделся и почесывая спину, подошел к кровати, наглухо закрытой пестрым ситцевым пологом.

— Господи, благослови! — прошептал он, затем широко зевнул, перекрестив рот, отдернул полог и стал смотреть на мощную, покрытую мягкими складками простыни фигуру жены.

Сосредоточенно и подробно рассмотрев эту неподвижную, задавленную сном кучу жирного тела, Тихон Павлович сурово нахмурил брови и вполголоса сказал:

— Машина!..

Потом отвернулся к столу, погасил лампу и снова заворчал:

— Сказал ведь я тебе, черту: идем спать на сенницу; нет, не пошла! Колода дубовая! Ну-ка, подвинься малость!

И, ткнув жену кулаком в бок, он улегся с ней рядом, не покрываясь простыней, а затем еще раз крепко толкнул жену локтем. Она замычала, завозилась, повернулась к нему спиной и снова захрапела. Тихон Павлович огорченно вздохнул и уставился глазами сквозь щели полога в потолок, где дрожали тени, рожденные луной и неугасимой лампадой, горевшей в углу перед образом Спаса нерукотворенного. В раскрытое окно лился из сада, вместе с тихим и теплым ночным ветром, шелест листьев, запах земли и сырой кожи, сегодня утром содранной с Гнедка и распяленной на стене амбара. Доносился мягкий звук падения капель воды с мельничного колеса; в роще, за плотиной, гукала выпь; мрачный, стонущий звук плавал в воздухе; когда он пропал — листья деревьев шумела сильнее, точно испуганная им, и откуда-то доносилась звонкая песнь комара.

Последив за теньями, что дрожали на потолке, Тихон Павлович перевел глаза в передний угол комнаты. Там, колеблемый ветром, тихо мигал огонек лампадки; от этого лицо Спасителя

то прояснялось, то темнело, и оно показалось Тихону Павловичу думающим большую, тяжелую думу. Он вздохнул и истово перекрестился.

Где-то прокричал петух.

— Неужели двенадцать уж? — спросил сам себя Тихон Павлович. Прокричал другой петух, третий... Еще и еще. Наконец где-то за стеной во всю мочь гаркнул Рыжий, из птичника ему ответил Черный, и весь птичник всполошился, громко возвещающая полночь.

— О, черти, — сердито завозился Тихон Павлович, — заснуть не могу... чтоб вам треснуть!

Когда он обругался, ему стало как-то легче: проклятая, непонятная грусть, одолевшая его с последней поездки в город, меньше давила его, когда он сердился, — а когда он сердился сильно, так и совсем пропадала... Но за эти дни дома все шло так ровно, гладко, что и поругаться-то хорошенько, чтоб полностью отвести душу, было нельзя — не с кем и не за что, — все подтянулись, заметив, что «сам» сильно не в духе. Тихон Павлович видел, что домашние боятся его и ждут грозы, и — чего раньше с ним никогда не было — чувствовал себя виноватым пред всеми. Ему было стыдно за то, что все такие хмурые и бегают от него, и еще больше овладевало им тяжелое, непонятное чувство, привезенное из города.

Даже Кузьма Косяк, новый засыпка, орловец, зубоскал и задира, молодой парень, могучий, с веселыми и синими глазами и ровным рядом мелких белых зубов, всегда оскаленных задорной улыбкой, — даже этот Кузьма, с которым всегда было за что всласть поругаться, стал почтителен и услужлив; песен, на которые был большой мастер, больше не пел, меткими прибаутками во все стороны не сыпал, и Тихон Павлович, замечая за ним все это, недовольно думал про себя: «Хорош, видно, я, черт, стал!» И, думая так, все более подчинялся чему-то, неотвязно сосавшему его сердце.

Тихон Павлович любил чувствовать себя довольным собой и своей жизнью, и когда чувствовал так, то намеренно и искусственно усиливал свое настроение постоянным напоминанием себе о своей зажиточности, об уважении к нему соседей и обо всем другом, что возвышало его в своих глазах. Домашние знали за ним эту слабость, которая могла и не быть честолюбием, а только желанием сытого и здорового существа как можно полней усладить себя ощущением своей сытости и здоровья. Это настроение, порождая у Тихона Павловича добродушную точку зрения на вещи, хотя не позволяло ему упускать своего, но создало среди знакомых репутацию сердечного человека. И вот вдруг стойкое, жизнерадостное чувство куда-то провалилось, улетело, погасло, а на место его явилось нечто новое, тяжелое и темное.

— Фу ты, господи! — прошептал Тихон Павлович, лежа рядом с женой и прислушиваясь к мягким вздохам ночи за окном.



От согретой пуховой перины ему стало жарко; он беспокойно повозился, предал супругу анафеме, спустил ноги на пол и сел на кровать, отирая потное лицо.

В Болотном, селе верстах в пяти от мельницы, раздались звуки сторожевого колокола. Унылые медные звуки, слетая с колокольни, тихо плавали в воздухе и бесследно таяли. В саду хрустнула ветка, а в роще снова загукала выпь, точно смеясь мрачным смехом.

Тихон Павлович встал, подошел к окну и сел в глубокое кожаное кресло, недавно купленное им за два рубля у разорившейся соседки, старушки помещицы. Когда холодная кожа прикоснулась к его телу, он вздрогнул и оглянулся.

Было жутко. Сквозь цветы на подоконнике и ветви клена перед окном проникли в комнату лучи луны и нарисовали на полу теневой, дрожащий узор. Одно из пятен, в центре узора, очень походило на голову хозяйки кресла. Как и тогда, при торге, эта голова, в темном, мохнатом чепце, укоризненно качается, и старческие губы шамкают ему, мельнику:

— Побойся бога, батюшка! Кресло покойник Федор Петрович перед самой смертью купил, восемнадцать рублей дал. А давно ли он умер-то? Совсем новая вещь, а ты полтора рубля даешь!..

И покойник Федор Петрович тут же, на полу: вот его большая, кудластая голова с густыми хохлацкими усами.

— Господи, помилуй! — вздохнул Тихон Павлович. Потом он встал с кресла, составил цветы с подоконника на пол, а сам уселся на их место.

За окном было тихо, грустно. Деревья сада стояли неподвижно, слитые ночью в сплошную, темную стену, за нею чудилось что-то страшное. А с колеса мельницы звонко и монотонно капала вода, точно отсчитывая время. Под самым окном сонно покачивались длинные стебли мальвы. Тихон Павлович перекрестился и закрыл глаза. Тогда в его воображении стала медленно формироваться городская история, выбившая его из колеи.

По пыльной, залитой знойными лучами солнца улице тихо движется похоронная процессия. Ризы священника и дьякона спят глаза своим блеском; в руках дьякона позвякивает кадило, маленькие клубы голубого дыма тают в воздухе.

— Свя-я... — тоненьким тенором выводит маленький, седенький священник.

— ...тый! — громовым басом гудит высокий дьякон в густой шапке черных волос.

— Бо-о-же, — сливаются оба голоса вместе и уносятся в безоблачную высь к ослепительно сверкающему солнцу, где так пустынно и спокойно.

— Бессме-е-ртный! — ревет дьякон, покрывая своим могучим голосом все звуки улицы — дребезг пролетов, шум шагов по мостовой и сдержанный говор большой толпы, провожаю-



щей покойника, — ревет и, широко раскрывая глаза, поворачивает свое бородатое лицо публике, точно хочет сказать ей: «Эх! Как я здорово вывел ноту-то?»

В гробу лежит господин в сюртуке, с худым и острым лицом. На этом лице застыла важная, спокойная мина. Гроб несут неровно, и голова покойника сосредоточенно покачивается с боку на бок. Тихон Павлович взглянул на лицо усопшего, вздохнул, перекрестился и, увлекаемый толпой, пошел за гробом, посматривая на дьякона, заинтересовавшего его массивностью голоса и фигуры. Дьякон шел и пел, а если не пел, то разговаривал с кем-нибудь из шедших рядом с ним. Очевидно, человек в гробу не возбуждал у дьякона печальных дум о том, что и дьякон подлежит этой натуральной повинности, что придет время, и его вот так же понесут по улице для того, чтобы зарыть в землю; а он, лежа в гробу, будет вот так же потряхивать головой и не возьмет уж в то время ни одной, даже самой легкой ноты.

Тихону Павловичу стало неприятно смотреть на веселого дьякона; он остановился и, пропустив мимо себя много публики, спросил у какого-то гимназиста:

— Кого это хоронят, милой?

Тот взмахнул на него глазами и ничего не сказал в ответ. Это обидело Тихона Павловича...

— Такой молоденький мальчишка, а не имеет никакого внимания к старшим! Драть бы вас! Ты что думаешь, я не узнаю, что мне надо? Фря какая!

Он пошел дальше и снова очутился около гроба. Гроб несли четверо, причем шли очень быстро и не в ногу. У одного из несших все сваливалось с носа пенсне, и он, вскидывая его снова на переносицу, непременно взмахивал при этом густой гривой рыжих волос.

«А покойник-то, видно, легонький, — подумал Тихон Павлович, — чиновник, надо думать, — они больше поджарые...»

Шли так быстро, точно человек, лежавший в гробу, еще при жизни успел всем страшно надоест и все старались как можно скорее отделаться от него. Тихон Павлович заметил это.

«Эк их гонят! Куда торопятся? Тоже люди божии! Чай, поди-ка, как жив был человек, так и то и се, а умер — вали скорее в яму: нам некогда!»

Мельнику стало грустно: будет время, и его вот так потащат. Может быть, скоро уж — ему сорок семь лет.

«А это что такое?» — спросил сам себя Тихон Павлович, увидев на крышке гроба венки, ленты с надписями золотыми буквами и цветы. «Н-да... Значит, персона все-таки важная. А вот провожатые — оборвыш-народ».

— Кого это хоронят? — спросил он поравнявшегося с ним благообразного господина в очках и с курчавой бородой.

— Писателя... — тихо ответил тот и, окинув фигуру Тихона Павловича взглядом, вразумительно добавил: — Сочинителя...

— Понимаем, — быстро откликнулся Тихон Павлович. — «Ниву» выписываем, доченька читала насчет их. Из важных будут покойные-то?

— Н-нет... Не из важных... — улыбнулся его собеседник.

— Так... Ничего... Все-таки заслуженный миру человек. Ина слава солнцу, ина слава луне... звезда бо от звезды разнствует во славе... Однако — венки...

У Тихона Павловича неизвестно почему щемило сердце, скверно так щемило — то будто ущипнет его, то как-то сдавит.

А голосистый дьякон все пел:

— Свя-тый бессмерт-ный!..

И дребезжащий тенор священника, чуть пробиваясь сквозь гущу дьяконова баса, робко и тихо просил:

— По-оми-луй на-ас...

Глухо топала ногами толпа провожатых, поднимая с дороги пыль; покойник все качал головой, и надо всем этим бесстрастно сияло знойное, июльское небо.

Тихона Павловича охватило какое-то угнетение — не хотелось ни думать, ни разговаривать. Охваченный общим смутным настроением толпы, шел, чувствуя надоедливое нытье где-то глубоко в груди и не находя ни сил, ни желанья отделаться от него.

Пришли на кладбище, остановились у ямы и поставили гроб на бугор вынутой из ямы земли. Сделали это как-то неловко, неумело. Покойник подвалился к боку гроба, потом снова принял прежнюю позу; казалось, он посмотрел вокруг и остался доволен тем, что его перестали трясти и скоро перестанут жарить на солнце. Дьякон все усердствовал, сотрясая воздух; священник не отставал от него; кто-то из толпы подпевал глухим голосом. Звуки носились по кладбищу и, путаясь между крестами да чахлыми деревьями, давили Тихона Павловича.

И вот оно — самое главное.

Благообразный господин, у которого Тихон Павлович спрашивал о покойнике, подошел к краю могилы и, проведя рукой по волосам, сказал:

— Господа!..

Он так это сказал, что мельник даже вздрогнул и устоялся на него. Глаза у господина странно сверкали. Он то опускал их в гроб, то оглядывал публику, и пауза между его восклицанием и началом речи была так длинна, что все, кто был на кладбище, успели притихнуть и замереть в ожидании. И вот раздался мягкий, грудной, такой вдумчивый и печальный голос. Говоривший плавно помахивал рукой в такт своим словам; его глаза горели под очками, и хотя Тихон Павлович плохо понимал то, что говорил этот господин, однако он узнал из его речи, что покойник был беден, хотя двадцать лет он неустанно трудился на пользу людей, что у него не было семьи, что при жизни никто им не интересовался и никто его не ценил и что он умер в

больнице, одинокий, каким был всю свою жизнь. Тихону Павловичу стало жаль покойника, ноющая боль в груди усилилась. Он пристально уставился на него, измерил глазами его худое, изможденное лицо, маленькую, тонкую и прямую фигурку и вдруг нашел, что этот покойник похож на гвоздь. Он улыбнулся своей мысли. И в то же время благообразный господин, повысив голос, произнес:

— Удары судьбы один за другим падали на его голову, и вот они наконец забили этого человека, посвятившего всего себя неблагодарной, черной подготовительной работе по устройству на земле хорошей жизни для людей! Для всех людей, без разбора...

Как раз в это время глаза оратора остановились на лице Тихона Павловича и, поймав его улыбку, сурово сверкнули. Мельник смутился и попятился назад, чувствуя себя виноватым и перед покойником, и перед тем человеком, который рассказывал о нем.

Солнце пекло беспощадно, синее небо смотрело спокойно на ниву мертвых, на толпу вокруг свежей могилы, а голос оратора все звучал, печальный и душевный.

Тихон Павлович вертел головой, разглядывал сумрачные лица слушателей и чувствовал, что не его одного,— всех охватывает тоска.

— Засыпали мы наши души хламом повседневных забот и привыкли жить без души, до того привыкли, что и не замечаем, какие все мы стали деревянные, бесчувственные, мертвые. И люди такие, как он, непонятны нам...— слушал Тихон Павлович.

«Верно! — сказал он тогда про себя. — Это так... Разве я не забыл про свою душу?! Господи!»

Он вздохнул и открыл глаза. Струя теплого воздуха влилась в окно из сада и обдала замечтавшегося человека запахом росистой травы, цветов и затхлой воды из пруда. Тени на полу дрожали сильнее, точно пробуя подняться и улететь. Мельник встал с подоконника, снова придвинул кресло к окну и подошел к кровати. Разметавшись по перине, жена сопела и всхрапывала, широко раскинув пухлые руки. Эти руки и обнаженная грудь показались Тихону Павловичу чем-то неуместным в эту ночь и как бы задиравшим его. Серdito набросив на тело жены простыню, он взял подушку и, снова подойдя к окну, сел в кресло, положил подушку на подоконник, облокотился на нее и стал думать.

Ему вдруг вспомнилась стая белых голубей, плававшая высоко в небе над кладбищем в памятный день похорон. Он, закрыв глаза, представил себе эти белые точки в голубом небе... и молча упрекнул себя:

«Что, брат, видно, приспичило? Вот и живи теперь... Майся!»

Внеобходимые, беспокойные, тормозящие правильное течение жизни думы шевелились в непривычной к ним голове мельника, одна за другой являлись, исчезали и снова являлись, но уже более тяжелые. Так в ясный летний день по небу пробежит легкий обрывок облака и скроется, растаяв в лучах солнца... но вот еще один... еще... еще... и хмурая грозовая туча, насупясь и глухо ворча, медленно ползет над землей. У мельника от его дум явилась какая-то особая, незнакомая ему раньше способность все подмечать и запоминать и ко всему прилагать вопрос: «А зачем это нужно?»

«Угнетаем мы душу!» — вспомнил мельник восклицание оратора и поежился.

«Верно — не живет душа-то. Дела всё — главная причина; о душе-то подумать некогда. А она вдруг и тово... и восстала, значит. Пустой час улучила, да и воспряла... Вот те и дела! И к чему очень уж много делов затевать, коли все равно умрешь? Для чего готовим себя, ежели гольем жизнь-то взять? Для смерти... С чем пойдем пред лицо господа? Вот душа-то и напоминает: встрепыхнись, дескать, человек, потому что час твой тебе неведом... Господи, помилуй!»

Тихон Павлович вздрогнул, перекрестился и посмотрел в угол на лик Спасителя. Тени от лампы всё дрожали на нем, он был строг и, казалось, все думал свою большую думу. У мельника в груди стало холодно. А вдруг он сейчас вот... или нет, завтра... Вдруг он завтра умрет! Это бывает с человеком — сразу, без всякой болезни упал, да и умер...

— Анна! — громко зовет Тихон Павлович. — Анна, проснись ты хоть на минутку, ради бога. Человек мучается, а она спит!

Но жена не слышит, подавленная сном. Не дождавшись ее ответа, Тихон Павлович встал, оделся и, сопровождаемый ее храпом, вышел из комнаты на крыльцо, постоял на нем с минуту и отправился в сад. Уже светало. Восток бледнел, алая полоса зари лежала на краю сизой тучи, неподвижно застывшей на горизонте. Клены и липы тихонько качали вершинами; роса падала не видимыми глазом каплями; где-то далеко трещал коростель, а за прудом в роще грустно посвистывал скворец. Свежо... И скворцу, должно быть, холодно...

«А и голова у этого барина! Большие у него думы... Вот бы с ним по душе поговорить. Он бы мне и объяснил, как и что... А разве я сам что могу? Совсем и не к тому у меня голова приспособлена».

Мельник печально поник не приспособленной к большим думам головой и все-таки продолжал думать:

«Съездить разве мне к учителю в Ямки? Он тоже тово... гвоздь! Поп Алексей говорит, что это он меня пропечатал в газете. Ишь желторылый аспид!»

Тихон Павлович вспомнил, как ему было стыдно, когда дочь прочитала в газете о его удалой операции с кирюшинскими

мужиками, и как она, закрыв лицо газетой, тихонько спростила:

— Папаша, разве это так было?

Он разозлился тогда.

— Разве грабитель отец-то твой? «Так было!» Дура, чему учишься в гимназии-то?

А было-то именно так, как написал учитель. Но — не сознаться же в этом перед дочерью! Чего она понимает? Теперь он квит с кирюшинскими: когда у него плотину чуть не размыло и они ее крепили — половину своего воротили назад: по три целковых за день на рыло содрали с него. Война! Сплошал — и кончено, — крышка тебе. Да... Учитель-то при этом присутствовал.

«Что, говорит, купец, и вас прижали? — И смеется. Лицо у него сухое, желтое, строгое. — Плохи же вы все-таки, купец... Жадны, а плоховаты».

Мельник сердится и чувствует — правда! И жаден — правда, и плох — тоже правда.

«Скоро ли, о господи, рассветет?» — с тоской подумал он. Скоро уж: алая полоса на краю тучи стала и ярче и шире.

Вот где-то разговаривают люди. Мельник подошел к плетню и лег на скамью возле него, чувствуя, что ему неможется от бессонницы. А голоса людей всё приближались...

— Не проси, Мотря, не теряй попусту слов — не останусь!

Тихон Павлович вздрогнул и привстал на скамье, опершись на локоть. Говорили близко, за плетнем, в кустах бузины. Это Кузьма Косяк, засыпка, с кем-то.

— Не проси, говорю! Не в моей это силе, чтобы здесь остаться; уйду я за Кубань.

— А я-то как же, Кузя? Ты подумай, как я без тебя-то буду? Ведь люблю я тебя, соколика, лю-блю, вольный ты мой! — отвечало Кузьке низкое женское контральто.

— Э, Мотря! Многие меня уж любили, со всеми я распрошася, и ничего себе — повыходили замуж да позакисли в работе! Встретишь иной раз, посмотришь — своим глазам веры нет. Да разве это они — те самые, которых я целовал да миловал? Ну-ну! Одна другой ведьмистей. Нет уж, Мотря, не мне на роду писано жениться, да, дурашка, не мне. Волю мою ни на какую жену, ни на какие хаты не сменяю. Родился я, слышь, под заббором и помру под ним. Судьба такая. По седые волосы вдоль да поперек шляться буду... А на одном месте скучно мне...

— А меня-то? Кузя, меня-то? Я-то куда денусь без тебя? Подумай-ка! Али ты меня не любишь уж? Али ты меня не жалеешь?

— Тебя-то, тебя-то... А тебя я здесь оставляю... за вдового Чекмарева замуж выйдешь... Дети у него есть... да ничего, сам он мужик хороший.

— Не лю-юбишь ты меня!..— тихоенько сказала женщина.

— Видно, вот люблю, коли разговариваю. Не любил бы, так не возился бы. С девками потому и время теряют, что любят их, а ежели их не любить — куда они тогда? И жалко мне тебя... да ведь как кого ни жалко, а себя всегда жалчей. Было бы, поди-ка, гораздо хуже, если мы с тобой, поругавшись, расстались. Верно ведь? А теперь вот по душам — любовно, ласково все выходит. Я, значит, в свою пойду сторону, ты — в свою, кому куда судьба. Эхма, чего тут толковать! Целуй, что ли, еще разок, горленка!

Звуки поцелуев коснулись слуха Тихона Павловича и растаяли в шелесте листвы. Скворец распелся громче и веселей, петухи за мельницей встречали рассвет.

— Ох, милый ты мой, Кузя... хороший ты мой! Возьми ты меня, горяшу! — снова громко зашептала девушка.

— Вот те и на! Она опять за свое... Я ее целую, милую, как путную, а она мне камнем на шею виснет. Ну девка! И всегда вот эта канитель с вами.

— Да,— али я не человек?..

— Ну, человек. А я? Я, значит, не человек? Скажет тоже... Сошлись мы с тобой полюбу... ну, и пришло время разойтись. Тоже надо полюбу. Тебе жить надо, и мне тоже; путать друг друга нам не след... А ты нюнишь! Дурашка! А ты вспомни: сладко целоваться со мной? Ну? Эх, ты... оладья...

Снова зазвучали поцелуи, прерываемые страстным, задышающимся шепотом и глубокими стонущими вздохами.

Вдруг вершины деревьев, и все кругом, и само небо точно дрогнуло и улыбнулось свежей, румяной улыбкой — это первый солнечный луч глянул на землю. И, как бы приветствуя его, раздался ласковый шум пробужденья сонного сада, дунул ветерок, свежий, бодрящий, полный разнообразных запахов.

Звучные теноровые речи Кузьки Косяка, тоскливо-страстное контральто девушки как бы смягчили ноющую боль в груди Тихона Павловича.

«Ах черт! — мысленно восклицал он по адресу засыпки.— Ах ты, ухобака!»

И, чувствуя зависть к этому вольному человеку, к его уверенности в своей правоте, он встал, вздохнул и хотел пойти домой.

— Пора, Мотря! Пора мне на работу! Смотри, приди уж!

— Не пришла бы, да не в мочь мне не прийти-то, сокол мой! — как-то простонала девушка.

— Э, не горюй! Время придет — слезы утрет. А до той поры мы еще повидаемся не раз. Так ли? Прощай!

За спиной Тихона Павловича затрещал плетень.

Как по степи ветер  
Носится, играет...

— Эт!.. Добрый день, хозяин!

Тихон Павлович снял с головы картуз и смущенно посмотрел на работника.

— Здорово!

Из-под расстегнутой красной рубахи видна была широкая, смуглая грудь работника, дышавшая глубоко и ровно, рыжие усы насмешливо пошевеливались, белые частые зубы сверкали из-под усов, синие большие глаза хитро прищурились, и весь Кузьма показался своему хозяину таким гордым и важным, что мельнику захотелось поскорее уйти от него, чтоб засыпка не заметил своего превосходства над хозяином.

— Все гуляешь?

— Пока охота да время — чего не гулять? Иное время придет — работать буду! Чью нынче засыплю? Домолоть попову рожь али что? Да насчет круподерной машины надо бы похлопотать!

— Да, это нужно... Вот я тово... — проговорил Тихон Павлович и вдруг как-то помимо воли dokonчил: — А я, брат, лежал тут на скамейке, да и слышал, как ты... с девкой-то обходился... Ловко ты с ними умеешь...

— Дело знакомое! — сказал Кузьма.

— Много, чай, ты их, девок-то, перепортил?

— А не считал... Какая порча? Чай, я не увечу их...

— Оно так, а все-таки... Например, неужто тебе, Кузьма, не жалко девку-то?..

— Жалко... всегда бывает жалко...

— А ежели, к примеру, ребенок? Бывало ведь, а?

— Чай, бывало, — кто их знает...

Кузьме, очевидно, начинал надоедать допрос. Он переступал с ноги на ногу и, досадливо сжав губы, крякнул.

А Тихону Павловичу понравилось то, что работник смущается его допросом, и он, уже строго нахмутив брови, продолжал:

— А грех — как? Ведь грех!

— Чего грех?

— А так-то действовать...

— Да ведь ребята-то одним, поди-ка, порядком родятся, что от мужа он, что от прохожего, — сказал Кузьма и скептически сплюнул в сторону.

— Это ты совсем напрасно. От мужа — он в законе, а ежели от тебя — куда его? Она, девка-то, возьмет да — от сраму — в пруд дитя-то и сунет. А на тебе — грех! — донимал мельник работника, чувствуя при этом какое-то удовольствие.

— Да ведь, хозяин, коли покрепче подумать, — серьезно и сухо заговорил Кузьма, — так выходит, что, как ни живи, все грешно! И так грешно, и вот этак грешно, — пояснил Кузьма, махнув рукой вправо и влево. — Сказал — грешно, промолчал — грешно, сделал — грешно, и не сделал — грешно. Разве тут разберешь? В монастырь, что ли, идти? Неохота.



Помолчали. От свежести утра Кузьма вздрогнул.

— Веселая у тебя жизнь, брат, легкая,— вздохнул Тихон Павлович.

— Не жалуюсь,— сказал Кузьма, передергивая плечами.

— Жизнь приятная... да!.. Ну, что же? Иди засыпай!

— Попову?

— Сыпь попову. Как ты это просто рассуждаешь... право! Все грешно... Н-да... Легкий ты, Кузьма... как пузырь.

Кузьма внимательно посмотрел на хозяина.

— Ей-богу. Вон Митька у меня пускает: надует его на соломинку, а он весь — радугой играет и летит, полетит — и лопнет.

Кузьма усмехнулся.

— Ишь приравняли к чему!

— Верно ведь. А уйдешь ты от меня?

— Уйду.

— Да,— куда тебе? Жил бы, жалованья-то прибавлю.

— Нет, не надо. Тошно здесь, все равно уйду.

— Жалко мне тебя отпускать-то: работник ты хороший,— задумчиво сказал Тихон Павлович.

— Нет, я уж уйду. И мне тоже вас будет жалко — привык. А уйду, потому тянет! Самому против себя не надо спорить. Коли кто против себя заспорит, пиши — пропал человек:

— Вот это верно, Кузьма. Ах, верно! — Тихон Павлович даже вспыхнул весь и потряс головой, крепко зажмурив глаза.— Вот я тоже... спорю...

— Тихон Павлыч! Иди чай пить,— вскричала откуда-то жена.

— Иду! Иди и ты, Кузьма, начинай с богом.

Кузьма искоса взглянул в лицо хозяина и пошел, посвистывая.

В просторной, чистой комнате у окна стоял стол с шумевшим на нем самоваром, коврижкой белого хлеба и кринкой молока. За столом сидела жена — здоровая, свежая, румяная, благодушная, и всюду в комнате было много ласкового и нежаркого утреннего солнца.

Тихон Павлович медленно, покусывая бороду, подошел к столу, держа руки назади и хмуро поглядывая в спину жены.

— С добрым утром, Павлыч! — сказала она, оборачивая к нему голову и приветливо улыбаясь.— Что это ты опять сегодня ночью-то не спал? Ты бы полечился чем. А то думно уж мне стало...

— То-то ты с дум-то и гудела всю ночь, как фабричная труба,— усмехнулся мельник.

— Уж ты скажешь... Слава господу, хоть улыбнулся, а то уж ты последние-то дни и не смеешься, совсем пропал смех-то у тебя... Сердитый все.



— Пропадет небось от такой жизни,— вполголоса сказал Тихон Павлович.

— Али что неладно в делах-то? — тревожно спросила жена.

— Не о хлебе едином, сказано в писании... Ну вот и оправдалось. Схватило за сердце и сосет... и будет сосать, пока простора не дашь душе... Завалили мы душу-то всяким хламом, она и стонет без воздуха-то.

— В церковь надо пожертвовать — вот и пройдет все,— посоветовала жена.

Мельник молчал, думая про батюшку Алексея. Очень жадный поп; много раз он подставлял ногу мельнику в его операциях с окрестными крестьянами...

— А то еще сироту взять...

— Вот это пожалуй. У Дябилкиных, к примеру.

— Налить еще чаю-то? Ты чего накрыл стакан?

— Не хочу.

Тихон Павлович смотрел в лицо жены, и она казалась ему такой жирной, приторной, глупой. Чего она все улыбается?

— А доктора все же бы надо позвать. Позвать?

— Поди ты и с доктором вместе,— зло сказал мельник и, выйдя в другую комнату, наткнулся на сына, спавшего на полу. Тихон Павлович остановился над ним и стал пристально смотреть на черную курчавую голову, утонувшую в складках подушки и сбитой в кучу простыни. На смуглых щеках и на лбу ребенка выступили мелкие капельки пота.

«Ишь ты... развалился,— подумал Тихон Павлович.— Спишь. А какая тебе в жизни дорога лежит?..»

— Тихон Павлы-ич! Вас Кузьма кличет!

Это кричит с круподерки косоротая Марфутка. Мельник у нее в прошлом году ненароком всю семью разорил и теперь вспомнил это. Фома, Марфуткин отец, уходя на заработки куда-то, говорил ему, стоя у крыльца:

— Нельзя, значит, отсрочку-то? Та-ак... Ну, ин ладно. Прощай, значит, Павлыч! Бог тебе судья. Полагать надо, отзовутся тебе наши сиротские слезы, взвоешь, значит, и ты, друг милой! Прощай!

И долго Фома стоял перед крыльцом, почесывая то бок, то спину, и, с напряженным лицом повторяя одно и то же слово по пяти раз, тянул за душу Тихона Павловича.

— Не полагается отсрочки? Та-ак...

Наконец мельник его прогнал...

«Да, разные дела бывают,— думал он теперь.— Иное действительно не по закону. А не сделать его нельзя. Урон репутации будет».

Но его не успокоило это рассуждение. Думы, скопляясь, давили грудь все тяжелее.

— Поеду в Ямки,— вдруг решил он.— Марфа, скажи Егору — пусть лошадь заложит.

У дверей в круподерку стоял Кузьма, весь седой от пыли, и, посвистывая, смотрел в небо, где в лучах солнца таяла маленькая пышная тучка. В круподерке что-то бухало и скрипело; из-за нее с мельницы летели серебряные всплески воды и густой шорох. Весь воздух был наполнен тяжелыми, охающими звуками и застлан тонкой дымкой пыли.

— Тихон Павлыч, ремень-то, того гляди, перетрется,— сказал Кузьма, сплевывая в сторону.

— Возьми там у жены новый... Идут дела? — спросил Тихон Павлович у работника и тотчас же заметил за собой, что никогда он раньше не говорил с работником так ласково, как сегодня.

— Вертятся,— ответил Кузьма, исподлобья наблюдая за хозяином.

— Ну, и хорошо... А ты — пузырь, значит?

— Ну, пузырь, коли хотите,— согласился Кузьма и повел плечами.

— Легкая у тебя жизнь!..

— А на что она, тяжелая-то?

— Верно! — Мельник вздохнул.— А ежели... умирать придется... Тогда как?

— Придется — ляжем и умрем,— все более подозрительно оглядывая хозяина, ответил Кузьма.

— Та-ак. А другие-прочие люди?

— А что другие? И они умрут, придет и их время...

— Да-а! — вздохнул Тихон Павлович.— Это так — все умрут... Грустно это для человека...

Кузьма пошевелил усами, запустил одну руку в свои рыжие волосы, другую сунул в карман шаровар и, переступив с ноги на ногу, вдруг широко улынулся.

— Вы бы, хозяин, поехали до города, да и кутнули там вовсю; вот оно вам и помогло бы!

Кузьма дотронулся рукою до плеча хозяина и захохотал. Его движение и смех поразили мельника. Он как бы потерял сознание своей личности и глупо улыбался работнику, в то же время чувствуя себя до боли обиженным им.

— Ах ты, Кузьма... Как ты это? В Ямки я поеду, это точно... к учителю...

— Валяйте-ка! Там Дуняша Дикова таким вас разговором угостит, что все мысли повыскочат, как блохи,— напутствовал Кузьма хозяина.

Минут через пять сытый гнедко Лукич солидной, развалистой рысцей бежал по извилистой мягкой дороге, с обеих сторон глухо заросшей кустами орешника и калины. Гибкие ветки задевали Тихона Павловича за голову, заглядывали ему в лицо, и, когда лист попадал в губы, мельник поворачивал головой, отплевывался и все думал о своей пошатнувшейся жизни.

«Плохо все, плохо,— думалось ему.— Тоже... жизнь! Живешь

себе, как все, и ничего бы... А вдруг нашла вот на тебя этакая раздумчивая полоса, и все перевернулось вверх тормашками».

В странном, прыгающем беспорядке осаждали думы голову мельника, и все они непривычны, чужды ему. Жалко прежних спокойных дней, когда все было так ясно и хорошо.

Бывало, после вечернего чая, сидя на крыльце, он заставлял Митьку читать страшные рассказы из «Вокруг света». Около него все семейство — жена, дочь, — а кругом так тихо, родственно. Душа спокойна, думать не о чем. Иногда попадаетесь интересная картинка: изображены на ней деревья с такими громадными узорчатыми листьями; река течет; ширь, даль, простор, не наши русские — пустынные и скучные, — а такие заманчивые. Семейство рассуждает: «Вот бы где мельницу-то поставить!» Поговорив об этом, снова все утонут в чем-то таком теплом и мягком, как пуховик, и уже говорить не хочется больше. Так бы все и сидел молча, не двигаясь.

Показались Ямки. Рассыпанные по пригорку овины, клетушки и избенки, казалось, были кем-то сразу брошены на землю, да так и прихилились испуганно и убито, не смея выстроиться в одну ровную линию. Грязно-серые, ничтожные, они казались еще жалче и бедней под покровом бесстрастного глубокого неба, раскинувшегося над ними задумчиво и важно.

«Ишь ты, тоже человеческое жилье! — думал Тихон Павлович, подъезжая к ним. — В каждой такой хорошине человеческая душа живет. К учителю еду... Для разговору... Чудно... Будет он меня попрекать, скажет: «Ох ты, человек, подумай о душе-то!» А я ему: «Вали, не стесняйся!.. Каюсь — грешен... В газеты ты написал правильно, — объегорил я их. Хоть и они меня объегорили, но они меня — один раз, а я их — три! Хочешь писать — пиши! Валий! Но прежде объясни, почему раньше ничего у меня, никакой дурости не было, а ныне вот я заматался? Предел это человеку или его собственное неразумие? Положено судьбой, или сам он выдумал?..»

Лукич фыркал от пыли, помахивал головой и, солидно вскидывая ноги, подвозил своего грешного хозяина к Ямкам.

Вот и школа, похожая больше на беляну, опрокинутую вверх дном, чем на храм науки. У одного из трех окон сидит учитель, строгая ножом какую-то палочку, и равнодушно смотрит на подъехавшего мельника.

— Доброго здравия, Александр Иванович! В гости к тебе прискакал; примешь, что ли?

— Милости прошу, — сказал учитель и ушел от окна.

Сухой тон учителя и его серьезное, худое, жесткое лицо смутили Тихона Павловича, и его сердце неприятно сжалось.

Он долго копался около тележки, завязывая вожжи за облучок, прежде чем войти в школу, а проходя мимо одного окна, увидел, что учитель ставит на полку какую-то толстую книжицу и улыбается, — едко так улыбается.

— Еще раз здравствуй! — с принужденной развязностью сказал мельник, протягивая руку учителю. — Ф-фу, как жарко!

Учитель молча сунул ему холодные, костлявые пальцы и, кивнув головой на лавку, кратко бросил:

— Садитесь...

— Сяду, — согласился мельник и сел на скамью у окна, где прежде сидел учитель, который теперь, заложив руки за спину и покашливая, расхаживал по комнате.

Молчание. Тихон Павлович сидел, потирал левой рукой колено, а пальцами правой расчесывал бороду, внимательно глядя в стену.

Учитель подошел к полке и стал рассматривать книги на ней, точно желая убедиться, — те ли это книги, которые стояли тут до приезда гостя? Обоим им было неловко, и оба они это чувствовали, отчего молчание становилось все тяжелее...

— Дело какое имеете до меня? — спросил учитель, подходя от полки к гостю и в упор глядя на него. Лоб у него сморщился, брови хмуро сжеглись. Ему хотелось кашлять, но он почему-то удерживался от этого, плотно сжав губы. На лице у него явились бурые пятна, худая, ввалившаяся грудь вздымалась высоко и нервно.

— Хм-мм... — промычал мельник, отводя глаза в сторону от учителя, и подумал про себя: «Ледащий какой... Недолго ты, брат, наскрипишь...» — Как бы тебе, Александр Иванович, сказать?

И, говоря, мельник думает: «Тоже — гвоздь... Вроде того... покойника... Над этим слов говорить некому будет... Так в одиночку и исхизнет. Закопают его мужички в землю — и вся недолга. Хоть и он тоже пишет... однако у него кишка слаба, видно. Пишет, — а в деревне живет... Как бы мне начать разговор?»

— Может, чай станете пить? — спросил учитель и наконец страшно закашлялся, схватившись за грудь руками. Лицо у него стало серое, весь он изгибался, и в груди что-то свистело, бухало, скрипело, точно там были спрятаны старые стенные часы и теперь они собирались бить.

— Можно и чаю попить, — решил Тихон Павлович. — А здорово ты кашляешь! Кажись, с чего бы это? Время летнее — тепло... а?

— Так уж... — говорит учитель, опускаясь на стул. Мельник почувствовал, что на него повело холодной скукой, от этих простых и ничего не говорящих слов.

— Ивановна! Поставьте самовар, — крикнул учитель в окно. — Ну-с, так вот... Вы, значит, хотите говорить со мной...

— Это самое... — согласился мельник, кивая головой.

— Хорошо... Я догадываюсь, о чем именно...

— Ой ли? — воскликнул Тихон Павлович и недоверчиво улынулся.

— Конечно, о том, что я написал про вас в газете, — сдвигая брови, говорит учитель, озабоченно отдувает щеки и еще суровее хмурит лоб.

— Так я и думал, что это ты писал! Непременно, мол, это он! Потому только двое могут это — ты да поп Алексей. Он тоже сердит на меня...

— Как это — тоже? Разве я на вас сердит? — удивился учитель.

— А то как же!

— Да за что?

— А кто тебя знает! Написал — да и все; а я понимаю, как хочу...

— Позвольте! Я писал не по личной неприязни к вам, а из чувства справедливости, — вздрагивая, проговорил учитель и, подняв тон, добавил, вспыхнув: — Вы не имеете никакого права говорить, что я написал потому, что был сердит...

— Толкуй! — скептически махнул рукой мельник. — А зачем же ты писал?

— Затем, что вы поступили с кирюшинскими крестьянами нечестно!

— О! вот как ахнул! Нечестно! А они, когда у меня плотину прорвало, честно делали? Небойсь ты про них не написал вот?!

— Но, позвольте! — все более разгорался учитель.

Лицо у него покрылось красными пятнами, он стал заикаться, очевидно, желая сказать много и не находя нужных слов. У него странно вздрагивали уши, сверкали глаза. И мельник, глядя на него, тоже закипал.

— Чего — позвольте! Про меня написал — и про них пиши. Коли я с ними поступил не по совести, так ты знаешь, что и они со мною поступили этак же; на твоих глазах было. Однако вот ты молчишь! А говоришь — из справедливости! Эх ты...

— Ну-с, дальше что же? — спросил учитель и, вдруг как-то весь изогнувшись, кашляя и торопясь, быстро глотая слова, зачастил:

— Вы не понимаете... я не мог... я... Вы подозреваете меня черт знает в чем! Какая у меня может быть к вам вражда? То есть — нет... она есть! Она всегда будет! — вдруг высоко выкрикнул он.

— Ну вот! Ага! А говоришь: по справедливости! Как же по справедливости, коли по злобе? Эх ты! И жить-то тебе недолго осталось, а ты людей мутишь! Меня дочь как этой твоей писулей смазала! Родная дочь — пойми!

— Позвольте! — уже кричал учитель. — Какое мне дело до вашей дочери? Я не говорю, что к вам лично чувствую вражду, а говорю — к группе, классу.

— Ты мне мудреных слов не говори, не надо! Я и так тебя понимаю хорошо.

— Нет, я... Вы оскорбляете меня вашими подозрениями!

Вы можете опровергнуть меня фактами, доказать, что я неверно понял событие, что я не прав... но говорить...

— Я все с тобой могу говорить,— стукнув себя в грудь ладонью и вставая со стула, с сознанием собственного достоинства заявил мельник: — Я — лицо в округе... Меня на сто верст кругом знают и уважают, а тебе вся цена восемнадцать рублей в месяц.

— Я не хочу...— Учитель топнул ногой и, весь дрожа, задохнулся от волнения и приступа кашля. И, пока он кашлял, состоном корчась от боли и недостатка воздуха в пораженных легких, Тихон Павлович, стоя перед ним в позе победителя, громко и отчетливо, с красным возбужденным лицом и сознанием своей правоты, отчеканивал ему:

— Эх ты, справедливый человек! Обличаешь другого, а сам себя тоже вот обличил! Какая тебе цена после этого? Я было к тебе, как к умному, с разговором приехал... поговорить по душе... А ты что? Понял ты меня? Написал! Ну что ж? И написал! А кто читал? Один поп читал... Я все такой же, как был, так и остался... Я к тебе приехал с душой, а не с враждой, а ты гнешь себе свое да кричишь на меня. Можешь ты на меня кричать? Восемнадцать рублей в месяц получает, живет без всякого закона один, как перст, а туда же — справедливость! Э-эх! Прощай, брат! Не обижаюсь я на тебя за твою дерзость, а жаль мне тебя... жаль... Прощай! Плохая твоя жизнь, и мы все умрем... не надо этого забывать... да!

Тихону Павловичу под конец его речи сделалось чуть не до слез грустно. Учитель, охваченный припадком кашля, сидел на стуле согнувшись и, низко наклонив вперед голову, весь дрожал. Одной рукой он держался за бок, а другой судорожно махал в воздухе, должно быть, желая остановить расхажившего купца.

Мельнику было жалко смотреть на него, и в то же время ему хотелось сказать что-то такое чувствительное, что защемило бы сердце учителя тем же чувством, которым полно его, мельниково, сердце. Но чувствительных слов не было, хотя голос дрожал и переливался нотами низкими и как бы плачущими. Мельник сознавал, что все, что произошло между ним и учителем, очень обидно для обоих, и ему захотелось прекратить скорее эту тяжелую сцену.

— Прощай! Не поминай лихом... предстанешь пред господом...— И, махнув рукой, он глубоко напялил на голову картуз и поспешно вышел вон.

— Нет, позвольте...— раздалось вслед ему хриплое, возбужденное восклицание учителя.

— Ладно! — буркнул себе под нос мельник, отвязывая вожжи.

— Воротитесь... Мы должны...— появился учитель у окна. Он высунулся до половины на улицу, держась одной рукой за косяк, а другой сильно жестикулируя.

— Никто ничего не должен... Все мы — люди... — бормотал Тихон Павлович, заноса ногу на подножку тележки.

— Воротитесь! — крикнул учитель.

Он очень странно крикнул. Тихон Павлович обернулся и посмотрел на него. Лицо у него было страшное, глаза мутные, лоб в поту, и горло спазматически сжималось.

Мельника кольнуло что-то.

— Э... другоряд приеду! Все равно!

Он больно хлестнул вожжами Лукича, сразу подхватившего тележку в бойкую рысь. Учитель что-то кричал вдогонку.

— Катай! — крикнул Тихон Павлович еще раз, ударив лошадь, и даже скрипнул зубами, желая заглушить горькое чувство, наполнявшее его.

Выехав за деревню, он несколько остыл. Лукич быстро сменял ногами по извилистой дороге среди золотой пустыни вызревшего хлеба. Впереди дороги, на горизонте, собиралась туча: темно-сизые, лохматые облака сползались в тяжелую, почти черную массу, и она двигалась навстречу мельнику, бросая от себя на землю густую тень. И на душу ему ложились тени. Он дернул вожжами и, не думая, своротил влево, на более широкую и убитую колею. Туча осталась теперь справа, а впереди, в желтом море хлеба, был виден маленький темный островок леса и кое-где среди холмистой пустыни, ярко залитой солнцем, бросались в глаза широкие черные ленты вспаханной земли, одинокие в богатой ниве. С них на душу мельника веяло чем-то родственным ей. Лукич бежал, и навстречу ему, зеленея, приближался островок леса, все рельефнее выступая на ярко-желтом фоне нивы и мутно-голубом небе.

«А ведь это я на станцию еду! — подумал мельник, когда из-за холма показалась линия телеграфных столбов. — Не поехать ли мне в город? Лошадь со станции домой отошлю с кем-нибудь... Н-да. К учителю съездил, поговорил. Учитель! А ты учить-то — учи, да и сам тоже поучивайся, понимай вокруг-то себя, как и что. Какой бы это леший загнал меня к тебе, кабы душа к тому не понудила? И должен ты, учитель, всегда на такой точкестоять, чтобы человеку до тебя взобраться можно было. А то — эка вот! — вперся со строгостью-то своей выше печной трубы, да и пошел оттуда пророчить... Добродетели стопудовые!»

Чем дальше он думал, тем яснее становилось, что учитель виноват пред ним, и мельнику было приятно сознавать это...

«Эх, люди! Не можете вы обращать внимания на другого, коли он вам не нужен и вы его не боитесь. А еще учителя! Видно, соблюдение-то своей строгости дороже вам чужой души...»

Лукич бодро подбегал к станции, а навстречу ему, свистя и разметывая в воздухе толстый жгут белого пара, приближался поезд, наполняя воздух тяжелым грохотом:



И грохоту поезда отвечали раскаты грома из тучи, охватившей мраком уже почти две трети неба. Через несколько минут Тихон Павлович сидел в вагоне и мчался степью, следя глазами за мелькавшими мимо окон полосами хлеба и вспаханной земли.

Черное небо то и дело рвали огненные стрелы молнии, и гром гудел над быстро летевшим поездом. Шум колес на стыках рельс и лязг сцеплений пропадали в реве грома, а неуловимо быстрые молнии, мелькая мимо окон, слепили глаза.

«Зачем мне в город?» — тоскливо спрашивал себя мельник.

Его встряхивало, покачивало; блеск молнии заставлял его то и дело щурить глаза, грохот грома — вздрагивать и креститься. И наконец он задремал.

## II

«Куда же бы мне пойти? К кому?» — спросил себя Тихон Павлович, отойдя от вокзала квартала два, и почувствовал, что никого из знакомых ему не хочется видеть, да и вообще ничего не хочется.

Всю дорогу он спал; приехав в город, пошел в гостиницу, ел там селянку, пил чай и смотрел в окно, как шел дождь.

Дождь шел крупный, долго шел — часа три, эти часы мельник провел в думах, навеявших на него какое-то оцепенение. Потом он решил уехать обратно домой, но, когда пришел на вокзал, оказалось, что поезд уже отправился. Он сел на платформе вокзала, глядя, как маневрировали поезда, суетились разные чумазые люди — смазчики, составители, сцепщики, кондуктора товарных поездов. Поезда приходили и уходили, и Тихону Павловичу вся эта суматоха станционной жизни казалась какой-то неосновательной, непродуманной. Зачем нужно так суетиться и хлопотать, так много отвозить и привозить, коли все люди умрут? Нужно бы больше заботиться о покое... И мельнику страшно захотелось покоя, глубокого, сонного, без дум и без забот. Это желание потянуло его куда-то. Тогда он пошел в город и шел теперь холодный и безучастный ко всему.

На улице — тихо и темно. По небу быстро летели обрывки туч, по мостовой и стенам домов ползли густые тени. Воздух был влажен, душен, пахло свежим листом, прелой землей и тяжелым запахом города. Пролетая над садами, ветер шелестел листвой деревьев — тихий и мягкий шепот носился в воздухе. Улица была узка, пустынна и подавлена этой задумчивой тишиной, а глухой грохот пролетки, раздававшийся вдали, звучал оскорбительно нахально. Мельник шел, заложив руки за спину, и нес с собой свои бесформенные полудумы, полуощущения, одевавшие сердце его в холод и туман.

Вдруг откуда-то вырвалась толпа странных, точно сцепившихся между собой звуков духовой музыки и понеслась над



городом в бешено громком вальсе. Одна нота была такая тяжелая, обрывистая — уф, уф! Она совсем не вязалась с остальными и, тяжело вздыхая, лезла выше всех остальных... Казалось, что-то большое и тяжелое грузными прыжками пробует вырваться на волю и не может.

«Зайти, что ли?» — спросил себя мельник, остановившись у отворенных ворот с двумя ярко горевшими фонарями. Прямо из ворот куда-то вдаль тянулась аллея акаций. И, еще не решив, следует ли ему идти в сад, Тихон Павлович уже шел по ней, глядя на фонари, развешенные вдоль аллеи на проволоке и бросавшие на бурую дорожку разноцветные пятна. Аллея круто повернула направо, и Тихон Павлович увидел эстраду, на ней играл военный оркестр, перед эстрадой — лавочки, на них какие-то темные фигуры. Ему не захотелось идти туда, — он сел на одну из скамей, стоявших по бокам аллеи.

Шумели деревья, и над ними по небу, все более очищая его, мчались клочки туч. Какая-то женщина прошла мимо Тихона Павловича... Он равнодушно посмотрел ей в спину, она воротилась и снова прошла мимо. Тогда он про себя обругал ее... Вдруг она направилась к нему, села с ним рядом и заглянула ему в лицо. Перед ним мелькнули темные, пытливые глаза, большие красные губы и прямой, красивый нос. Он степенно и безглаголиво отодвинулся, и ему стало еще скучнее.

— Скучно, купец? — спросила его соседка.

— Да-а... — протянул он, но сейчас же спохватился и хмуро сказал ей: — Проваливай... нечего даром-то лясы точить... Не таковский...

Она засмеялась глубоким, грудным смехом.

— Сердитый... Не бойся, не трону... Мне самой скучно, вот я и спросила...

Он помолчал, ожидая, что она встанет и уйдет. Но она не уходила, а позевывая, продолжала сидеть рядом с ним. Он искоса посмотрел на нее — она очень молода и красива. Музыка перестала играть и снова начала, на этот раз что-то менее шумное.

— Что же ты торчишь тут, если тебе скучно? — вдруг спросил Тихон Павлович свою соседку.

— А ты? — не глядя на него, кротко бросила она.

— Я приезжий... куда я пойду?..

— В номер, где остановился, иди, а то в трактир.

— Ишь ты! — сказал Тихон Павлович и, помолчав, прибавил: — Чай, там тоже скучно одному-то...

— Компанию найди...

— На улице, что ли, мне ее подбирать?

— В трактире всегда компания есть.

— Это, положим, так... — вздохнул мельник и подумал: «А что, в самом деле — не пойти ли мне в трактир? И эту взять с собой... Может, что и выйдет?» — Ты пойдешь со мной в трактир-то? — спросил он.

Она ответила не сразу, как-то замялась.

— Пожалуй... Человек только тут один будет искать меня.

— Ну, какой там человек?

— Нет, верно... Мастеровой один...

— На что он тебе? Плюнь, пойдем...

Ему положительно стала улыбаться мысль о хорошей пирушке.

— Да, я иду... Он, чай, навстречу, попадет...

— Больно нужно! — сказал мельник, поднимаясь со скамьи. — Айда!

Она встала и пошла, высокая, стройная, в белом платочке на голове, рядом с ним, кряжистым человеком, в поддевке до пят.

— Нет, кабы встретить его, хорошо бы было, — говорила она и зачем-то пояснила: — Это безрукий...

— Это как?

— Оторвало ему руки-то на машине.

— Так на что тебе его? — несколько удивился Тихон Павлович.

— А он поет больно хорошо.

— Ну?

— Мы с ним сегодня хотели на реку пойти в рощу...

— Так... — усмехнулся мельник. — Ну, так что же теперь?

— А ничего, — кратко сказала она.

Они вышли из сада, и мельник, спросив, куда надо идти, крикнул извозчика. Подпрыгивая по неровной мостовой, пролетка с дребезгом покатила между двумя рядами домов. Было еще не поздно. Из окон на улицу лился свет ламп и звуки голосов. Проезжая мимо одного маленького белого дома за палисадником, Тихон Павлович услышал раскаты басистого смеха, которому вторил смех женщины, звонкий и издушенный.

«Живут люди... не дурят, не мудрствуют», — подумал он с огорчением, и ему стало обидно за себя.

— Так говоришь — без рук? — помолчав, спросил он женщину.

Она плотно прижалась к нему, держась одной рукой за крыло пролетки, а другой за его колено.

— Миша-то? Да... — сказала она.

— Так. Он кто же тебе будет? Милый друг, что ли?

— Н-ну! Тоже... Он уже старый, больной. Он давнишний наш знакомый — маленькую меня, бывало, на руках таскал.

— Ишь ты что! А отец-то у тебя кто?

— Маляр был!

— Умер?

— В холеру помер... Скоро и приедем.

— Так... А ты до этого чем занималась? — любопытствовал мельник, чувствуя, что когда он говорит, так ему легче.

— Швейка, — ответила она.

Через несколько минут они сидели в углу большого трактирного зала. Трактир был грязный, тесный, пахучий. Посреди

зала за одним из столов шумела компания пьяных; у одного из окон, заставленных горшками герани и фуксий, пили чай два подозрительные человека; один — лысый, с ястребиным носом, поминутно кашлял; другой — черный, с солдатскими усами, меланхолично свистел сквозь зубы, глядя в свой стакан. В углу, у изразцовой печки, сидел седенький старичок с благочестивым, истомленным лицом и сладко прищуренными глазками. Еще несколько человек очень странно разбросаны по большой закоптелой комнате, и никто не обращал внимания друг на друга.

Мельник со своей подругой уселись в темном углу, у двери в маленькую комнатку, им хорошо был виден весь трактир, освещенный пятью стенными лампами. Их стол стоял у открытого окна; с улицы на них веял теплый ветер, густой от смешанных запахов.

— Тебя как звать-то, красавица?

— Анной.

— Ну-ка, Аннушка, выпьем для знакомства.

Он налил из поставленной перед ним бутылки две рюмки водки; чокнулись и выпили. Аннушка сняла с головы платок и стала красивее: волосы у нее были волнистые, каштановые, глаза — продолговатые, карие. Она то прищуривала их, то открывала, перебирая пальцами полной и белой руки сборки ситцевой кофточки на груди.

— А плясать ты умеешь? — спросил Тихон Павлович, рассмотрев ее и найдя, что она должна быть особенно хороша в пляске, когда идет этак боком и поводит плечом, подманивая к себе глазами...

— Пляшу... — ответила она, снова наливая рюмки.

— И выпиваешь-таки, видно? — усмехнулся мельник.

— А как же? Такая жизнь... Нам не пить нельзя... — спокойно заявила она.

— Разве уж больно тяжело? — допрашивал мельник, не скрывая недоверия к ней и насмешливо улыбаясь.

Она ответила не сразу: сначала оправила волосы на голове, отломил кусочек черного хлеба, понюхала его с видом записной пьяницы, потом положила в рот и, медленно пережевывая, заговорила:

— Чай, если и вас заставить целоваться со всякой бабой, какая того от вас захочет, так и вам, даром что вы мужчина, противно это станет. А наша сестра должна... А ведь среди вас хороших-то больно мало, больше всё... такие, что, того и гляди, стошнит. Опять же и грех... Мы не бесчувственные какие — бога помним... совестно. Иногда — особенно с похмелья — так жутко станет, что вот взяла бы да и сунула голову в петлю... Ну, сейчас возьмешь полбутылки, да и оглушишь себя натошак-то... И втянешься... Без водки на такое дело нельзя выходить — зато скуешься...

Еще с начала ее речи Тихон Павлович почувствовал, что ее глаза как-то щиплют его за сердце, остановившись на его лице и как бы стараясь запомнить его. Когда она сказала «такие», сделав паузу перед этим словом, — он почувствовал, что в этой паузе много обидного для него. А потом она заговорила о боге. Он пригласил ее с собой совсем не для этого. И в душе его вспыхнуло раздражение против нее. Он строго и веско заговорил:

— Кому что назначено, тот и должен нести свою тяжесть... н-да. А вот я приехал с тобой сюда для веселья, а не для постных разговоров. Разговор такой — совсем ни при чем в нашем деле. Желаю я разгуляться и чтобы с треском... понятно? Сто целковых брошу, но чтобы был отдых душе. Чтобы вихрь был! Можешь ты мне в этом деле способствовать? Действуй — десятку дам! Но чтобы — вот как было!

Он повел рукой по шее и мотнул головой, зашурив глаза.

Она поняла его и тоже сразу вспыхнула. До этой поры он ей казался мямлей, бородачом-семьянином, который и согрешить желает только до известного предела; но теперь ей стало ясно, что он может развернуться широко. И, блеснув глазами, она встала со стула, накидывая на голову платок и говоря:

— Так бы вы сразу и сказали, а то чешете язык, и невозможно понять — зачем? Посидите, я в минуту ворочусь. Сейчас будет гармонист, песни будем петь, спляшем... А вы, пока я хожу, переберитесь-ка вот сюда... — она указала рукой на соседнюю комнату, — да закажите чаю, водки еще и закуски... Нуте-ка, я тяпну еще одну!

Она «тяпнула» рюмку водки, улыбнулась и исчезла.

А он подозвал полового, заказал ему все, что было нужно, и перешел в соседнюю комнату. В ней было три окна, все на улицу; в одном простенке висела картинка, изображавшая охоту на медведя, в другом — голую женщину. Тихон Павлович посмотрел на них и сел за круглый столик, стоявший перед широким кожаным диваном, над которым опять-таки висела картина, изображавшая не то луга, не то море в тихую погоду. В соседней комнате гудела публика, все прибывавшая, звенели стаканы, хлопали пробки.

«Попробую встряхнуться... — думал Тихон Павлович, наливая себе водки. — Авось после оживу. Будет, поваландался с собой. Кабы можно было мне понимать, как и что — дело другое. Но понимать я не могу. Томит меня, а что томит? — неизвестно. Ну, положим, умер человек — что же такое? Дело ясное — жил, оттого и умер. И я умру... Душу забывать не надо — это точно. Но чего она хочет? Кабы я мог это понимать! — Ему вспомнился Кузька. — Он вот дает простор себе. Живет... и никаким думам не подвержен. А ведь у него тоже душа, ежели правильно рассудить. И у учителя душа. Однако все люди — разные. Вот и эта бабенка — тоже: жить — говорит — совестно. А почему совестно, ежели судьба? Без божьей воли и волос с головы не падет...»

Он тяжело вздохнул, выпил и, откинувшись на спинку дивана, прислушался к себе.

Почему-то ему представилась большая труба военной музыки в саду.

— Уф, уф,— рычала она, выбиваясь из толпы других нот. Потом он ясно вспомнил дребезг пролетки, что так грубо нарушал грустную тишину вечера.

«Разве можно самого себя понимать, коли человек, можно сказать, как мельница: целый день разные разности перетирает своим умом?» — с обидой на кого-то подумал Тихон Павлович.

Ему казалось, что он как бы раздвоился: одна его половинка незаметно для другой старается куда-то столкнуть ее. Он осторожно обходил сам себя, как обходил он разных мужичков, вступавших с ним в сделки.

«Разве я спорю? — доказывал он себе, хмурия лоб.— Грешен и законсел — понимаю... Но как мне распростаться-то? Придет пост — буду говеть, а до той поры — уж как ни то — надо сносить».

И все-таки в конце концов он ясно чувствовал, что одному ему не годится оставаться здесь долго, что его опять понемногу охватывает и засасывает тоска.

«И чего эта чертова кукла провалилась?» — с негодованием подумал он, и в ту же минуту отворилась дверь.

Перед ним стоял высокий человек в красной рубахе, пустые рукава которой свободно болтались по бокам, ниспадая с плеч. Клинообразная русая борода удлиняла бледное, испитое лицо с лихорадочно блестящими серыми глазами; длинная шея с изогнутым и вытянувшимся вперед кадыком придавала этой странной фигуре что-то журавлиное. На ногах у него были валенки и плисовые шаровары, вытертые на коленях. Ему было, наверное, лет под пятьдесят, но глаза молодили его. Он смерил Тихона Павловича взглядом.

— Значит, вы и есть купец?..

— Я...

— Налейте мне рюмочку.

— Изволь.

— И поднесите.

— Могу.

Мельник налил водки, поднес ее к губам безрукого, и тот сразу, потянув в себя воздух, с каким-то особенным свистом выхлебнул ее содержимое все до капли.

— Закуски надо?

— Не употребляю после первой рюмки.

— Налить еще?

— Покорно благодарю...

Он говорил высоким металлическим голосом, после двух рюмок глаза его заблестели еще ярче, а на щеках вспыхнули два красные пятна. Тихон Павлович дал ему кусок хлеба с какой-то

рыбой, тот взял его губами, сел на диван и, наклонив голову над столом, положил закуску на край стола и ел. Кусая, он далеко вытягивал нижнюю губу и удерживал ею пищу от падения на пол. Тихон Павлович смотрел на него, и ему было жалко этого изуродованного человека.

— Как это руки-то?.. — спросил он с соболезнующей нотой в тоне вопроса.

— Очень просто: попал в пьяном виде в приводный ремень — раз, два! — три месяца в больнице, и — пошел в нищие! — быстро рассказывал калека.

— Больно-то, чай, как было! — воскликнул Тихон Павлович, чмокая губами.

— Это прошло. А что прошло, того и нет. Скверно вот то, что есть, а то бы все наплевать.

— То есть как? — не понял Тихон Павлович.

— Очень просто: жить без рук невозможно. Даже милостыни принять нечем — вот какая подлость! Ртом ловить — зубы вышибут.

— Это верно, — засмеялся Тихон Павлович.

В калек было что-то бойкое, бодрящее, и его глаза сверкали так умно. Тихон Павлович подумал, что, должно быть, он хороший, веселый парень, даром что без рук.

— Аннушка — скоро? — спросил мельник.

Безрукий быстро вскинул голову и остро посмотрел в лицо Тихона Павловича. Тому показалось, что это какой-то особенный, неприязненный взгляд, и он скосил глаза в сторону, немного смущенный.

— Вы где ее подцепили? — спросил безрукий.

— В саду...

— А!..

— А что?

— Так...

— Красивая девица, — сказал Тихон Павлович, чувствуя, что неприязнь к нему все возрастает у его собеседника.

— Тоже калека... — кратко бросил тот.

— То есть как?

— Души нет. У меня машиной руки вырвало, а у нее душу — жизнью. Жизнь у бедных людей проклятая — калечит без всякого резона. Жестокая жизнь.

Помолчали. Безрукий ерзал по дивану, точно разжигаемый каким-то нетерпением, а Тихон Павлович, исподлобья поглядывая на него, чувствовал себя неловко, злился и чего-то боялся.

— Еще рюмочку?

— Давайте... Но больше не надо, а то не буду пить.

— В певчих были?

— Я? Всем был — часовых дел мастером был, певчим был, смазчиком на железной дороге был, роговыми изделиями торговал, приказчиком по лесной части... Давно живу!

— Н-да... Вон как... — сказал Тихон Павлович, поражаемый бойкостью собеседника. Снова помолчали.

— А долго не идет Аннушка-то...

— Анюта? — как-то весь перекосялся безрукий. — Придет! — И он сухо засмеялся. — Непременно придет... Вы ей десять целковых хотели дать? Придет — еще бы! За десять-то целковых, когда она за рр... эх! — Он, извиваясь своим длинным телом, закашлялся. — Я эту Анюту с шести лет знаю. Н-да... Я ее на руках носил, пряники ей покупал, а теперь сам вот живу под ее охраной... Я ей, бывало, пряники, а она мне теперь хлеб и водку... Времена переменчивы. А люди — скоты. Впрочем, все держится в своих законах, и человек на земле не более как ничтожная гнида. Все в порядке, ныть и плакать не стоит — ни к чему не поведет. Живи и ожидай, когда тебя изломает, а если изломало — жди смерти! Только и есть на земле всех умных слов. Поняли? И Анюта, и я, и вы — все мы в молодости нашей потеряли все, а нашли до сей поры шиш с маслом! И больше никаких. Всякие разговоры — пустяки и чепуха. Я прежде был другого взгляда на жизнь и очень беспокоился за себя и за других — как, мол, и что, и какой смысл, и в чем суть, и зачем, и почему... Нынче — наплевать! Проходит жизнь известным порядком, ну, и проходи, — так, значит, надо, и я тут ни при чем. Законы-с; против них невозможно идти... И незачем, потому что даже и тот, кто все знает, ничего не знает. Уж поверьте мне в этом случае — с умнейшими людьми вел по этим делам беседы — со студентами и со многими священнослужителями церкви. Х-хе!

Он горел и кипятился, этот безрукий калека, кидая одну за другой свои отрывистые и туманные фразы Тихону Павловичу. Тон его речи был странным: в нем звучала и горькая обида, и безнадежность, насмешка, и страх пред законами и силами — словами, которые он произносил с каким-то особенным подчеркиванием и понижением голоса.

Тихон Павлович мало понял из его речи, но она сообщила ему какую-то нервную робость, он чувствовал, что калека что-то объясняет ему. И, когда безрукий сделал паузу, задыхаясь от всего сказанного, он робко и задумчиво спросил его:

— Значит, человеку некуда податься?

— Ни на вершок! — сверкнув глазами, сказал безрукий и, подвинувшись всем корпусом в сторону Тихона Павловича, добавил голосом сдавленным и строгим: — Законы! Тайные причины и силы — понимаете? — Поднял кверху брови и многозначительно качнул головой. — Никому ничего не известно... Тьма! — Он съежился, вобрав в себя голову, и мельнику представилось, что если б его собеседник имел руки, то он, наверное, погрозил бы ему пальцем.

— Н-да-а! — протянул мельник, задумчиво теребя бороду и наморщивая лоб. — Ну, а как же душа?



— Душа?.. Младенцев, малых ребят в кабаках и других таких местах видали? Вот — душа на земле! Испытание ей дано...

— Значит, как же теперь, ежели совесть?..

— Вот — идут... — кивнул головой безрукий.

В дверях стояла Аннушка, раскрасневшаяся и тяжело дышавшая; из-за ее плеча высовывалась усатая физиономия в фуражке, ухарски сдвинутой на ухо, и с насмешливо прищуренными глазами.

— Михаил Антоныч! Костя пришел...

— Костя? — встрепенулся безрукий. — Дельно! Это восторг один! Костя, иди сюда!.. Вот, купец, человек, так сказать, талант! Вот — душа!

Из-под локтя Аннушки вынырнул худой и желтый юноша, сутулый, с ввалившейся грудью, с тонкими губами; они были у него полуоткрыты, и из-за них видно было два ряда зубов, черных, поврежденных винным камнем.

В комнате сразу стало шумно — пришедшие внесли с собою целую волну разнообразных звуков. Усатый человек с насмешливыми глазами оказался гармонистом; он сейчас же сел в угол дивана и поставил себе на колени большую гармонику с бесчисленным количеством клапанов и взял какой-то чрезвычайно высокий и бойкий аккорд, после чего победоносно взглянул на Тихона Павловича и налил себе рюмку водки.

Кроме Аннушки, пришла еще девица — Таня, как назвал ее молодой человек в пиджаке, не то ремесленник-«чистяк», не то мелкий приказчик. Они уселись к окну, а Аннушка, гармонист, Тихон Павлович, безрукий и Костя составили группу у стола. Там, в большой комнате, народу набралось много, гудел могучий, пьяный шум.

Безрукий и Костя говорили что-то между собой вполголоса; лицо Кости освещалось глубоко ввалившимися голубыми глазами, под ними были большие темные пятна. Он был в поддевке, в красной рубаше и сапогах с набором. Аннушка что-то шептала гармонисту, лукаво улыбаясь, а тот слушал ее и равнодушно поглядывал на мельника.

Все чувствовали себя несколько стесненными, особенно Тихон Павлович, потерявшийся при виде стольких незнакомых лиц. От выпитой водки и разговора с безруким голова у него наполнилась туманом.

Мельник крикнул, желая обратить на себя внимание, и его поняли. Все как-то засуетились, сразу сдвинулись плотнее к столу; Аннушка вскочила с дивана и села рядом с мельником на стул; пара от окна тоже подошла к столу.

— Для начала выпьем, господа компания! — возгласил Тихон Павлович, и ему очень понравилось то, что он сказал эти слова так степенно, солидно, веско.

Выпили. Безрукому подал Костя, сидевший рядом с ним.

— Вы, значит, — обратился Тихон Павлович к безрукому, —



как человек этакий...— Он замялся, взглянув на плечи такого человека.— Вы и командуйте всем. Чтобы было весело, чтобы ходуном ходило все... Выпьем еще по одной для развязки!

— Можно,— согласился безрукий. По мере того как он пил, у него все более расширялись глаза и в кадыке начинало что-то клокотать.— Выпьем и споем хором! Идет? Хорошо будет! Ты, Костя, подвывай-подголашивай, Аннушка заведет, а вы, Марк Иванович, подтяните на гармонике.

Все заговорили сразу. Юноша в пиджаке находил, что хора не выйдет — мало голосов; гармонист согласился с ним и, очевидно, желая показаться сведущим, употреблял разные специальные термины.

— Никак не выйдет, потому все мажорные голоса, и будет один крик. Триё — вот это будет враз,— втроем, значит, нужно петь.

Аннушка, выпившая и возбужденная, ластилась кошкой к мельнику. Он старался сохранить солидность, но уже маслено улыбался и ущипнул ее за бок. Она тихонько взвизгнула и ударила его по руке. Они увлеклись понемногу, а вокруг них все горячее разгорался спор о том, что и как петь.

— Марк Иванович, это не так! — с тоской в голосе восклицал безрукий.

— Нет, так! — глухим басом рубил гармонист.

Костя не принимал участия в споре: отвалившись спиной в угол дивана, он выпятил грудь, полузакрыв глаза и вдруг почему-то побледнел.

— Костюшка, запевай! — крикнула Таня высоким контральто и облокотилась на стол, подперев щеку рукой. Ее кавалер начал что-то шептать ей на ухо, скашивая глаза в сторону мельника, обнявшего свою соседку за талию и подносившего к ее рту рюмку рябиновой. Она жеманилась, отворачивая голову в сторону. Таня посмотрела на нее ленивым взглядом тусклых синих глаз и снова приняла прежнюю позу, кинув гармонисту:

— Будет вам!

А безрукий, наклонившись к нему корпусом и брызгая слюной, громким звенящим голосом кричал:

— И опять не так! Нужно начинать с грусти, чтобы привести душу в порядок, заставить ее прислушаться.

— То есть это как же?—скептически возражал гармонист, хмуря брови и поводя усами.

— А так — она чувствительна к грусти... Понимаете? Вот вы ей сейчас и закиньте удочку — «Лучинушкой», к примеру, или «Заходило солнце красное» — она и приостановится, замрет. А тут вы ее хватите сразу «Чоботами» али «Во лузях», да с дробью с пламенем, с пошлом — чтобы жгло! Ожгете ее, она и встрепечется! Тогда и пошло все в действие. Тут уж начнется прямо бешенство — чего-то хочется и ничего не надо! Тоска и радость — так все и заиграет радугой!..

Безрукий задыхался от возбуждения и странно раскачивал корпусом, точно собираясь нырнуть на пол под ноги гармониста. Шум в трактире становился все более хаотичным, оглушающим, пьяным.

И вдруг в него впиалась высокая теноровая нота, болезненно вибрирующая, протяжная, унылая:

Эх, да в непогоду-у...

— Ш-ш-ш! — змеей зашипел безрукий, вскинув кверху голову и обводя публику широко раскрытыми глазами с выражением в них и просьбы, и какой-то боязни, и удовольствия. Публика сразу притихла, уставилась на Костю, сидевшего на диване с бледным лицом и судорожно открытыми губами, из которых, взвываясь все выше, лились красивые, печальные звуки...

— Таня, подхвати, голубушка! — шептал молящим шепотом безрукий.

Ветер воет, завывает...—

сразу перешел Костя на речитатив.

Таня равнодушно, с видом человека, говорящего: «Могу — мне все равно!», посмотрела на Костю и, крепче приложив руку к щеке, подхватила прежде, чем Костя кончил свой речитатив.

А мою голо-овушку...

— «Злая грусть терзает!..» — продолжал Костя, неподвижный и весь углубившийся в себя. Маленький он был, сухой, желтый. Голос Кости, высокий, металлический тенор, дрожал, рыдая, и замирал в тоске, но прежде чем он прерывался, раздавалось густое контральто Тани. Оно задумчиво и печально плыло из ее горла, ровное, безнадежно спокойное; это делало слова песни еще более грустными. В дверях комнаты стояла толпа людей с красными, возбужденными и потными физиономиями; за ней, где-то там, в комнате, по-прежнему звучали стаканы и гудели пьяные голоса, но они всё ослабевали, а толпа у дверей противилась дальше в комнату.

Эх, да и пойду я в степи...—

грустно рассказывал Костя с красными пятнами на своем лице.

В степи-и...—

подхватила Таня, и голос ее звучал только как равнодушное эхо чужой скорби.

Поищу там доли..,

Голоса слились и дружной, теплой струей ровно потекли по комнате, пропитанной запахом водки, табаку и пота, вдруг задрожали, забились, зарыдали, точно им стало тесно и тошно тут. Потом голос Кости оборвался и умолк, а Таня продолжала:

Матушка-пустыня-а...

— «Матушка-пустыня!»— снова вступил Костя тоскливым криком:

Приюти сиротку-у...

— «Приюти сиротку»,— вступил третий, новый голос. Он слился с голосом Кости и, звуча в унисон ему, гибкий, тоже дрожащий, являясь как бы эхом, тенью основного звука, заплакал и застонал, выпевая только одни гласные. Это пел безрукий, закрыв глаза и выгнув свой кадык. Контральто Тани звучало — низкое, ровное, густое, и оно стало чем-то вроде широкой полосы бархата, извивавшейся в пространстве, а на нем, на этом бархате, в фантастических узорах дрожали золотые и серебряные нити голосов безрукого и Кости.

Публика была подавлена этим рассказом сироты о поисках своей доли. Тихон Павлович давно уже неподвижно сидел на стуле, низко свесив на грудь голову и жадно вслушиваясь в звуки песни. Они снова будили в нем его тоску, но теперь к ней примешивалось ощущение едко-сладкое, приятно коловшее сердце. Он чувствовал себя так, как будто его обливало что-то теплое и густое, как парное молоко, обливало и, проникая внутрь его существа, наполняло собой все жилы, очищало кровь, тревожило его тоску и, развивая ее и увеличивая, все более смягчало. В душе мельника выросла странная сладкая боль, точно льдина тоски, давившая его сердце, таяла, распадалась на куски, и они кололи его там, внутри.

Аннушка положила на плечо соседа свою голову и замерла в этой позе, потупив глаза в землю. Гармонист задумчиво покручивал ус, а человек в пиджаке отошел к окну и стал там, прислонясь к стене и смешно вытянув голову по направлению к певцам, точно он ртом ловил звуки песни. Толпа в дверях шуршала платьем и глухо ворчала, слившись в одно большое животное.

Трое певцов пели, сами себя очаровав песней, и она звучала, то мрачная и страстная, как молитва кающегося грешника, то печальная и кроткая, как плач больного ребенка, то полная отчаянной и безнадежной тоски, как всякая хорошая русская песня.

Э я сижу-у-мо-оря-а...—

рыдал Костя, у которого от напряжения выступил пот на лбу и катился по щекам, как слезы.

Э-а, э-оо-э-о-а! —

вторил ему безрукий одними гласными. Он плотно зажмурил глаза, и ноздри его нервно дрожали, дрожали и губы и подбородок.

Доли себе жду-у! —

голосом, полным безнадежности, и покачивая головой, пела Таня и улыбалась такой тоскливой, острой улыбкой.

Душу мою...—

звенел и плакал тенор Кости.

Слезы-и-и...

Слезы жгучи моют!..—

дрожал голос безрукого.

Звуки всё плакали, плыли; казалось, что вот-вот они оборвутся и умрут, но они снова возрождались, оживляя умирающую ноту, снова поднимали ее куда-то высоко; там она билась и плакала, падала вниз; фальцет безрукого оттенял ее агонию, а Таня все пела, и Костя опять рыдал, то обгоняя ее слова, то повторяя их, и, должно быть, не было конца у этой плачущей и молящей песни — рассказа о поисках доли человеком.

— Братцы! — глухо крикнул Тихон Павлович, вскакивая со стула. — Больше не могу! Христа ради, больше не могу!

Лицо у него было красно и все в слезах, борода, смоченная ими, скомкалась, и в глазах, широко открытых, испуганных, полных болезненного напряжения, сверкало что-то дикое и восторженное, жалкое и горячее. Вставая, он оттолкнул Аннушку; она чуть не упала, оправилась и, точно проснувшись, смотрела на безрукого глазами тусклыми и тупыми — тяжелым взглядом уставшего животного.

— Душу мою пронзили! Будет — тоска моя! Тронули вы меня за сердце... то есть часу у меня такого не было в жизни!

Таня тупо смотрела на него, и из ее губ все лились ровные, сочные ноты, теплые, но без огня.

— Братцы! Как угли горят во мне теперь — вот какая тоска! Что теперь я сделаю? На нож пойду! — глухо гудел мельник, страшно тараща глаза и растирая грудь обеими руками. — Ку-тим! С треском! Эх ты, жизнь!

Безрукий и Таня оборвали песню. Таня сейчас же налила себе полстакана водки и выплеснула ее себе в рот с такой быстротой, точно и у нее там угли горели и она хотела скорее потушить их. Взволнованный и уставший безрукий молча отдувался. Он как-то сразу осунулся, у него ввалились щеки, и глаза смотрели тупо, тускло и бессмысленно.

— Налей-ка мне рябиновой, Марк Иваныч!

— Славно пели, — тихо сказал гармонист, поднося к его рту стакан.

Толпа очнулась, и поднялся хаотический шум и говор. Послышались одобрительные восклицания, ласковые ругательства.

Доля, моя доля, где ж ты...—

вдруг снова зарыдал тенор Кости.

Он все время пел с закрытыми глазами и, охваченный своей песнею, должно быть, не слышал ничего, сделал паузу и вот — снова запел. Раздался хохот. Хохотали те, что стояли у двери, и с ними хохотала Таня. Показалось смешным это увлечение Кости, и смех разбудил его. Широко открыв глаза, горящий и нервный, он посмотрел на смеющиеся физиономии, съежился, побледнел и как-то сразу погас, превратился в того худого, желтого паренька, каким он вошел сюда.

— Лапушка, пей! — угощал Тихон Павлович Аннушку. — Пей, гуляй! Кучу! Сокрушил бы я себя самого...

Гармонист взял в руки гармонику, подумал, подняв голову вверх, и заиграл что-то бойкое.

— Вот как тронули душу купца! — толкал его безрукий под столом ногой. Гармонист молча кивал головой. Около стола Тихона Павловича появились какие-то нахальные фигуры и пили его водку. Он пил со всеми и быстро пьянел. И Аннушка пьянела.

— Плясать хочу, Марк, играй камаринского! — кричала она, поводя плечами. Безрукий, нахмурившись, смотрел на нее с дивана и кусал себе губы.

— Ну, Михаил Антоныч, не сердись! Все равно ведь! — улыбнулась она ему, заметив его мину. — Один раз жить на свете...

— Баба, хоть четыре жизни живи, все скотиной будет! — зло кинул он ей.

— Друг! не ругайся! Она — милая девица, я ее люблю! — бушевал мельник. — Тронули вы мне душу и очистили ее. Чувствую я теперь себя — ах как! В огонь бы полез...

— Человек никуда не должен лезть... Ты вот налей-ка мне!

— Не лезть никуда? Это — верно! Руку! Да, руки у тебя нет... Ну, поцелуемся. — Он обнял безрукого и стал целовать его. Костя наливал себе водки и пил ее рюмку за рюмкой, видя, что никто за ним не следит.

— Играй русскую! Хочу плясать! — все еще стояла на своем Аннушка. Гармонист грянул какой-то удивительный аккорд и заиграл «По улице мостовой».

Уперев руки в боки и поводя плечами, Аннушка, соблазнительно красивая и горящая от возбуждения, павой проплыла мимо разгоряченного вином мельника и вызывающе подмигнула ему глазом.

— Эх ты! Пошел и я! — ухарски крикнул он и, громко топая ногами, пустился вслед за ней.

Безрукий смотрел на него, страшно оскалив зубы и вращая белками.

Снова собралась толпа и грохотала, глядя на пляшущих.

— Загулял Тихон! — угрожающе выкрикнул мельник. — Возобновился человек! Э-эхма!

Ночью, на пятый день после описанного, Тихон Павлович возвращался со станции домой, на хутор.

С больной головой, разбитый и мрачный, он трясся в телеге и чувствовал в груди мерзкий, горький осадок после четырехдневного кутежа. Представляя себе, как жена встретит его и запоем: «Что, батюшка, снова сорвался с цепи-то?» — и начнет говорить о летах, седой бороде, детях, стыде, о своей несчастной жизни, — Тихон Павлович сжимался и озлобленно плевал на дорогу, глухо бормоча:

— Н-ну и жизнь!..

— Что вы-с? — спрашивал его возница, словоохотливый «Пантелей со станции», именовавшийся так в отличие от другого Пантелея — «пришлого».

— Ничего, ничего! Вези знай! — сердито ворчал Тихон Павлович.

— Ага! Это бывает: думает, думает человек и заговорит сам с собой вслух. Бывает это от многих дум, ежели... — не унимался возница.

— Помалкивай себе! — обрывал его Тихон Павлович.

— Что ж! Можно и помолчать... — соглашался Пантелей и через несколько времени вновь заговаривал.

Хмурая ночь окутала всю степь тяжелым мраком, и в небе неподвижно стояли еще серые облака. В одном месте их было белесоватое, странное пятно — это луна хотела пробиться сквозь тучи и не могла. Приехали к плотине.

— Стой! — сказал Тихон Павлович, вышел из телеги и посмотрел кругом. Шагах в сорока от него темной, угловатой кучей рисовался во мраке ночи хутор; справа, рядом с ним — запруда. Темная вода в ней была неподвижна и страшила этой неподвижностью. Все кругом было так тихо и жутко. Густо одетые тенью ивы на плотине стояли прямо, строго и сурово. Где-то падали капли... Вдруг на запруду налетел ветер из рощи; вода испуганно всколыхнулась, и раздался тихий, жалобный плеск... И деревья, стряхивая сон, тоже зашумели.

Тихон Павлович посмотрел, как вода, тронутая ветром, снова засыпала, успокаиваясь постепенно, но еще пока покрытая мелкой рябью и точно дрожащая, посмотрел, глубоко вздохнул и пошел к хутору, глухо бормоча:

— Жизнь... Колесание одно только... рябь.

Но его не успокаивало это, и, чувствуя себя виноватым пред всеми и пред самим собой, он остановился, взял в руки бороду, дернул себя за нее, качнул головой и громко произнес:

— Старый ты черт, Тишка!..

— Что-с? — откликнулся из мрака «Пантелей со станции».

— Ничего, пшёл ты...

Где-то петухи пропели.

## И Д И Л Л И Я

В маленькой комнатке с низким, закопченным потолком слабо мерцает лампада пред божницей в углу. Ее дрожащий свет родил на стенах неустанно трепещущие, пугливые тени, и они, ползая вверх и вниз, то покрывают собой, то открывают яркие, дешевые картинки, изображающие «Страшный суд», «Путь праведника и грешника» и другие ужасы в этом роде, иллюстрирующие достоинства добродетели и недостатки порока.

Кроме мерцания лампады, в комнату входит еще длинная полоса света откуда-то извне, сквозь стекло четырехугольного отверстия в низкой, обитой клеенкой двери. Эта полоса ложится светлой тропой на пол, покрытый холщовым половиком, и уходит под стол. Пахнет деревянным маслом и еще чем-то, таким же тяжелым. Вся комната тесно заставлена. По одной ее стене стоит широкая двуспальная кровать, за спинкой кровати — громадный, покрытый ковром сундук, потом божница. У другой стены помещается неуклюжий, старинный комод, рядом с ним опять большой сундук, за ним — стол, а между столом и дверью на стене висит гора одежды. Впереди, у широкого окна, стоит еще стол, два стула по бокам его, один посредине, на столе лампа, две рамки с портретами и толстая книга в коже.

В окно смотрит темно-синее небо летней ночи, молчаливое и меланхоличное, с золотыми крапинками беспокойно дрожащих звезд. Порой стекла окна дребезжат от шума проехавшей по улице пролетки. Полумрак в комнате увеличивает размеры громождающих ее предметов, и от безмолвной игры теней все свободное пространство среди комнаты кажется населенным призраками. Яркие пятна картин на стенах смотрят, как чьи-то четырехугольные, большие и уродливые глаза. И все в этом тесном чулане пропитано безмолвием и тяжелым, мертвым запахом.

Светлый четырехугольник в двери иногда застилает собой какое-то темное тело... Тогда полоса света на полу вздрагивает

и на секунду исчезает, потом снова является, как широкий меч, вонзаясь в сумрак и пугая своим появлением населяющие его тени. Но безмолвие не оживляется этим движением света; только из-за двери доносятся в пустоту комнаты щелканье косточек счет, характерный звон денег и удары чем-то тяжелым по доске.

...Дверь отворяется, и в комнату входит маленький, сухой старик, с острой, седой бородкой, в тяжелых очках на красном, хрящеватом носу, в белом, длинном переднике и с лампой в руке. За ним стоит, держась за скобку двери, старушка, сгорбленная временем, с головой, наклоненной к земле. Они оба окидывают быстрым взглядом внутренность каморки; старик ставит лампу на стол, крестится и сиповато говорит:

— День прошел и — слава богу!

— Слава те, господи! — вторит ему старуха. — Чайку попьешь?

— Уж известно!

И старушка возвращается назад в помещение, заваленное мешками муки, ящиками, банками. Это — маленькая бакалейная лавочка на захолустной улице города. В ней продают коленкор и деготь, иголки и сено, угли, хлеб, нитки, табак, кислую капусту — все, что ежедневно нужно людям, считающим деньги копейками.

Пока старушка возится в лавке, старик проходит вперед к столу и ставит лампу, тихо напевая себе под нос какой-то тропарь. Комната сразу принимает жилой вид, и теперь можно ясно разобрать неописуемые муки грешников на картине «Страшного суда».

— «И-им же тя хва-а-лим...» Мать! Захвати-ка-сь счета отсюда...

— Знаю, чай... — ворчливо отвечает старушка, гремя чайной посудой.

— То-то... «Им же тя ве-елича-аем...»

Заложив руки за спину, он останавливается пред «Страшным судом» и перестает петь, в тысяча первый раз рассматривая, как корчатся грешники, палимые огнем адовым, похожим на снопы красной соломы. Каждый грешник поджаривается в отдельном помещении и представляет вместе с огнем, объявшим до половины его скрюченное муками тело, нечто очень похожее на половинку елочной хлопушки, из которой высунулся сюрприз.

— «О-от юности моя мнози борют мя страсти, но сам мя заступи и спаси, спасе мой...» — баском и речитативом произносит старик и, отходя от картины, глубоко вздыхает.

— Отец, неси-ко самовар-от! — командует мать из лавочки.

— Готов уж? Ай да ты у меня! — говорит отец, идя в лавку, а навстречу ему несется ворчливое, но польщенное:

— Ну уж!

Это у них происходит каждый день после того, как они закроют свою лавочку и на свободе захотят попить чайку. Почти всегда, кончая торговлю, он начинает петь тропари, ирмосы и кондаки,



она ставит самовар; потом они садятся пить чай и за чаем считают дневную выручку и свои барыши.

Вот они за столом. Самовар шипит и курлыкает; «мать» сняла платок с головы, поправила шелковую «головку» на своих седых волосах и наливает «отцу» чай в фаянсовый бокал с отбитой ручкой, который служит уже не один десяток лет. Перед ней — синяя, с черной трещиной, большая чашка, блюдечко с медом, крендели... Перед ним — счеты и длинная узенькая книга, испещренная крупными иероглифами, выведенными карандашом... Он вонзает свои маленькие, быстрые глазки с красными веками в книгу и кладет сухой, крючковатый и коричневый палец на грязные косточки счет.

— Ну-кося, господи благослови!

И старуха крестится, благоговейно взглядывая на божницу. Потом она переводит глаза на палец мужа, то и дело передвигающий косточки, и следит за ним, смачно прихлебывая с блюдечка чай. Минут пять вся комната полна шелканьем косточек, шепотом старика, читающего цифры, и бульканьем чая в горле старухи. Ее сморщенное, как смятая перчатка, лицо — полно внимания, большие черные, тусклые глаза не отрываются от счет.

У него на лице — напряжение математика, решающего сложную задачу.

— Мыло... полфунта шесть копеек, махорка четыре копейки... гривенник... н-да... А всего итого отпущено сегодня в долг на два шесть гривен! Вот как!

— Мишка-сапожник отдал восемнадцать копеек? — осведомляется старуха.

— Сапожник? Просил приписать к старому долгу. Это дело пропащее... и зачем ты ему отпустила?

— Да я, говорит, в субботу отдам все...

— Как он может отдать? Жена у него больная, сам он без работы, а Манька знать их не хочет... гуляет себе и больше никаких.

— Да ведь у тебя расписка на него есть?

— Расписка есть... Возня. К мировому надо, а он, мировой-то, по гривеннику с листа прошения возьмет... да разная другая канитель... Глядишь — вместо пяти-то сорока и получишь четыре целковых, а это не резон...

— У них благословенная икона есть в серебряной ризе... она рублей в восемь ценой... — напомнила старуха.

— Это я знаю... Прохвост — заложит, пожалуй...

— Пускай заложит — ведь не кому другому, а все нам же...

— Нам-то, нам... да ведь под нее надо дать хоть целковый, а с долгом-то это уж будет шесть сорок...

— И то мы в барыше...

— Мы всегда будем в барыше, потому мы с тобой люди прозорливые... А только и то надо помнить — какой барыш...

— Ну, уж не все помногу...

— И это верно... Да-кось мне медку-то!

Минуты две продолжается молчание, прерываемое только звучным схлебыванием чая с блюдец. Старики сосредоточенно дуют на дымящийся чай и посматривают в открытое окно на ночное, торжественно важное небо и на яркие звезды его...

— А опять вызвездило,— говорит старик, выпив свой стакан,— завтра ведрено будет.

— Теперь такие дни должны быть сплошь до нового месяца... Месяц будет обмываться — опять дожди пойдут,— поясняет старуха.

— А как ты думаешь про Загарину-барыню?..

— А думаю так, что надо будет исполнительный-то лист пустить в действие. Описать у нее все хурды-мурды, да и вчистую ее...

— В богадельню-то ее не приняли...

— Н-ну?! Значит, надо поторопиться нам, а то она все продавать учнет. Чем ей, кроме, жить?

— На паперть — одна дорога... Онамедни к ней татары приходили... Я смотрела — продаст чего или нет? Не продала...

— Видишь? Завтра я ее подожду. А может, она и продала что мелкое?

— Кажись бы, нет...— с сомнением сказала старуха.

— Погибла дворянка...— помолчав, решил старик.

— Да уж... Все они теперь так хизнут...

— Ну, туда и дорога. В свое время пожили, попиrowали... теперь давай дорогу другим.

Старик многозначительно улыбнулся, взглянув в лицо своей жены, и оба они перевели глаза на портреты, стоявшие за самоваром. На одном из них был снят рослый гимназист с угловатым, резким лицом, на другом — полная девочка с длинной косой, переброшенной через круглое плечо на грудь, и высоким лбом с упрямой складкой над переносьем.

— Вот они... новые-то жители земли...— кивнул головой старик, и его сухое, острое лицо оживилось доброй и мягкой улыбкой... Старушка тихонько хихикнула, тоже вся преображенная. Но это скоро прошло у них, ибо еще не вполне наступил час нежных чувств.

— Лександру-то надо будет послать рублей... с четвертную,— начал задумчиво и хмуро старик.— Хоша он за урок и получает, однако в таком кругу ему нужно следить за собой. Брюки, там, новые, и все такое. Товарищи... Тоже молодость...

— Испортъ его, смотри! — предупредила старуха.

— Сашутку-то?.. Его тысячами не испортишь,— он свою дорогу твердо знает. Вот я с Загариной да с Унженцова взыщу и пошлю ему.

— Чай, и Соне пора высылать...

— И Соне пошлю... Не бойсь, не забуду...

— И как она, я все думаю, живет там, среди чужих-то? То-то, чай, дико бедненькой девоньке... — пригорюнилась старуха.

— Ничего... живет! Пишет — хорошо. Столичные — народ вежливый, смирный, — не наш брат... Вон третьеводни Сачков какой скандал поднял... Орет: «Донесу!» Говорит: «Заклады тайно принимаешь!.. Подай, говорит, мои вещи». А проценты седьмой месяц, мошенник, не платит. Теперь под заклад-то ему я дал тридцать, считай — по полтора рубля в месяц — уж и стало тридцать девять... Этого не понимает, кривая рожа... «Донесу!» А доноси! Найди у нас что-нибудь, ищи, вот те все сундуки!

Старик взволновался: у него покраснел и задрожал нос и очки запыгали. Он даже закашлялся от негодования.

— А господь с ними со всеми, — миролюбиво сказала старуха и добавила: — Что они нам могут сделать? Покричат — да к нам же в нужде своей придут. А что не любят нас в околотке — пускай! Нас есть кому любить... — Она кивнула головой на портреты и снова мягко улыбнулась.

— Это так, — соглашался старик, успокаиваясь. — Это верно... Но все-таки, ежели я захочу прытко действовать, — পুলিশы как после пожара очутятся. По миру пойдет!.. Потому — документы! — И он, внушительно стукнув сухими пальцами по столу, строго посмотрел на жену.

— А господь с ними, пускай их живут, — неизменно твердила старуха. — Чего ты серчаешь, коли тебе твоя сила известна?

— Обидно, мать, понимаешь? Одни мы, что ли, на земле — грешники? А выходит — как бы одни... Все на нас зубы точат, все злорадствуют.

— А нам больно наплевать, — философски возразила старуха. — Али господь-батюшка не видит, для чего мы с тобой живем? Он все видит! Его святой суд будет, — ну, и ответим мы пред ним... А люди нам не помеха...

— Это верно... — спокойно сказал старик. — Напилась ты? Ну, так собирай да ложись, а я псалтирь почитаю часок...

— Ну-ну, я сейчас... Почитай-кося, и утихомиришься словом-то божьим. А серчать, я тебе всегда говорю, не надо. Не для себя ведь мы, — для родных, кровных детей. Вырастим их, выучим, — они вину нашу пред господом людям заслужат. Будут образованные, царевы и богovy верные люди. Ну, ради них мы и согрешим, так, чай, не во грех будет зачтено. Ведь и птичка божия, птенчиков своих выкармливая, жучков да божьих коровок клюет, — так-тося...

— Это истинно... Будет Соня докторшей, а Санька учителем.

— А он ведь адвокатом хотел? — быстро сказала старуха, перестав мыть чашки.

— Расхотел. Чай, я читал тебе письмо-то? Перехожу, говорит, на филагогический... в учителя, значит, — пояснил старик и, задумчиво глядя на портрет, добавил: — Да-а-леко он пойдет! Твердая у него голова.

— Дай-ко ты, господи! — молитвенно сказала старуха.

— И Соня тоже... Вознаградил нас господь бог за наши труды... да! Удались нам детки! — воскликнул старик.

— А ты еще скулишь — люди, люди! А что нам люди? Зачем нам люди?

— И верно! Ах, мать, и как это верно ты сказала!

Он даже глаза зажмурил от удовольствия и с улыбкой покачал головой, а его старуха, опершись руками о стол, улыбалась двум портретам глубоко нежной улыбкой матери.

— Ну, готова я, садись, читай. А я богу молиться стану,— сказала она, оторвавшись от стола.

— Налюбовалась...— счастливо засмеялся старик.

...Через несколько минут в маленькой, тесно заставленной комнате сделалось тихо. Небо все смотрело в ее широкое окно, и звезды блестели на нем. На улице было безмолвно и темно.

Стоя на коленях перед божницей, закинув голову назад, так что затылок почти ложился на горб, старуха с влажными глазами, как бы задыхаясь, прерывисто шептала слова своих молитв:

— Помоги ей, господи, сохрани ее, милостивый!

А старик монотонно, растягивая слова и произнося их в нос, вполголоса читал:

— «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых и на пути грешных не ста...»

## ВСТРЕЧА

*Набросок*

— Сколько же отсюда верст до этой... как ее?

— До Березянки-то? Верстов тридцать, поди... а то и с излишком.

Спрашивал высокий человек в бобровой шапке и длинной верблюжьей шубе, отвечал краснорожий, лысый мужик, низко подпоясанный по замазанному полушубку красным кушаком. Оба они стояли на крыльце постоянного двора, мужик, сняв шапку, вертел ее в руках и, переступая с ноги на ногу, колыхал своим большим животом, ожидая, о чем еще спросит его проезжий. А проезжий, медленно очищая от сосулек концы своих пышно убранных инеем усов, смотрел на снег, ослепительно блестящий на солнце, и задумчиво шурил большие, усталые глаза.

— Верст сорок, значит? — спросил он.

— А може, и сорок... В горницу пожалуете али по деревне сделаете прогулочку?

Деревня состояла из двух десятков бугров снега, на ярком фоне его кое-где торчали закопченные трубы печей, выглядывали темные углы крыш и стен, тускло смотрели стекла кривых окон, а в одном окне разбитое стекло, заткнутое красной тряпичей, было похоже на громадный вытекший глаз. Бугры снега неподвижными белыми волнами лежали и на улице, лучи холодного солнца усеяли их миллионами остро сверкавших искр. Пронесился ветер и вдруг гасил их сияние, вздымая белые дымки, — но, потухшие на земле, они вспыхивали в воздухе и с шорохом исчезали куда-то. Было очень холодно, и изо рта проезжего дыхание вырывалось клубом белого пара прямо на лысину говорившего с ним мужика.

— Пойдем в горницу... А долго ждать?

— Самую малость... в полчаса время мы вас снарядим.

Радостно взвизгнул дверной блок, и красное лицо мужика оза-рилось счастливой улыбкой, когда он, распахнув дверь в сени, с тревогой и надеждой спросил:

— Самоварчик прикажете? Яички, молочко... колобашка пшенисная?

— Тащи, но, пожалуйста, брат, недолго возись...

— Живым манером... — И он скрылся с быстротой, совершенно непостижимой при его животе.

Проезжий сбросил с себя шубу, потом снял меховое пальто и остался в толстом сером костюме и в высоких, по колено, теплых сапогах.

Лицо у него было полное, сытое, раздумянное морозом, прядь длинных волос упала на высокий лоб в тонких морщинах, глаза, большие и умные, смотрели задумчиво... Он, зевая, сел за стол и осмотрелся. Маленькая, оклеенная газетной бумагой и листами какого-то журнала с картинками комната представляла собой правильный четырехугольный ящик. Давно немытый потолок был черен от копоти, а стены комнаты желты от бумаги, выцветшей и засиженной мухами. У стены стоял большой стол, выдвигавшийся до половины комнаты, по бокам его — лавки... Два окна освещали все это. Пахло чем-то сложным и тяжелым. Было тихо и убийственно скучно.

Проезжий закурил папиросу, встал со скамьи и начал ходить по комнате. Одно из темных пятен на стене привлекло его внимание своей странностью, — оно изображало девушку с букетом цветов в руках, поместившуюся на вершине дерева, одной с ней величины. Он подошел поближе и увидел, что это склеены две разорванные картинки, — у девушки не было половины туловища, и дерево было подклеено как бы в виде продолжения девицы. Проезжий улыбнулся и стал рассматривать другие картинки. Одна изображала снимок с группы «Чичерровакио с сыном, расстреливаемый австрийцами», рядом с ней помещалось «Стадо бизонов в пампасах». Рядом с бизонами — портрет Тьера, но у Тьера было оторвано левое плечо, и вместо него к Тьеру подклеили «Берег реки Миссисипи». Было и еще много подобных картинок, перемешанных с газетными листами, и один из них крупным заголовком гласил: «Х-ая Газета» № 221-й 1867 года, августа 29-го дня...

Проезжий улыбнулся так, как улыбаются при встрече хорошего старого знакомого, — с любопытством, с радостью и со смущением, вызываемым смутным чувством какой-то неловкости.

Он смотрел, улыбаясь, на заголовок желтого листа, будившего в нем воспоминания о прошлом, о дне, в который он впервые пришел в редакцию этой газеты с первой своей рукописью, и о другом дне, когда эта рукопись под заголовком «За правду» явилась в

фельетоне газеты. Почти тридцать лет прошло с той поры... Давно уже не существует эта газета, и очень недолго она существовала. Около нее группировались все такие горячие головы и честные сердца, ее редакция всегда представляла собой что-то вроде химической реторты, в которой из разнообразных явлений жизни вываривались статьи, полные убедительных выводов, в то время убеждавших. Все, что творилось там, творилось горячо; сколько искренности, сколько молодой энергии кипело в этих людях...

Проезжий отошел от стены и снова сел за стол, мягко улыбаясь своим воспоминаниям. Они будили в нем то же очищающее душу чувство, какое будят воспоминания детства. Он думал о том, что все это было, да, и все это было хорошо и честно, но он не забывал и того, что все это теперь частью позабыто, частью осмеяно и что сам он далек от настроения и идей того времени, когда он начинал жить. Он ныне — писатель для салонной публики, поставщик изящных новелл, жрец искусства, а не поборник направления.

Краснорожий мужик внес большой, ярко вычищенный самовар. Самовар был чем-то разгневан — он шипел, бурлил, со свистом выпускал из отверстия крышки струю пара и, казалось, готов был соскочить со стола и куда-то бежать. Вся комната наполнилась звуками протестующего шепота, и стекла в окнах сразу запотели. Мужик вышел, потом внес дорожный поставец проезжего, тарелку, на которой лежало с десяток яиц, горшок молока, хлеб. Потом он стал у двери и, поправляя кушак, вопросительно уставился на барина, а тот, задумавшись, не видал его. Мужик тяжело вздохнул и спросил:

— Идтишь мне?

— Иди, — тихо сказал проезжий, не глядя на него.

«Почему это в молодости жизнь всегда кажется такой простой и ясной?» — думал проезжий, поглядывая на стену. Самовар, как бы недовольный тем, что на него не обращают внимания, все сильнее кипел и точно захлебывался от негодования. Но человек, сидевший против него, все более погружался в задумчивость. Вспоминалось много, и все это так славно трогало душу, овеявая ее мягким дыханием ласки, явившейся из забытой дали. Тогда он жил в такой же вот грязненькой и маленькой клетушке, как эта, а рядом с ним жил один товарищ, человек стойкий до фанатизма и впоследствии дорого заплативший за эту стойкость. В том же доме жила и «она»... Теперь она его супруга, и скоро истечет двадцать пять лет со времени свадьбы. Тогда она служила цензором его совести, источником его вдохновений, теперь... она его супруга, соединенная с ним холодной привычкой друг к другу, образовавшейся за эти четверть века. Четверть века!..

Самовар положительно выходил из себя.

Теперь и тогда — какие эпохи! Одна — вся в ярких огнях, полная энергии, самозабвения, донкихотства, эпоха великих

реформ, великих надежд, великих ошибок: трагическое и смешное, бодрое и мечтательное — все перепутывалось в ней и все было — крупно по меньшей мере. Теперь — туманно и серо, храмы пусты, боги забыты, души — нищи, иногда вспыхивает кое-где свет, но это блуждающий огонь, и вся жизнь по меньшей мере — мелочна и бедна.

Проезжий встал и, заложив руки за спину, опять подошел к стене. Как попал сюда, в глушь, этот старый газетный лист? И проезжий стал читать его, улыбаясь ему. Самовар несколько успокоился и начал скептически посвистывать, где-то мычал теленок и лаяла собака. Снег хрустел под окном.

Маленькие буквы, порыжевшие, замазанные грязью, засиженные мухами, с большим трудом составлялись в слова и фразы, но эти слова, эти фразы были хорошо знакомы проезжему, и в ответ на них в его душе звучало что-то, давно-давно не ощущавшееся ею. Эта искренность и этот огонь, смелый огонь убеждения, которые вошли в плоть и кровь автора, — где это они теперь? Только у стариков, бойцов за свободу.

Отведя глаза в сторону, проезжий встретился с осколком зеркала, прикрепленным гвоздиками к стене, и зеркало показало ему, что усы у него — седые и волосы на голове тоже сильно посребрены временем.

Ему стало неловко пред самим собой, и он, потеряв лоб, вздохнул. Да, он изменил, он холоден и бесстрастен к тем идеям, которые тогда были так близки ему и которым теперь нет места в жизни... Его ли это вина? Жизнь всегда сильнее человека. Сомнение вечно враждует с верой.

— Лошади-те готовы... коли что! — раздался голос мужика, заглянувшего в дверь.

— Хорошо... я сейчас, — отозвался проезжий. — Я выпью стакан и поеду...

— Да мне — как вам желательно, — возгласил мужик и скрылся.

В глаза проезжего бросился угол газетного листа. Он отклеился, свернулся в трубочку и как бы приглашал развернуть его. Проезжий так и сделал. Потом он согнулся и быстро выпрямился с красным от волнения лицом. На обороте страницы газеты был напечатан его фельетон, его подпись стояла на уголке. Ему сделалось и жалко себя и как-то радостно. Разве для того, волнуясь и горя, писал он, чтобы его трудом оклеивали стены постоянных дворов? Плоды первых, самых свежих соков его мозга, плоды волнений лучших дней его юности... И в то же время он чувствовал что-то радостное, острое от этой встречи с самим собой, с тем человеком, которого он давно уже прожил, от которого в нем, теперешнем, не осталось почти ничего.

«Хотя бы в форме фельетона, написанного более четверти столетия тому назад и оставшегося на грязном листе бумаги, заменяющей обои на постоялом дворе, — все-таки приятно уцелеть,



остаться в жизни», — говорило ему тщеславие профессионалиста. Но человек в нем был оскорблен. Он наморщил лоб, грустно усмехнулся и, подойдя к столу, стал заваривать чай.

Самовар меланхолично и тоскливо напевал о чем-то. Под окнами фыркали лошади. Маленькая фигурка, с ног до головы окутанная в рваные овчины и тряпье, тяжело ввалилась в дверь и пискливо произнесла:

— Скоро поедете, ай нету?

— Сейчас... а что?

— Ничего мо... домой бы я сходил переобуться, ежели не скоро...

— Сходи... поскорее только, паренек... — добродушно попросил проезжий.

— Ин схожу... А я не паренек... мне, чай, уж под шесть десятков годов есть... А то еще и больше... — объяснила фигура и вышла, прежде чем проезжий успел что-нибудь сказать ей.

«Что, если этот лист отклеить и взять с собой?» — подумал проезжий, прихлебывая чай. Но это показалось ему смешным и сентиментальным... Зачем?.. А сколько хорошего связано с этим фельетоном, сколько мечтаний о борьбе и славе. Борьба была, и ею завоевана известность, материальное благосостояние, солидное положение в обществе — положение «нашего талантливого беллетриста». Не много... и не мало. Меньше того, о чем мечталось, больше того, чего достигли другие. Но достигнуто ли равновесие души, сознание честно выполненных задач жизни, гордость собой?

Самовар то вздыхал, то посвистывал и повизгивал, — очевидно, переживал что-то вроде агонии.

— Фекла?! Где ты, черт, — раздался в сенях грозный окрик. — Иди-ка погляди, что теленок-то наиграл!

И вслед за этим криком тишина вокруг проезжего стала как-то скучнее и тяжелей. Ему все думалось; медленно и неотвязно кружились в его голове эти печальные думы. Давно не испытывал он ничего подобного, да и испытывал ли когда-либо с тех дней? Содержание их все незаметно, капля по капле, просочилось куда-то вон из души. Жилось покойно, и довольство жизнью было. Он едет к старому другу, такому же успокоившемуся человеку, едет к нему отдохнуть от работы, поболтать о столичной жизни. У него было хорошее настроение до этого постоянного двора, где, по велению судьбы, он встретился с самим собой, с собой, в виде юноши-мечтателя... Что, собственно, написано, что сказано им в этом фельетоне?

Бросив пить чай, он отправился к стене и осторожно, с озабоченным лицом стал отдиравать от стены угол газеты. Бумага отстала немного и начала рваться. Проезжий остановился, склонился к желтому клочку... прочел его. Там было строк сорок крайнего газетного столбца да второго с краю строк пятнадцать.

Речь шла о каком-то Петре, который сказал «ей»: «Прощай, наши дороги разны! Ты жертва твоей среды и воспитания, тебе нет иной дороги в жизни, кроме паркета!.. А я...» — и, гордо махнув рукой вдаль, он, этот Петр, исчез.

Проезжий задумался, потирая лоб. Кто этот Петр, и кто она? Как они встретились? Весь фельетон тут, в одном номере, или нет? Наивный, детски прямой рассказ, написанный во время веры в возможность на земле всего хорошего. Но... он позабыл его содержание. Позабыл!

Проезжий конфузливо улыбнулся, подошел к столу, одним глотком выпил чай и пошел к двери. Но она сама отворилась навстречу ему, и пискливый голос произнес, исходя из кучи овчин:

— Переобулся... буде что, можно ехать... Лошадки-те смерзли...

— Сейчас оденусь... пошли хозяина.

— А я тут...

Краснорожий мужик весело улыбнулся, за ним стояла баба в сбитом набок платке и одним глазом смотрела из-за его плеча на проезжего.

— Сколько тебе? — спросил проезжий, надевая пальто.

— А сколько пожалуете... вы не наш брат, мужик, и не обидите. Я по совести с господ...

— Рубль будет?

— И рубль будет... — со вздохом сказал мужик. — К нам господа совсем даже не часто ездют... От трахту мы очень в стороне. Господа для нас — праздник...

Он говорил печально и с явным желанием прибавки.

Но проезжий, влезая в подаваемую им шубу, не слушал его ноющей речи и все поглядывал на стену, где от движения воздуха колебался клоч отодранной им газеты.

Он точно манил к себе.

Вышли в сени. Мужик и баба сопровождали проезжего.

— Погодите... я ворочусь на минутку, — сказал он им и снова вошел в комнату, прошел к стене и, оторвав клоч газеты, смял его в руке.

— Ишь ты, какой запасливый, — шепнул краснорожий бабе, улыбаясь во весь рот. Проезжий подметил эту улыбку и нахмурился.

...Через полчаса он был среди широкой снежной пустыни, розовой в лучах заходившего солнца. Заложенные гуськом лошади бойко бежали по извилистой мягкой дороге, маленькие санки подергивало, и ямщик качался с бока на бок, говоря скрипучим своим голосом:

— Пареньком-то я был лет тридцать время тому. Н-но-но! Прыткие... А теперича я гробовой житель... н-да. Кабы был хлебушко... лежал бы я на пече... а вот еду... беднота потому... У ты, убогая скотина!

Проезжий, стучаясь спиной о задок саней, старательно расправил клоч газетной бумаги и еще раз прочитал его. Поднимался ветер, и с сугробов срывались кисейные ткани снега, летая в воздухе. Бумага шелестела в руках проезжего, смотревшего на нее с печальной улыбкой. Тихо-тихо поскрипывал снег под полозьями саней и шуршал о рогожный верх повозки.

Проезжий медленно оторвал от клочка газеты маленький кусочек и пустил его по ветру. Тот забился в воздухе, как желтый мотылек, и исчез. За ним полетел другой, третий... и последний.

## ЧАСЫ

### I

Тик-так, тик-так!

Ночью в тишине и в одиночестве жутко слушать бесстрастное красноречие маятника часов: звуки монотонные и математически правильные, однообразно отмечающие всегда одно и то же — неустанное движение жизни. Тьма и сон объемлют землю, все молчит, — лишь часы холодно и громко отмечают исчезновение секунд... Маятник стучит, и с каждым звуком жизнь сокращается на секунду, на крошечную частичку времени, данного каждому из нас, на секунду, которая уже не вернется к нам. Откуда являются секунды, и куда они исчезают? Никто не ответит на это... И есть еще много вопросов, на которые не отвечено, есть другие, более важные вопросы, и от разрешения их зависит наше счастье. Как жить, чтобы сознавать себя нужным для жизни, как жить, не теряя веры и желания, как жить, чтоб ни одна секунда не исчезала, не волнуя души и ума? Ответят ли когда-нибудь на все это часы, движению которых нет конца, — что скажут на это часы?

### II

Тик-так, тик-так!

Нет ничего на свете бесстрастнее часов: они одинаково правильно стучат и в момент вашего рождения, и в то время, когда вы жадно срываете цветы грез юности. Со дня своего рождения каждый день человек становится ближе к смерти. И когда вы будете хрипеть в агонии — часы будут сухо и спокойно считать ее секунды. В их холодном счете — прислушайтесь — звучит нечто все знающее и уставшее от этого знания. Ничто, никогда не волнуется и не дорожит им. Они равнодушны, и нам, если мы хотим жить, — нужно создавать себе иные часы, полные ощущений и мысли, полные действий, чтоб заменить эти скучные, однообразные, убивающие душу тоской, укоризненно и холодно звучащие часы.

### III

Тик-так, тик-так!

В неустанном движении часов нет неподвижной точки, — что же мы называем настоящим? За одной родившейся секундой рождается вторая и сталкивает первую в бездну неизвестного...

Тик-так! И вы счастливы. Тик-так! И вот вам в сердце вливается жгучий яд горя, и оно может остаться на всю жизнь с вами, на все часы данной вам жизни, если вы не постараетесь наполнить каждую секунду вашей жизни чем-либо новым и живым. Страдание соблазнительно; это опасная привилегия; обладая ей, мы обыкновенно не ищем другого, более высокого права на звание человека. А его так много, этого страдания, что оно стало дешево и почти уже не пользуется вниманием людей. Поэтому едва ли стоит дорожить страданием, — следует наполнять себя чем-либо более оригинальным, более ценным, — не так ли? Страдание — обесцененный фонд. И не следует жаловаться на жизнь кому бы то ни было: слова утешения редко содержат в себе то, чего ищет в них человек. Всего же полнее и интереснее жизнь тогда, когда человек борется с тем, что ему мешает жить. В борьбе незаметно протчнутся тоскливые и скучные часы.

### IV

Тик-так, тик-так!

Жизнь человека до смешного кратка. Как жить? Одни упорно уклоняются от жизни, другие всецело посвящают себя ей. Первые на склоне дней будут нищи духом и воспоминаниями, вторые — богаты и тем и другим. И те и другие умрут, и от всех не останется ничего, если никто не будет бескорыстно отдавать жизни свой ум и сердце... И когда вы будете умирать, часы бесстрастно будут считать секунды вашей агонии — тик-так! И в эти секунды родятся новые люди, по несколько в каждую, а вас уже — нет! и ничего не останется в жизни от вас, кроме вашего тела, которое будет дурно пахнуть. Неужели же ваша гордость не возмущается этим автоматическим творчеством, которое бросило вас в жизнь, потом вырвало из нее и — только? Укрепите же в жизни память о себе, если вы горды и оскорблены вашей подчиненностью тайным задачам времени. Подумайте о вашей роли в жизни: был сделан кирпич, потом он лежал неподвижно в одном здании, потом рассыпался и исчез... И скучно и пошло быть кирпичом — не правда ли? Не ходите же на кирпич, если у вас есть ум и душа и если вы хотите испытать в жизни хорошие, полные чувствований и дум бурные часы.

## V

Тик-так, тик-так!

Если вы задумаетесь о том, что теперь значите вы в беспредельном движении часов, — вы будете подавлены сознанием вашего ничтожества. Да оскорбит вас это сознание! Да возбудит оно в вас гордость, и пусть вы почувствуете вражду к жизни, унижающей вас, и да объявите вы ей борьбу. Во имя чего? Когда природа лишила человека его способности ходить на четвереньках, она дала ему, в виде посоха, — идеал! И с той поры он бессознательно, инстинктивно стремится к лучшему — все выше! Сделайте это стремление сознательным, учите людей понимать, что только в сознательном стремлении к лучшему — истинное счастье. Не жалуйтесь на бессилие, и ни на что не жалуйтесь. Единственное, что может принести вам ваша жалоба, — это сожаление, милостыня нищих духом. Все люди одинаково несчастны, но более всех несчастен тот, кто украшает себя своим несчастьем. Эти же люди более всех других жаждут внимания к себе и менее всех достойны его. Стремление вперед — вот цель жизни. Пусть же вся жизнь будет стремлением, и тогда в ней будут высоко прекрасные часы.

## VI

Тик-так, тик-так!

«На что дан свет человеку, которого путь закрыт и которого ты окружил мраком?» Это старый Иов спрашивал у бога. Нынче уже нет таких смелых людей, которые, помня, что они дети бога и созданы им по образу и подобию его, говорили бы к нему, как Иов, и вообще дешево ценят ныне люди себя. И мало любят жизнь, и даже себя любят неумело. И в то же время боятся смерти, хотя никто не избежит ее, как это известно. Неизбежное — закономерно. Ведь человек с той поры, как явился на земле, — все умирает, и к этому надо привыкнуть, пора. Сознание выполненной задачи может уничтожить страх смерти, и честно пройденный путь жизни даст покойный конец. Тик-так... И от человека остаются только одни дела его. И прекращаются для него часы вместе с его желаниями, и наступят иные часы — часы оценки его жизни, суровые часы.

## VII

Тик-так, тик-так!

В сущности, все довольно просто в этом запутавшемся в противоречиях, во лжи и злобе живущем мире. И было бы еще проще, если бы люди всматривались друг в друга и каждый имел за собой друга.

Один, если он и велик, все-таки мал. Необходимо понимать друг друга: ведь все мы говорим темнее и хуже, чем думаем. Человеку не хватает много слов, чтоб открыть свое сердце пред другим, и поэтому много крупных и важных для жизни дум

пропадает бесследно, оттого что для них своевременно не нашлось нужных форм. Рождается мысль, есть искреннее желание воплотить ее в слова, в твердые и ясные слова... а слов — нет.

Больше внимания к мысли! Помогайте рождаться ей, она всегда окупит ваш труд. Везде и во всем есть мысль, — даже в трещинах камня вы прочтете ее, если захотите этого. Если люди захотят, они всего достигнут; если они захотят, они будут владыками жизни, а не рабами ее, как теперь. Только бы явилось желание жить, гордое сознание силы своей, и вся жизнь представит собой прекрасные часы, полные явлений силы духа, поражающие благородством подвигов, — великие часы.

### VIII

Тик-так, тик-так!

Да здравствуют сильные духом, мужественные люди, — люди, которые служат истине, справедливости, красоте! Мы их не знаем, потому что они горды и не требуют награды; мы не видим, как радостно сжигают они свои сердца. Освещая жизнь ярким светом, они заставляют прозревать даже слепых. Нужно, чтобы прозрели слепые, которых так много, нужно, чтоб все люди с ужасом и отвращением увидели, как груба, несправедлива и безобразна их жизнь. Да здравствует человек, владыка своих желаний! Весь мир — в его сердце; вся боль мира, все страдание людей — в его душе. Зло и грязь жизни, ложь и жестокость ее — его враги; все часы свои он щедро тратит на борьбу, и жизнь его полна буйных радостей, красивого гнева, гордого упрямства... Не жалей себя — это самая гордая, самая красивая мудрость на земле. Да здравствует человек, который не умеет жалеть себя! Есть только две формы жизни: гниение и горение. Трусливые и жадные избегают первую, мужественные и щедрые — вторую; каждому, кто любит красоту, ясно, где величественное.

Часы нашей жизни — пустые, скучные часы; наполним же их красивыми подвигами, не жалей себя, и тогда мы переживем красивые, полные радостного трепета, полные жгучей гордости часы! Да здравствует человек, который не умеет жалеть себя!

## ШАБРЫ

### *Рассказ*

...Тяжело дыша и фыркая, усталая лошаденка Комова вывезла телегу на вершину холма и, понутив голову, стала, широко раздувая бока.

— Ах ты, привередница, — добродушно проворчал хозяин и спрыгнул на землю, желая поправить сбрую.

Он был настроен великолепно. Поездка в город удалась ему как нельзя более хорошо, он выгодно продал пару боровов и теленка, условился с одним купцом насчет одной работы на зиму и даже задаток получил с него, купил своему парнишке Федьке сапоги, девчонкам — по платку, жене — покрывало на шубу, потом разных городских гостинцев. И не раз он уже мечтал дорогой, как это он придет домой, ребяташки обступят его и будут ныть:

— Тя-атенька, покажи, чай, чего привез?

Жена тоже будет довольна. Потом сядут пить чай. Придет кто-нибудь из знакомых и станет спрашивать насчет города, как там цена на хлеб стоит, много ли его, и нет ли какого разговору насчет земли.

— Стой, дуреха! — прикрикнул Комов на лошадь. У нее была стерта хомутом кожа на плече, и она шарахнулась в сторону, когда Комов стал поправлять хомут. С холма пред Комовым развевалась широкая картина, выписанная тусклыми, как бы выцветшими красками осени. Прозрачный воздух открывал далекие горизонты, во все стороны тянулись пустынные, щетиновые поля. Кое-где на них возвышались копны хлеба, зеленые полосы озимей резко бросались в глаза, маленькие рощи были расцвечены в краски, ярко-рыжеватые одинокие деревья и кусты стояли среди полей, почти уже оголенные ветром осени.



Дороги темными лентами вились по полям. И навсем лежал этот странный, как бы пропитанный туманом колорит старых, выцветших от солнца картин.

Солнце лило с безоблачного неба на эту холмистую равнину холодный свет, и меланхолия увядания не оживлялась этими неласковыми лучами. Точно в солнце угасли страсти, и оно светит земле по обязанности. И в резких порывах ветра чуялось холодное веяние зимы.

Комов посмотрел на все это и вздохнул. Просто так вздохнул — без грусти и без удовольствия. Более сорока раз встречал он в своей жизни осень, самое сытное время для мужика. Он впрыгнул на телегу, ударил лошаденку вожжами и крикнул ей:

— Н-но, шагай, милая!

До деревни осталось верст с двадцать, а солнце уже было низко.

— А не подвезешь ты меня малость, добрый человек? — раздался спокойный, немного хриплый голос сзади Комова.

Он даже вздрогнул. За задок телеги держался рукой высокий человек в толстом рваном пальто, подпоясанном красным кушаком. На голове у него была плотно надета меховая шапка с наушниками, в руке он держал здоровую палку из березы с обделанным на конце корнем, величиной с мужицкий кулак. Лицо его было как будто знакомо Комову. Когда Комов обернулся и взглянул на него, тот поклонился ему, а Комов ответил на поклон нерешительно и с некоторой тревогой сказал:

— Пристала лошаденка-то у меня...

— Да ведь дорога-то под гору...

— Оно так... Садись ин, для бога... Садись вот, рядом-то.

Тот положил вдоль телеги свою палку, сел на нее и, сунув руку за пазуху, улыбаясь, сказал:

— Ну, вот и спасибо... Верст пяток с костей долой.

Потом вынул кисет и, наклонясь над ним, стал набивать трубку. Тревога Комова несколько уменьшилась, когда попутчик положил свою палку, и он стал соображать, где это он видел такого человека? Думая об этом, он думал также и о том, что местом они едут глухим и что, хоть и слышно, как молотят в Осинках, но, ежели кричать придется, — едва ли кто услышит. Осторожно запустив левую руку в карман штанов, он набрал в руку штуки четыре крупных медных денег и крепко сжал их в пальцах. В случае чего — все-таки тяжелее ударишь. Пожалуй, этот парень помоложе лет на десять, да и посильнее его — вон шея-то какая!

А парень курил трубку, спокойно смотрел вокруг и молчал, болтая ногами в новых лаптях и онучах.

— Далече тебе? — спросил Комов, искоса следивший за ним.

— До Сояновки...

— Н-ну? А я ведь сам сояновский, — с удовольствием вскричал Комов. Коли этот человек едет в одну деревню с ним, —

значит, никакого греха не может быть...— Ишь ведь... К кому же ты... по каким делам, собственно? То-то я тебя как бы видал где, лицо у тебя будто знакомо мне... Ты в батраках у Сизова купца не жилал ли?

— В батраках я не жилал,— вполголоса ответил попутчик и, спрятав трубку в карман, поднял несколько шапку со лба:

— Та-ак,— сказал Комов,— значит, по своим делам? Чьих же ты будешь?

Тогда попутчик тихонько засмеялся и негромко сказал:

— Эко память у тебя какая стала, Игнат Иванович! Больше тридцати годов мы с тобой бок о бок жили и землю тоже рядышком всегда ковыряли... А пяти годов не прошло — и забыл ты шабра...

— Тпру-у! Стой! — вдруг зашептал лошади Комов, дергая ее вожжами, хотя она уже встала. У него сразу вспотел лоб и шапка съехала на затылок. И ему казалось, что доносившийся издали шум молотьбы раздается теперь в его груди и голове.

— Николай! — схватив шабра за плечо, зашептал он с ужасом на лице, оглядываясь вокруг, прислушиваясь и вздрагивая. — Как же ты? Ведь на двенадцать лет тебя?.. Сбег, значит? Ах ты... как же это? а? Я-то... посуди сам...

— Ты не бойся,— спокойно сказал Николай, ударяя своего шабра по колену и посмеиваясь. — Ничего не будет... ни тебе... ни кому... Я сбегать-то сбегал, но хватиться меня не могут там... Так устроено. Ведь розыска обо мне не было?

— Не было, брат, не было, но что-что... А все-таки — разве можно этак, без опаски? Вот мне, например, объявился...

— Так, чай, ты какой мне друг... старинный...— ласково улыбаясь, сказал Николай.

— Да ведь другие узнают! — вскричал тревожно Комов.

Лошадь шла шагом, а седики, не обращая более внимания на нее, смотрели друг на друга с самыми разнообразными чувствами. Комову было страшно. Вот он везет к себе в деревню человека, осужденного за убийство конокрада на двенадцать лет каторги. Положим, не один он виноват в этом деле, но он осужден и бежал с каторги. Что он за человек теперь? Раньше, до того дела, Николай Брагин хороший мужик был, и с Комовым они жили душа в душу. Комов вспомнил, как он был дружкой у Николая, а потом Николай пировал на его свадьбе, и как они, бывало, одолжались друг у друга разной разностью. Вообще примерно, хорошо жили. Но теперь, после каторги, что за человек стал Николай?

А Николай смотрел на шабра с неопределенной улыбкой, и лицо его то и дело изменялось. Он тоже вспоминал прошлое, ду-мал о жене, о ребятишках и спрашивал о них Комова.

— Жена — живет... Ничего, она баба в работе упорная. Митюшка малый бойкий такой, а Марья-то в школу ходит... Она слаба. Сирота из Песчанки, подросток, живет с ними. Тихий

такой, работающий. Он вроде батрака... Жена у тебя, Николай, держится...

И, говоря это, Комов все думал — а что, как Николай-то греха какого натворит в деревне? И потом обнаружится, что это он вот, Комов, привез его... Не объявить ли старосте про все это? Так и так, мол, беглый каторжный человек приехал со мной, но я в этом не виноват. Али я мог его не подвезти? Я бы ему отказал, а он меня дубиной своей хватил бы по голове и все равно пришел бы в деревню.

— Да ты чего так сомутился, Игнат Иванович? — задумчиво и с легонькой усмешкой сказал Николай и с горечью прибавил: — Али боишься меня, что я каторжник? Так я, брат, на каторге-то и не был...

— Это как то есть? — недоверчиво спросил Комов.

— А так... не дошел до нее...

— С дороги бежал?

— Вроде этого... Видишь ты, обменялся я именем своим с одним человеком... А он был больной совсем... Ну, он умер, на одном этапе... а вышло, что умер-то я, а он бежал. Понял? — И Николай добродушно захохотал.

— Да... вон оно что, — задумчиво протянул Комов. — Ну, и что же теперь будет?

— Это со мной-то? — спросил Николай.

— Ну да... Как же ты теперь полагаешь жить? Ведь в Сояновке невозможно... Все узнают. Земский у нас... охо-хо-о!

— В Сояновке! Тоже сказал! Я, брат, Игнат Иванович, не в Сояновку... а за Дунай иду. К румынам. Там, говорили мне знающие люди, живут русские казаки... Так вот я к ним и доберусь. А в Сояновку... надо, чай, на жену с детишками хоть глазом взглянуть... ты как насчет этого?

— Это конечно. Это дело доброе... Как же? Н-да... а все-таки опасно... вдруг признает кто? Ведь что тогда будет?

— Тогда-то? Нехорошо будет. Опять в Сибирь пойду. А ты вот что: я доеду до рощи да в ней и слезу, лягу там и дождусь ночи — так? А ты, как приедешь домой, Палাগее-то моей и пошепчи: муж-то, мол, твой, Палага, тут, поблизости... жди сегодня ночью. Сделаешь?

— Известно, сделаю... — сказал решительно Комов и глубоко задумался.

Брагин снова вытащил из-за пазухи трубку и закурил. Ехали по ложине, промытой дождями. С одной стороны ее опускался крутой глинистый обрыв, другая, пологая, была покрыта желтой травой, вялой, уже хваченной утренниками, и вся лощина представляла собой узкую и длинную тропу, опускающуюся вниз, как бы в землю. Впереди виднелись полуголые вершины деревьев, и бедная, редкая листва их была раскрашена в яркие краски осени.

— Вот что я скажу, Николай, — глухо заговорил Комов, не глядя на шабра. — Человек ты был хороший... это так, что уж

говорить. Но... сердись ты на меня не сердись, а надо говорить правду. Дело у нас такое... вострое, что, если не говорить нам про него по правде, — большой грех может выйти. Н-да...

— Да ты, Игнат, чего все только размахиваешься? Бей сразу! — усмехнулся Брагин и враждебно посмотрел в лицо Комова.

— Ну, это ты напрасно... «Бей!» Чего мне тебя бить? Али ты думаешь, мне не жаль тебя? — Комов тяжело вздохнул и смущенно продолжал: — Знаю я, какой ты был человек, и знаю, что не один ты в этом деле виновен. Но кто ты таков теперь? Вот оно в чем дело-то. Что ты за человек стал после всего этого? От мира деревенского ты отрезан напрочь...

— Ну? — тихо сказал Брагин.

— Ну... вот я хочу тебе сказать, Николай, такую штуку... Я человек мирской... мне мир — стена каменная... и у меня в миру место свое есть. А я могу из-за тебя его потерять.

— Да не бойсь ты! — тихо и просительно сказал Брагин. — Не бойсь за себя-то... не сделаю я для тебя худа.

— Нет, я — за мир боюсь. Вдруг ты чего-нибудь настроишь... склока поднимется, и все такое... Вдруг ты жену свою... сделаешь ей чего худое... или красного петуха недругу своему Кирилке-кабатчику подпустишь... ваш брат на это мастер. А кто будет виноват? Я — потому я тебя прикрыл.

— Игнат, побойсь бога! Али я не человек уж стал? — строго и громко воскликнул Брагин, и его лицо — худое и желтое — сердито нахмурилось.

Лошадь Комова, испуганная его возгласом, дернула, шабры покачнулись на телеге, Комов быстро оттолкнулся от Брагина и подозрительно посмотрел на него и придержал лошадь, потрусившую было рысцой.

— Я тебе и говорю, что не знаю я, кто ты теперь для мира, — вполголоса и угрюмо заговорил Комов. — Я вот сижу и думаю, что... надо мне с тебя клятбу взять для моего покоя и для вообще крестьянства...

Брагин молчал, покачивая головой.

— Так вот, Николай, дай ты мне клятбу, что в деревне ты только ночь пробудешь и зла никому не сделаешь... — твердо выговорил Комов.

— А то? — засмеялся Брагин сухо и зло.

— Ну... понимай сам, — тихо сказал Комов.

— Объявишь?

— Говорю... понимай сам...

Наступило молчание. Из ложины выехали к опушке рощи, и под колесами зашуршали груды сухих листьев. Их всюду было много, желтых и жалких, то и дело они срывались с деревьев и тихо, как бы недоумевая, кружились в воздухе, падали на землю, некоторые падали в телегу. Брагин поймал один из них на лету, посмотрел на него, взял в рот и стал жевать. Комов угрюмо

молчал. Солнце было скрыто за рошей, на поля ложились тени; и веяло холодом. И все вокруг смотрело так же холодно, неприветливо, и белые стволы берез казались уже покрытыми тонкой корой снега. Брагин тяжело вздохнул.

— Я побожусь, Игнат... это я могу...

— Вот и хорошо... успокоишь меня...— несколько сконфуженно сказал Комов.

— И-да-а... Встречал я таких людей, которые о крестьянах, бывало, как о зверье бессердечно говорят. Не понимал я их...— бормотал Николай.

— Мир, брат... В мире жить — миру и служить,— наставительно сказал Комов.— А пора тебе, Николай, слезать. Тут версты три места до деревни-то...

Комов соскочил с телеги, снял шапку и, наклонив перед шабром голову, замялся. Тот тоже сошел с телеги и тоже обнажил голову. Лошадь одним глазом смотрела, как они стояли друг перед другом. Полуголые ветви деревьев шуршали, листья падали с них, тени сгущались в глубине роши.

— Вот те Христос и святые угодники порукой,— вполголоса заговорил Брагин,— что я к утру уйду и никакого худа никому не сделаю — разрази меня господи!

— Вот, Николай, вот! Смотри же, божился! Ну, прощай! Не увидимся, чай, уж! — И, проговорив все это торопливо и с удовольствием, Комов широко размахнул руками и склонил голову набок. Брагин ступил шаг к нему, они обнялись, трижды поцеловались из щеки в щеку, и, не глядя на шабра, Комов прыгнул в телегу и ударил вожжей лошадь.

— Тпру-у!.. Николай! — все еще не глядя на Брагина, спросил он.— Еда у тебя есть? А то вот — баранки...

— Дай...— сказал Брагин. Он стоял все еще без шапки и опустил голову на грудь.

Комов торопливо порвался в мешке и подал шабру целые пригоршни наломанных баранок. Тот медленно выбрал их из рук Комова, спрятал себе за пазуху, и лицо его искривилось.

— Спасибо... Совсем, как нищему ты...

— Эх, Николай,— тяжело вздохнул Комов.— Отвык ты от мира... Не понимаешь мирского... Прощай!

— Прости, для бога, коли я что...

И, прыгая по избитой колее, по корням деревьев, лежащим на ней, как мертвые змеи, телега Комова покатила. Брагин надел шапку, долго смотрел вслед ей, потом вынул из-за пазухи кусок кренделя, сунул его за щеку и пошел в чашу роши, полную тьмы и шороха.

...Ночь была темная и ветреная. Густая и холодная тьма нависла над Сояновкой, небо и земля были одинаково черны, и только звуки давали знать о том, что где-то близко в этой тьме живут люди, скрытые ею. Как бы жалуюсь друг другу на тьму и холод, тоскливо выли две собаки, то перебивая друг друга, то вместе

выводя тоскливые и жалобные ноты. Порою ветер выл вместе с ними и что-то громко хлопало, порой шелестела солома на крышах и что-то скрипело — должно быть, плетень, колеблемый ветром. Сквозь сон мычали коровы, перхали овцы — порывы ветра разбрасывали эти звуки по воздуху, пропитанному тьмой, мешая их и создавая из них симфонию, щемящую сердце...

И вдруг раздавались звонкие удары металла о металл, заглушая собою все. Один за одним, с правильными интервалами, они падали в воздух как бы из высоты, одетой тьмой, и ветер долго носил их над деревней. Это ночной сторож бил в чугунную доску, повешенную против избы старосты.

Далеко от этой избы, почти на другом конце деревни, на колодезном срубе сидела неуклюжая, закутанная в тулуп фигура. Приподняв воротник тулупа, сложив руки на животе и наклонясь вперед, фигура медленно покачивалась, как бы разрешая тяжелую думу.

Это был Игнат Комов. Когда дома у него легли спать, лег и он, но никак не мог заснуть. Ему казалось, что он привез в деревню беду, а не своего шабра, когда-то хорошего человека, Николая Брагина. Что теперь этому Николаю деревня и ее жители? Оторванный он от нее человек. И, наверное, зол он на нее за это. Не один ведь он убивал тогда конокрада, а наказание за это на одного его пало. Как не сердиться? И как не пожелать худа тем, что вышли сухи из воды...

И Комову казалось, что Николай непременно подожжет деревню. А то может жену изувечить, потому что у нее за это время ребенок был. Она, конечно, баба молодая... а все-таки — как стерпеть такую обиду? Муж на каторгу ушел, а она — на-ко! — гуляет... Положим, он, Николай-то, может, и не увидит ребенка, Комов посоветовал Пелагее спрятать его куда-нибудь... Но все-таки было бы, пожалуй, правильнее объявить старосте и связать Николая... Связать, да и все. Покойно бы это... Жалко парня, вот какое дело. Может, он и впрямь в казаки проберется и проживет там снова человеком. Наголодался, чай, он, бедняга, наголодался... А вдруг он возьмет да чью-нибудь клеть и взломает, чтобы на дорогу себе достать чего-нибудь? Как тогда быть? Тогда уж придется Игнату Комову помалкивать про то, что он сам вора в деревню привез... А то ведь и к нему, старому приятелю, Николай-то может забраться.

И Комов несколько раз решительно вставал с лавки с целью пойти к старосте и рассказать ему про все. Но каждый раз воспоминания о старой дружбе и о покорном, грустном поведении Брагина в то время, как они ехали в деревню, — все это удерживало Игната, и он опять опускался на лавку.

Думы и боязнь осаждали его и мешали ему спать; то и дело ему казалось, что Николай ломится к нему в клеть... вот окно поскрипывает, половица дрожит... А вот шорох горящей соломы... запах дыма...

Наконец Игнат решительно поднялся и сел на лавке. Его осе-нила одна мысль — он оденется и пойдет сторожить на улицу. Сторож не увидит — от него можно спрятаться, когда он будет близко. Игнат бесшумно оделся, накинул тулуп и вышел из избы на улицу. И вот уже часов пять сидит он на ветру, то приляжет на завалинке Николаевой избы, то перейдет на колодезный сруб.

Скоро будет светать; а в избе Брагина темно и тихо, и это бес-покоит Игната. Пора бы шабру уходить. Комову хочется посту-чать в окно — может, он уснул там? Но что-то удерживает его, и, с тревогой поглядывая в небо, с любопытством в окна шабровой избы, Комов все ждет.

Но — как будто вспыхнула спичка в избе? На стеклах что-то блеснуло. Комов насторожился. Вот скрипнула дверь, и разда-лись шаги во дворе.

— Господи Иисусе! — перекрестился Комов. Уйти ему или проводить Николая за деревню? Лучше уж проводить и погово-рить с ним по душам...

На дворе раздались безудержные всхлипывания, тяжелые вздохи, и дрожащий от рыданий голос Пелагеи говорил:

— Прощай, болезно-ой! Николи-и-то я тебя не увижу-у! На кого ты покинул деток-то? Дьяволы они лютые... десятеро виноваты, а один ты за них лишился жизни...

— Не плачь,— глухо шептал Николай.— Я те говорю, уст-роюсь там, пришлю письмо, продавай все и поезжай... слышь? Не обманешь?

— Нико-олушка! Сейчас бы я с тобой пошла, не то што... Да разве мне легко от живого-то мужа вдовой жить? Загубленный ты мой, безвинный, горюн-то ты мой, побродяжка! Муженек ты мой разлюбезный, ты прости-прощай...

— Не реви, Палагея... услышат... вконец сгибну... Ну... прощай... ребят береги пуще глаз... жди письмо... и сразу жи-во собирайся... Пачпорт возьми... я, мол, в город на житье... деньги вышлю... как ехать, напишу... Прощай! — И стало тихо.

У Комова сердце жгло, когда он слушал все это. Ах ты, гос-поди, какая человеческая жизнь тяжелая! Слез-то сколько льют люди денно и ночью! Пресвятая богородица, защити и помилуй!

— Про-о-ща-ай! — застонала Пелагея и взвизгнула. Потом застучал запор у калитки, и темная фигура Брагина с палкой в руке выглянула на улицу...

— Уходи... Христа ради, уйди...— сдавленным голосом ска-зал он и вышел на улицу.

— Это я, Николай Степаныч... не бойся...— сказал Комов, становясь рядом с ним.— Айда-ко, я тебя деревней-то провожу.

Тот посмотрел на него и молча пошел. Он тяжело дышал, шмыгал носом и то и дело проводил по лицу рукой. Шел он бы-стро, и, несмотря на гул ветра, слышно было, как ноги его гулко били о мерзлую землю, точно он сердился на нее и старался топ-тать ее как можно тяжелее.



— Потише, Николай Степаныч... неровен час — услышит кто, — сказал Комов.

Шли против ветра, тулуп Комова все распахивался и путался у него в ногах.

— Ты... следил, Игнат? — спросил Брагин, не глядя на спутника.

Тот закашлялся почему-то.

— То есть я дожидал тебя... чтобы проводить.

— Проводить! Больно уж ты торопишься проводить-то меня.

Комов дрогнул — в словах Николая звучала и злоба и вражда. Небо серело там, далеко впереди их, а над ними было еще все черно. Из тьмы выступали тяжелые избы и снова исчезали в ней, — точно они медленно плыли мимо шабров, молча шагавших среди дороги.

— Эх! — воскликнул Брагин. — Из-за вас, псов, жизнь мою я изломал... Вы меня, камни вы бессловесные, раздавили.

Комов глубоко вздохнул.

— За мир ты, Никола... это хорошо, ежели человек за мир пропадает... Отпущение грехов.

— За мир! — зло передразнил Брагин, взмахнув палкой. — А что мне он — мир? Застоял он меня перед судом? По правде я наказание несу? Мир... сожрал он меня, мир-то твой.

Комов молчал. Верно ведь... Правды нет в этом деле.

— Выжечь бы вас всех тут... запалить с ветра, с крайней избы... вот бы вы и согрели... души-то ваши...

«Да воскреснет бог и расточатся врази его!..» — мысленно молился Игнат, ускоряя шаги. Скорее бы пройти крайнюю избу. А там поле... Али крикнуть... Нет, покуда кто прибежит — на смерть уложит Николай палкой-то.

— Коли мир, и человек тебе нужен — дорожи им... Грязь им не замашивай... А вы... все блудили, а один в ответе. За что я терплю? а?

— Николай Степаныч... Не шуми... Господня воля... терпеть тебе, а не другому.

— Молчи... езуит ты... Иуды вы все... Отзовутся вам... мои слезы... — Брагин отчаянно и громко ругался, цинично ругался, злобно, безбоязненно.

Комов дрожал. Что будет, коли услышат люди? С чего это, спросят, ты-то, Игнат, с каторжным разгуливал по деревне? И Комов клял себя беспощадно за то, что не объявил старосте...

Но вот вышли за околицу. Брагин шагал все так же стремительно, и Комов, весь трепетавший, точно в лихорадке, еле поспевал за ним. Изредка Брагин, скрипя зубами, ругался; но наконец замолчал, остановился и повернулся к деревне. Комов очутился сзади его, и соблазнительная, острая и горячая мысль пронизала его сердце... Тихонько нагнуться, поднять камень и оглушить Николая... Потом связать его и бежать в деревню... бить сполох...



Но Брагин обернулся... Игнат быстро взглянул ему в лицо и увидел — плачет Брагин. Стоит, смотрит на него и плачет. Комову стало стыдно чего-то...

— Никола... — дрогнувшим голосом сказал он и больше не нашел в себе никаких слов.

— Ведь двое детей... — прошептал Брагин. — Жена... хозяйство... сколько трудов положено... поту-силы пролито... за што меня погубили вы? У-уйди, Игнат, уйди от греха! Убить я могу тебя, хотя ты и ни при чем... Я знаю... Ну — весь мир убил бы я... понимаешь? Дети ведь! Какие еще они? Кто их на ноги поднимет... Уйди, Игнат... Звери вы... все вы людоеды...

— Николай... я вот что скажу... — дрожащим голосом начал Комов, вплоть, грудь к груди, подойдя к шабру. — Ты иди... Иди и... ничего не бойся! Прости меня, Николай... Погоди... не толкай... Сядем... я тебе все расскажу...

— Отстань ты... — с тоской сказал Брагин, опять отталкивая шабра...

Но тот не отставал. Его вдруг охватило такое хорошее, горячее и легкое какое-то чувство — он сразу утратил и страх пред Николаем, и все свои думы против него. У него и в голове и в груди все вдруг стало ясно и понятно ему, — это новое чувство как бы очистило его.

— Николай, я не отстану! — он даже обе руки положил на плечи Брагина, отчего тот отшатнулся. — Бей меня — не уйду! Я тебя давеча божиться заставлял, а теперь сам тебе побожусь.

— Чего? Что мне твоя божба... — махнул рукой Николай.

— А вот что — ежели ты про детей... Николай-чудотворец порукой тебе — я за них постою! Господа-вседержителя прошу покарать меня, окаянного, коли я им не заступлю тебя! Веришь? И на сходе скажу: «Братцы-миряне! Братка-то помните? За кого он терпит! То-то! Так возместите жене... да...» Крест святой целую — сделаю это! Всегда твоему дому помогать буду и других к тому принужу... Прости меня, Николай Степаныч... я с самой встречи все думал — выдать тебя али нет? И вот... прояснило меня... Чувствую — виноват я... Прости... а?

— Ты это... как? — спросил Брагин странным голосом, наклонясь к лицу шабра. С минуту они смотрели друг на друга молча, и лица у них обоих были мокрые... А потом, как бы повинувшись внутреннему толчку, оба сразу взмахнули руками и обнялись крепким дружеским объятием. Так они стояли долго, оба всхлипывая и бормоча что-то...

— Ну, иди... свет уж, — сказал Игнат, разжимая руки, и, подняв полу тулупа, вытер им лицо...

— Так ты... верить тебе, Игнат?.. Поможешь? — взволнованно спросил Брагин.

— Пока жив я — не беспокойся... Как сказал — так и будет! — твердо выговорил Игнат...

— Ну, спаси тебя Христос! Иду я... Прощай!

Они еще раз обнялись...

И вот высокая фигура Брагина, в черном пальто и с палкой в руке, быстро зашагала по дороге, а коренастый Игнат, в тулупе, стоял и смотрел ему вслед с ясной улыбкой на широком лице и со слезинкой, запутавшейся в бороде... Ветер слабел, и тьма стала реже, видно было небо, покрытое облаками, серое и холодное на востоке...

Силуэт Брагина постепенно сливался с таявшим мраком ночи, и вот — исчез. Тогда Комов вздохнул и тихо пошел в деревню. Но вскоре он остановился и, посмотрев вслед шабру, с сожалением чмокнул языком и пробормотал:

— Денег бы ему надо дать, хоть с рубль... Ах ты, дуй те горой, а? Ведь у него, чай, совсем нет денег... И как я не сообразил?

Укоризненно качнув головой, Игнат снова двинулся в путь.

Быстро разгорался рассвет.

## СОДЕРЖАНИЕ

От издательства . . . . .	5
Макар Чудра . . . . .	7
Девушка и Смерть . . . . .	17
О маленькой фее и молодом чабане . . . . .	24
Емельян Пиляй . . . . .	49
На соли . . . . .	59
О чиже, который лгал, и о дятле—любителе истины . . . .	69
Дед Архип и Ленька . . . . .	75
Старуха Изергиль . . . . .	92
Челкаш . . . . .	108
Мой спутник . . . . .	133
Ошибка . . . . .	156
Однажды осенью . . . . .	175
Песня о Соколе . . . . .	182
«Вывод» . . . . .	186
На плотах . . . . .	188
Дело с застешками . . . . .	198
Ма-аленькая! . . . . .	207
Женщина с голубыми глазами . . . . .	212
Как поймали Семару . . . . .	222
Хан и его сын . . . . .	228
Товарищи . . . . .	233
Читатель . . . . .	244
Колокол . . . . .	256
Тоска . . . . .	266
Идиллия . . . . .	299
Встреча . . . . .	305
Часы . . . . .	312
Шабы . . . . .	316

Алексей Максимович Горький  
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ, том I

✱

Редактор В. Волина  
Художественный редактор И. Жихарев  
Технический редактор М. Позднякова  
Корректоры В. Брагина и Л. Коншина

✱

Сдано в набор 2/IX 1959  
Подписано к печати 14/XI 1959  
Бумага 60 × 92<sup>1</sup>/<sub>16</sub> — 20,5 печ. л. Уч.-изд. л.  
20,37 + 1 вклейка = 20,42 л.  
Тираж 360 000 (1—150 000) экз.  
Заказ № 3526. Цена 9 руб.

Гослитиздат  
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

✱

Первая Образцовая типография  
имени А. А. Жданова  
Московского городского Совнархоза.  
Москва, Ж-54, Вадовая, 28.



